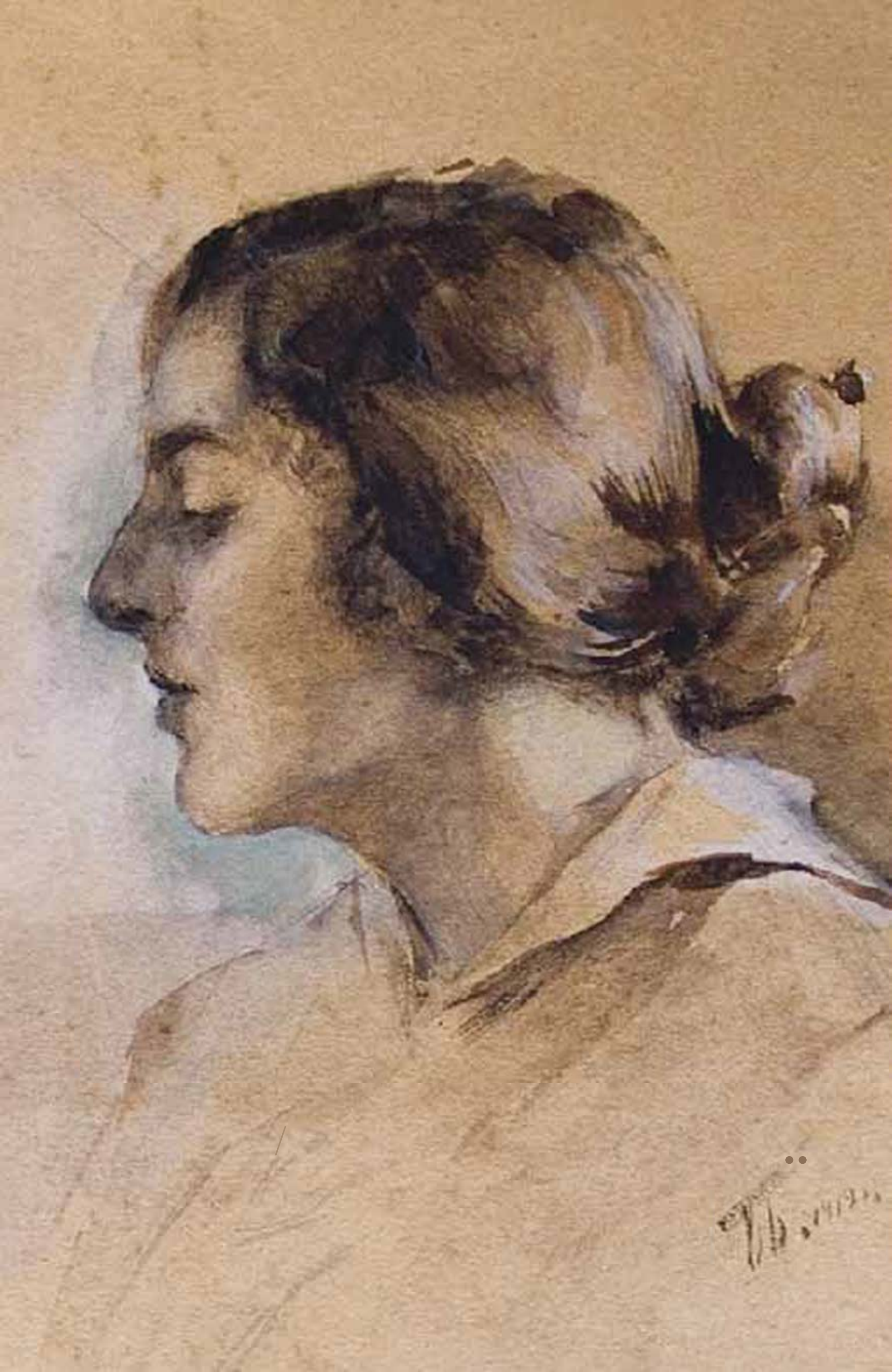
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

Воспоминания и стихи Ольги Ваксель

Записки Мандельштамовского общества
Выпуск 20



столиком продиктовал мне
Они записывались только на об
ках бумаги, да ещё --- на грамо
ную пластинку. Для того чтобы
рить мне о своей любви, верн
неприкосновенно
любви ко мне для себя, и о любви
Надюже для нее, он изыскивал всево
ные способы, чтобы увидеть меня
ний раз. Он так запутался в прот
речиях, так отчаянно ~~хотел~~ цепл
за остатки здравого смысла,
было жалко смотреть. В конце 192
А.Ф. решился отдать мне ребёнка.
событие было ознаменовано большой
жественностью. Ребёнок уже учился
ходить, но не говорил ещё ничего, к
"мама". Теперь мне не было надоб
приходить к А.Ф., каждый раз как
хотела повидать ребенка, за то
сам стал часто появляться и
проявлять свое неудовольствие по
кому поводу. Для того чтобы
видаться со мной, Осип снял
комнату в "Англетере", но ему не
пришлось часто меня там вид
Всё это комедия начала мне

Российский
государственный гуманитарный
университет

Мандельштамовское общество

*Кабинет мандельштамоведения
научной библиотеки РГГУ*

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме



«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

Воспоминания и стихи Ольги Ваксель

Москва
2012

УДК 821.161.1(08)
ББК 83.3(2 Рос=Рус)6
В64

Составление и послесловие А.С. Ласкина
Вступительная статья П.М. Нерлера
Подготовка текста И.Г. Ивановой, А.С. Ласкина,
Е.Б. Чуриловой
Комментарии и указатель имен Е.Б. Чуриловой
Научная редакция А.С. Ласкина, П.М. Нерлера

Художник Михаил Гуров

*В оформлении использованы фотография О. Ваксель,
ее портрет работы В.М. Баруздиной 1919–1920 гг.
(Дом-музей П.П. Чистякова),
фрагмент рукописи «Воспоминаний» О. Ваксель
(Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме)*

ISBN 978-5-7281-1218-1

Памяти Арсения Арсеньевича Смольевского

От составителя

Кто такая Ольга Ваксель? До недавнего времени твердо можно было сказать, что она – приятельница Осипа Мандельштама зимы 1925 г. Еще было известно, что в сентябре 1932 г. она уехала в Норвегию со своим мужем-дипломатом и через два месяца застрелилась.

Дальше начинались разночтения. Одни исследователи называли ее актрисой, другие – манекенщицей, третьи – поэтессой. Как оказалось, правы все: этой «ослепительной», по словам Анны Ахматовой, «красавице» выпало играть в небольшом театре, работать в газете, ресторане и даже на стройке. К тому же она действительно писала стихи и прозу.

Как это могло открыться? Ведь Ольга Ваксель старательно избегала публичности. В ее жизни было много тайн, в первую очередь сердечных, а явного очень мало. Что касается стихов и прозы, то она их не только не печатала, но почти никому не показывала.

Казалось бы, вариантов тут нет. Ваксель редко везло при жизни, а после смерти ее должно было ждать забвение. Так бы, наверное, и случилось, если бы она не попала в луч поэзии О.Э. Мандельштама. С историей их отношений связаны семь стихотворений поэта*. К тому же ей необы-

* Как известно, для Мандельштама «любое слово является пучком... а не устремляется в одну официальную точку» («Разговор о Данте»). Поэтому составитель не ограничился четырьмя общеизвестными стихотворениями, посвященными О. Ваксель или ее памяти, и расширил подборку за счет ряда других, стоящих

чайно повезло с сыном: Арсений Арсеньевич Смольевский (1923–2003) на протяжении многих лет трогательно берег память о матери.

Так мы узнали об этой удивительно яркой и одаренной женщине. О человеке, прожившем типичную для многих судьбу, и, в то же время, сумевшем сохранить свою неповторимость. Даже эксцентричность, – некоторые поступки Ольги Ваксель способны смутить и сегодняшних, казалось бы уже ничему не удивляющихся, читателей.

Итак, перед вами необычная книга. Возможно, это единственная в своем роде книга, изначально не предполагавшая наличие читателя.

Уже говорилось, что стихи существовали для Ваксель словно «на правах рукописи». Разумеется, она не возвращалась к ним второй раз: вот так же невозможно переписывать записи в дневнике. Отсюда и путаница с пунктуацией, которую пришлось приводить в соответствие с существующими нормами.

Не менее сложна ситуация с мемуарами. В основном они были не написаны, а надиктованы. Перед нами монолог женщины, сбивчиво и взахлеб рассказывающей историю своей жизни. Читателю следует помнить о незримом присутствии самого важного адресата: ее муж норвежец Христиан Вистендаль взял на себя обязанности стенографиста.

Конечно, тут много неясного. Для чего столько сил тратить на то, чтобы избежать известности? К кому, если не к читателю, она обращала свои тексты? Только ли к своему мужу или к кому-то еще?

Впервые я задумался об этом больше десяти лет назад. Впрочем, тогда я не предполагал, что по мере приближения к разгадке количество вопросов будет только нарастать.

в непосредственной и обоснованной связи с ними. Тексты даются по изданию: *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 4 т. / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М.: Мандельштамовское общество – издательство «Арт-Бизнес-Центр», 1991–1997.

Сейчас даже некоторые цитаты воспринимаются иначе. Когда-то в документальной повести об О. Ваксель и О. Мандельштаме «Ангел, летящий на велосипеде» я вспоминал слова М. Цветаевой: «Всякая рукопись беззащитна. Я вся – рукопись». Как оказалось, эти слова ключевые. Они в равной степени относятся и к самой Ваксель, и к ее архиву.

Еще раз повторим: посмертная судьба Ваксель оказалась более или менее благоприятной. Впрочем, тексты, не защищенные типографским станком, опасности подстерегают всюду. Так что и тут не обошлось без драм.

В первую очередь это касается ее мемуаров – они счастливо избежали уничтожения, но уже в наше время подверглись редактированию. Для тех, кто готовил настоящее издание, это обстоятельство стало важнейшей – как текстологической, так и этической – проблемой. О разных этапах работы над книгой рассказывается в послесловии.

Любая книга, а уж тем более основанная на архивных источниках, есть плод усилий многих людей – не только составителя, редакторов, комментатора, но и всех, кто им помогал, так или иначе приближая завершение работы. Необходимо выразить искреннюю признательность Е. Белодубровскому, В. Васильеву, Л. Брусиловской, Л. Дубшану, Г. Ельшевской, Е. Жаркову, В. Кривулину, А. Кушнеру, Л. Кропачевой, А. Лапидус, А. Ласкиной, Г. Марушиной, Е. Невзглядовой, З. Перскевич, С. Пчеляной, Р. Хрулевой, О. Шамфаровой, Е. Шумиловой, В. Ярошецкой. Особая благодарность директору музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Н. Поповой.

Александр Ласкин

Павел Нерлер

Лютик из заресничной страны

Дичок, медвежонок, Миньона...

О. Мандельштам

В Лютике не было как будто ничего особенного,
а все вместе было удивительно гармонично;
ни одна фотография не передает ее очарования...

Е. Мандельштам

То была какая-то беззащитная принцесса
из волшебной сказки, потерявшаяся в этом мире...

Н. Мандельштам

Я спрашивал тогда бабушку:
«Ведь Лютик – это такой цветок,
а почему маму называют Лютиком?»
Она ответила: «В детстве твоя мама
и была как цветочек».

А. Смольевский

1

...Нескольких стихотворений, обращенных Осипом Мандельштамом к Ольге Ваксель или же посвященных ее памяти, оказалось вполне достаточно для того, чтобы заинтересоваться адресатом и посвятить ей самой отдельную книгу.

Так и поступил Александр Ласкин, написавший о Ваксель документальную повесть «Ангел, летящий на велосипеде»[1]. При этом он опирался на архив О. Ваксель, предоставленный в его распоряжение ее сыном А.А. Смольевским: в этом архиве – ее воспоминания, стихи и рисунки. Вместе с тем повесть, хотя бы и документальная, создавалась по законам художественного, а не научного жанра, и ее изначальные первоисточники оставались в тени.

Именно они и выходят на свет и в свет с появлением настоящей книги: полный корпус стихотворений и воспоминаний Ольги Ваксель, подготовленных текстологически (по оригиналам), откомментированных и проиллюстрированных фотографиями и рисунками.

При этом вся книга посвящена памяти Арсения Арсеньевича Смольевского, сына Ольги Ваксель[2]. Это благодаря ему читатель может теперь узнать о его матери, так сказать, из первых рук – от нее самой.

2

Итак, мы обратились к архиву Ольги Ваксель. И тут-то произошло самое неожиданное и самое важное: оказалось, что Лютик (домашнее прозвище Ольги Ваксель) была куда более сложной, глубокой и самостоятельной фигурой, чем это было принято полагать, основываясь на одних лишь воспоминаниях Н.Я. Мандельштам: та нарисовала ее как красавицу-капризулю и марионетку в материнских руках. Крупным планом всплывает другой ее образ, именно тот, что мы уже знаем по мандельштамовским стихам. И даже начинает казаться, что понимаешь, в чем секрет ее привлекательности. Он не только в женской красоте и обаянии, но еще и в том, что мы назвали бы *гением жизнетворчества*.

Потрясающие вкус, находчивость, шарм, искренность... Состряпать гениальные завтраки – буквально из ничего, сшить гениальный вечерний наряд – из шторы или прогнать разбойников гениально находчивой фразой («*Эй, Коля, Петя, Миша, вставайте, разбойники пришли!*»[3]) и ручным фонариком, изображающим пистолет, – вот что было ее стихией и ее амплуа.

Существенное проявление жизнетворческих талантов Лютика и ее поэзия. Не так уж важно, что объективно Ольга Ваксель была поэтом слабым, откровенно подражающим Ахматовой периода «Четок», Гумилеву – «Романтических цветов» и, немного, Мандельштаму – «Камня».

Важнее всего тут было само поэтическое мироощущение, к которому она чувствовала себя причастной и из которого вытекало ее отношение к стихам и к пониманию поэзии.

Жизнетворчество Ольги Ваксель распространялось и на ее личную жизнь. Тут оно было часто загадочным и непредсказуемым даже для нее самой. Какой-то механизм, запрограммированный сначала на восторг и взлет, а потом на крах, на падение, на разрыв, на развод и – в самом крайнем случае – на выстрел!

Но вот быть хорошей матерью, например, в ее амплуа не входило. В иные периоды она как будто напрочь забывала, что у нее есть сын. «*Общество Аси*[4] *– это хорошо, но не вечно же*! *Полтора месяца полнейшего одиночества даже мне показались целой вечностью*». Больного и слабого, но формально пристроенного куда-то, она могла не видеть сына неделями, легко уговаривая себя тем, что с ним все в порядке (как это и было, например, в 1929 г., когда заболевшего корью Асика поместили в лазарет в Сиверской, известив ее телеграммой).

Казалось бы, ребенок должен был если не ненавидеть, то уж во всяком случае недолюбливать столь эгоистичную и эгоцентричную мать, – на деле же он ее буквально боготворил и никогда ни за что не осуждал, во всех ее конфликтах (с отцом ли, с бабушкой или с кем-то еще) преданно вставая на ее и только на ее сторону.

Конфликтов же в жизни Лютика было с лихвой, как и приводящих к ним контактов. Ее общительность не знала ни границ, ни усталости. Круг знакомств еще с детства был необъятным и охватывал сотни людей – от портовой голи до государя императора.

Твердое знание о ее семье, о ее матери, отце и отчиме позволяет лучше понять то, что произошло с нею самой: сложносоставные (но фактически безмужние) семьи – и у ее матери[5], и у нее. Родители разошлись, когда ей не было и трех лет, она же ушла от мужа, не дождавшись даже рождения сына (развелись они спустя год, и еще год прошел, пока отец, у которого жил ребенок, не отдал его матери).

Осипа Эмильевича она и Надежда Яковлевна в шутку называли «мормоном», весело и прозрачно намекая на практикуемую мормонами полигамию. Пишет об этом, как и о многом другом, Ольга Александровна легко и без всякой застенчивости – чувствуется, что сексуальная революция произошла у нее лично уже давно[6].

«Грозный муж» Арсений Федорович не был ее первым мужчиной (невинности Ольга лишилась в 11 лет, в сущности из любопытства), но первая же близость с ним показалась ей настолько отвратительной, что она его возненавидела. Боясь перенести эту ненависть на всех мужчин, она испробовала то же самое и с другим («для сравнения», как она холодно пишет) и, увы, с неизменным результатом. Все это, возможно, проясняет порхающий стереотип ее последующего поведения с бесчисленными ухажерами, разочароваться в которых она так боялась: быстро и легко, почти бездумно сойтись – и еще быстрей и еще легче, безо всяких сожалений расстаться!

И все-таки главный «мормон» воспоминаний Ольги Ваксель, бесспорно, – она сама: от ее скоротечных романов и увлечений просто рябит в глазах, на некоторых страницах умещается по два, а то и три партнера, зато о каждом (или о каждой) она находит как доброе слово, так и не очень доброе.

Сил удержаться и устоять хватало ей самое большее на неделю. Рациональнейший Е.Э. Мандельштам, де факто жених Лютика летом 1927 г., сам отказался от нее после того, как встретил ее на батумской набережной со своим приятелем, с которым накануне и познакомил. Но вот что характерно: и спустя 40 лет после событий он, беседуя с третьим участником этого путешествия – Арсением Арсеньевичем, явно сожалел о том, что Ольга не осталась с ним и не вышла за него замуж.

А вот как она пишет о своем втором муже: «*...Зная себя, я не надеялась сохранить такие же чувства, тем более что характер их был слишком реальный. Мне жалко было Льва, который плакал как ребёнок, уходя по моему капризу в*

такой далёкий рейс. Было несомненно, что если он не любил меня, когда мы поженились, то любит теперь, как только можно любить на Земле. Я сама в эти последние дни любила его без памяти. <...> В это время мне пришла в голову мысль немного поинтересоваться моей соседкой по дому...»

И так далее...

Каждый из очарованных и брошенных ею мужчин, – а «общей не ушли судьбы» не только братья Мандельштамы, а буквально все, не исключая по-своему и Христиана Вистендаля, – был с нею по-настоящему счастлив! Иначе бы не возвращались они к ней или за ней почти каждый так упорно и дружно.

Гётевский образ Миньоны из «Вильгельма Мейстера», возникший у Мандельштама, удивительно точен. Ольга и была его живым воплощением: бродячая циркачка, поющая дивные песни, околдовывающие слушателей, девчонка почти, рядящаяся в мужские одежды, и в то же время зрелая чувственная женщина, умеющая глубоко и возвышенно любить и страдать. Вместе с тем было в Лютике что-то и от Кармен – бесконечно женственной, непреодолимо влекущей, вожделенно греховной и патологически неверной, а также от Гермины, богемной умницы-грешницы из «Степного волка» Гессе, густо настоянного все на том же Гёте. В неодолимой притягательности богемы и в ее творческом начале – ее страшная сила, а в неотвратимой и после нее изжоге и мути – ее небесплодная суть.

Всем им прямой противоположностью была бы, кажется, Гретхен из «Фауста» – милое и безгрешное существо, созданное для семейного счастья и сулящее именно его, но – милостью дьявола – распятое вместе с дитем на кресте людских предрассудков!

Не оттого ли так тянется – пусть и безнадежно – Лютик и к чему-то прямо противоположному или попросту к нормальному – к подруге ли Лёле Масловской, к Саше ли Кагану («*совершеннейшему человеческому существу*», осторожно пытавшемуся, пусть и безуспешно, перевоспитать ее) или к тому же Христиану Вистендалю?

3

Воспоминания Ольги Ваксель содержат в себе важный предметный комментарий к мандельштамовским стихам. Так, «медвежонок» – это ее детская любовь к плюшевым мишкам – будь то чужой *«большой медведь с пуговичными глазами, очень грустный и лохматый»* или собственный *«большой толстый мишка с очень длинной шерстью и кротким выражением лица»*.

Ольга Ваксель – вся волшебство и непосредственность, но вовсе не святость и отнюдь не простота. Это видно уже из того, что в своих воспоминаниях она говорит много и весьма откровенно, но говорит далеко *не все* и вспоминает *не о всех*, кого определенно помнила[6]!

Например, она сознательно умалчивает о том, что знала Осипа Мандельштама еще по дореволюционному Коктебелю, и вовсе не упоминает Евгения Мандельштама, так что читатель может подумать, что ее черноморское путешествие 1927 г. с сыном было эдаким аскетически одиноким[7], тогда как на самом деле оно более всего походило на медовый месяц.

Зато она небрежно вставляет имя поэта в другом месте, и это упоминание, датируемое осенью 1916 г., заставляет кое-что переосмыслить в биографии и самого Мандельштама.

7 июня 1916 г. Осип Мандельштам вместе со средним братом Шурой приехал в Коктебель, где они провели около полутора месяцев – до тех пор, пока 24 или 25 июля телеграмма о том, что при смерти находится их мать, не вернула братьев в Петроград. В промежутке обычное коктебельское обормотство и несколько совместных с Ходасевичем и Волошиным поэтических выступлений на разных площадках Коктебеля и Феодосии.

Ольга Ваксель, заболевшая весной 1916 г. ревматизмом, находилась в Коктебеле уже с 8 мая. Вместе с ней были друзья ее матери – Георгий Владимирович Кусов и художница Варвара Матвеевна Баруздина («Матвеич»).

Ее мать, Юлия Федоровна Львова, приехала позднее, около 22 мая, с тем чтобы уехать вместе с дочерью в Петроград около 13 августа[8]. 17 мая в Коктебель приехала Марина Цветаева с Сергеем Эфроном – с тем, чтобы уехать уже через пять дней (Эфрона вызвали телеграммой в военный комиссариат), но успела заявить, что в «*это лето в Коктебеле нет духа приключений*»[9].

Иного мнения была 14-летняя Олечка Ваксель: «*...Исходив эти горы вдоль и поперек, я полюбила их...*» Поразил ее и волошинский Дом поэта, населенный «*...почти исключительно петроградской и московской богемой. Было несколько поэтов* (и тут она выразительно умолчала о Мандельштаме. – *П. Н.*), порядочно актеров, пара музыкантов». Несколькими страницами ниже: «*Иногда в мастерской Макса устраивались вечера поэзии, в которых принимали участие все проживавшие в Коктебеле поэты разных направлений* (еще одно выразительное умолчание об Осипе Эмильевиче. – *П. Н.*). Слушателями были избранные ценители искусств».

Видимо, именно в Коктебеле Ольга и начала писать стихи. На обратном пути, не желая покидать это счастливое место, она «*всю дорогу ревела от огорчения и писала массу стихов и обещала сама себе туда вернуться на следующее лето*».

Она сполна оценила и полюбила артистически-богемную атмосферу Коктебеля, к тому же она была влюблена – но не в 25-летнего поэта с длиннющими ресницами, а в 16-летнего Лелю Павлова, сына одного из коктебельских дачевладельцев. Большая полудетская-полувзрослая компания совершала частые вылазки в карадагские бухты, Лютик бегала между морем и берегом – сообразно возрасту – в трусиках и сетке[10]. Мандельштама в эти вылазки, судя по ее воспоминаниям, не брали, но в том-то и дело, что строго по ее воспоминаниям судить как раз и не надо.

Осмелюсь предположить, что Мандельштам все же был членом этой развеселой «сердоликовой» компании и что, когда в июле 1935 г. в Воронеже он вспомнил о Коктебеле и написал эти стихи, –

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат... –

он вспомнил и об Ольге Ваксель в 1916 г. – его июньские стихи ее памяти еще не остыли!..

И если бы там, в Сердоликовой бухте, его не было, то с чего бы это вдруг он стал осенью того же 1916 г. изображать из себя родственника нашей институтки, навещать ее в приемные дни в Екатерининском институте, располагавшемся на Фонтанке[11].

Об этом визите, кстати, сказано в воспоминаниях Лютика, и имя Мандельштама наконец-то названо:

> В приемные дни дежурили в зале девочки, никого не ожидавшие к себе на прием. В двух концах зала сидели за столом инспектрисы, окруженные сидящими на длинных скамьях дежурными, к ней подходят родственники, называют фамилию, класс и степень своего родства. Молодых людей, приходивших на прием, допрашивали очень тщательно, но все они прикидывались родственниками, пленяли инспектрису хорошими манерами и проходили. Таким образом, у меня перебывали Арсений Федорович[12], узнавший о моем пребывании в институте от своей приятельницы – учительницы музыки, поэт Мандельштам, Георгий Владимирович Кусов и мои друзья детства Аркадий Петерс, молодой офицер, и Юра Пушкин.

Мечта Лютика сбылась, и она побывала в Коктебеле и следующим летом – в 1917 г. 20 июня ее привезла мать, но пробыла она с дочерью недолго – не более двух недель, после чего уехала, оставив ее под опекой семейства Ниселовских. Сама же Ольга провела в Коктебеле больше двух месяцев – вплоть до начала сентября[13]. О, это была уже кто угодно, только не дитя в трусиках и сеточке! Без разрешения и без спросу она отважилась на самостоятельную двухнедельную «прогулку» по Крыму, но имени своего спутника или спутников, что характерно, не назвала. Но это был определенно не 17-летний уже Лёля Павлов, поцеловать которого в первый и единственный в жизни раз Лютик решилась лишь в день своего внезапного оставления Коктебеля.

Очень долго – примерно с 20 мая по 10 октября – был в 1917 г. в Крыму и Осип Мандельштам. Сначала около месяца он прожил в Алуште (на даче актрисы Е.П. Магденко), затем 22 июня переехал в Коктебель, откуда снова вернулся в Алушту в конце июля, но на этот раз ненадолго, ибо с августа по октябрь он жил в Феодосии.

Таким образом, как минимум на месяц – с 23 июня и по конец июля 1917 г. – Мандельштам совпал в Коктебеле с Лютиком. Едва ли он имел какое-либо отношение к Ольгиной отлучке, но и в том, что они в Коктебеле виделись и общались, сомневаться не приходится.

Не об этом ли лете у Мандельштама сказано в стихах 1931 г.:

...Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных –
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!..

Кто они – «те европеянки нежные»? Соломка, соломинка – Саломея Андроникова? Или Марина Цветаева, в чей «монастырь» в Александровой слободе Мандельштам буквально приперся, непрошеный, в прошлогоднем июне, после чего, уже в Крыму, она избегала оставаться с ним наедине? А может, Анна Зельманова? Или Анна Радлова? Или сама Вера Судейкина в Алуште? Или кто-то еще? Ведь недаром на 1916 г. приходится бум мандельштамовских записей в дамских альбомах! И нет ли среди этих «тех» хотя бы малой частички уже и от Лютика?..

4

Как бы то ни было, но не так уж и не права была Анна Ахматова, когда, читая воспоминания и стихи Ольги, вздрагивала на слове «реснички». Это слово было для нее индикатором одного и только одного человека – Осипа Мандельштама. «*Колют ресницы...*»[14], «*Как будто я повис*

на собственных ресницах...»[15] – Мандельштам буквально ощущал свои ресницы как «*какой-то добавочный орган*»[16].

И даже если Христиан Вистендаль, норвежский вице-консул, и был прозван Ольгой Ваксель «ресничками», то он мог быть вторым. Первыми «ресничками» был Осип Мандельштам: оттого-то и приняла она поначалу своего викинга Христиана за еврея.

Следующая встреча Лютика и «Ресничек первых» произошла в середине января 1925 г. Но что это была за встреча!

Словно молния поразила поэта, когда он вдруг – на улице и совершенно случайно – встретил Ольгу. Перед ним стояла не девушка-цветок из 17-го года (и уже тем более не девочка в трусиках и сеточке из 16-го года), а, по выражениям Ахматовой, самая настоящая «ослепительная красавица»[17], прекрасная, «как Божье солнце»[18].

Он был сражен, причем настолько, что не замечал ни обострения болезни жены, ни собственных сердечной – в прямом смысле слова – болезни и одышки.

Все было ярко и скоротечно – и в середине марта все уже кончилось. Если не считать двух замечательных стихотворений...

«*Дура была Ольга – такие стихи получила!..*»[19]

5

Версии, прозвучавшие из двух женских углов этого треугольника, прямо противоположные. Согласно Ваксель, у них был некий гетерогамный союз во главе с Надюшей, как ее называет Ольга. И все бы ничего, если бы третий, Осип Мандельштам, этим и ограничился, но тот вздумал разрушить этот гедонистический оазис и, бросив жену, непременно хотел жениться на Ольге. Согласно «Надюше», Ольга была плакса и маменькина дочка, откровенно – и под дирижерскую палочку матери – отбивавшая у нее мужа и не стеснявшаяся заявиться к ним даже после того, как Мандельштам – неожиданно и твердо – сделал окончательный выбор.

Надежда Яковлевна высказывалась по этому поводу как минимум четырежды: в письмах Александру Гладкову и Тате Лившиц и дважды в воспоминаниях – в книге «Об Ахматовой» и во «Второй книге».

Наиболее лаконичным было первое по времени высказывание – в книге об Анне Ахматовой:

И все же настоящая дружба началась не в первые наши встречи, а в марте 1925 года в Царском Селе. Это было трудное время единственного серьезного кризиса в наших отношениях с О. М. В январе 1925 года О. М. случайно встретил на улице Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой-институткой, и привел к нам. Два стихотворения говорят о том, как дальше обернулись их отношения. Из ложного самолюбия я молчала и втайне готовила удар. В середине марта я сложила чемодан и ждала Т., чтобы он забрал меня к себе.

В этот момент случайно пришел О. М. Он выпроводил появившегося Т., заставил соединить себя с Ольгой, довольно грубо простился с ней*. Затем он взял меня в охапку и увез в Царское Село.

Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и твердая воля в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Ольга была хороша, «как Божье солнце» (выражение А. А.), и, приходя к нам, плакала, жаловалась и из-под моего носа уводила О. М. Она не скрывала этих отношений и, по-моему, форсировала их**. Ее мать ежедневно вызывала О. М. к себе, а иногда являлась к нам и при мне требовала, чтобы он немедленно увез Ольгу в Крым: она здесь погибнет, он друг, он должен понимать... О. М. был по-настоящему увлечен и ничего вокруг не видел. С одной стороны, он просил всех знакомых ничего мне об этом не говорить, а с другой –

---

* Я в ужасе вырвала у него трубку, но он нажал на рычаг, и я успела только услыхать, что она плачет.

**Я видела страничку ее воспоминаний об этом, но там все сознательно искажено: она, очевидно, сохранила острое чувство обиды.

у меня в комнате разыгрывались сцены, которые никакого сомнения не оставляли. Скажем, утешал рыдающую Ольгу и говорил, что все будет, как она хочет.

В утро того дня, когда я собралась уйти к Т., он сговаривался с ней по телефону о вечерней встрече и, заметив, что я пришла из ванны, очень неловко замял разговор. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Я подозреваю только одно: если б в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были б написаны, очень возможно, что он мне дал бы уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я не успела задать О. М.

И при этом он болезненно переживал всякое стихотворение, обращенное к другой женщине, считая их несравненно большей изменой, чем все другое. Стихотворение «Жизнь упала, как зарница» он отказался напечатать в книге 28-го года, хотя к тому времени уже все перегорело, и я сама уговаривала его печатать, как впоследствии вынула из мусорного ведра стихи в память той же Ольги и уговорила его не дурить. Честно говоря, я считала, что у меня есть гораздо более конкретные поводы для ревности, чем стихи, если не живым, то уж во всяком случае умершим[20].

Судя по всему, Надежда Яковлевна, описывая здесь этот кризис, еще не читала воспоминаний Ольги Ваксель (точнее, их фрагмента о себе и о Мандельштаме).

В таком случае это было написано еще в 1966 г., поскольку знакомство с мемуаром Лютика состоялось в феврале 1967 г., когда ее посетил Евгений Эмильевич и показал означенный фрагмент, любезно перепечатанный для него на машинке сыном Лютика. Эти страницы взволновали Надежду Мандельштам до чрезвычайности, – ей все мерещилось (и это впоследствии подтвердилось), что фрагмент неполный, что есть в этих воспоминаниях что-то еще.

Это «что-то еще» потому так и взволновало ее, что было не вымыслом, а правдой, и то, как это «что-то» могло преломиться в чужих воспоминаниях, глубоко и сильно тревожило и задевало ее. Убедиться в том или ином, но минуя при этом Евгения Эмильевича, стало для нее глубокой потребностью и чуть ли не идеей фикс.

Человеком, который раздобудет для нее мемуары Лютика целиком, Надежда Мандельштам «назначила» Александра Гладкова, «литературоведа и бабника», как она сама его охарактеризовала. 8 февраля 1967 г. она отправила ему письмо, поражающее своей длиной, но еще более – откровенностью.

Но иначе, правда, было бы не объяснить ту самую настоящую панику, названную в письме легким испугом, и тот случившийся с ней припадок «ужаса публичной жизни» – мол, «все выходит наружу, да еще в диком виде».

Дорогой Александр Константинович! У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне помочь... Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О. М. («Жизнь упала, как зарница», «Я буду метаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мертвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (в Осло, а не в Стокгольме) (29–30–31 год), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвез их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология – и она, и муж – <и> мемуары!). У этого сына культ матери, который выражается в том, что он всем раздает ее мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня... Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что все выходит наружу, да еще в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О. М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее.

Женщина эта, видимо, была душевнобольная. Ося расстался с ней безобразно. После встречи в гостинице (это и его, и ее версия) он вернулся домой и застал меня со сложенным чемоданом, через минуту за мной пришел Татлин (все это только вам: не говорите даже Эмме). (Про Татлина – он всегда был один, и я знаю не один случай, когда женщина, меняя мужа или выбирая себе второго, временно сходилась с Татлиным.) Произошла легкая сцена, Татлин пожаловался, что ему сорок лет и у него нет

жены, а Ося увез меня в Детское Село, где мы ссорились, и я рвалась уйти; потом приехала Анна Андреевна, и как-то все забылось. Вот грубое содержание этой драмы.

Это 25[-й] год. Я тогда посоветовала Татлину поискать жену на Украине – там их много. А его как раз приглашали туда. Он послушался и поехал, расставшись со мной. Жену оттуда привез. Итак, я сыграла роль в его жизни, не только постельную.

Ося при мне позвонил этой женщине по телефону и сказал ей, что уезжает и больше ее видеть не хочет («потому что вы плохо относитесь к людям» – всё). Хамство, как видите, полное. Да еще я ее позвала к телефону.

Через несколько лет она пришла к нам в Детское Село. Я ей рассказала, как со мной хамила ее мать. Это все... [Во всяком случае] что касается Оси и что я знаю.

После О. М. среди толпы других она жила с Евг[ением] Эмильевичем. Он возил ее на Кавказ. (Именно после этого она к нам пришла в Детское.) Евгений Эмильевич недавно явился ко мне и рассказал про дневник, и я слегка испугалась. Кажется, она мстит в нем Оське за это дикое прощание.

Несколько слов об этой женщине. Ее звали Ольга Ваксель. Дочка Львовой – б. фрейлины. Хороша была, как ангел. Ничего подобного в жизни я не видела. Тогда – благородно и приятно. Целыми днями сидела у нас и плакала. Пол был мокрый от слез. У меня всегда с ней были хорошие отношения. Я не ссорилась с «соперницами», а только с мужиком.

Теперь, чего я боюсь. Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать). Второе: она пишет об Осе зло (как сказал Евг[ений] Эм[ильевич]). Нет ли клеветы?.. Для этого мне надо знать, что там. На клевету похоже. Уже тогда у нее были почти маниакальные рассказы о бросивших ее любовниках, которые не подтверждались ничем (эротические, нередко садистические, – хотя она была нежна, добра и безобидна, – и тому подобное). Единственная ее особенность: она ходила по Ленинграду и давала всем и всё. Потом переехала в Москву и служила в Метрополе. Там и нашла мужа. Жаль ее ужасно. Знаете, у Фоукнера есть женщина, чудо любви (мать Линды)[21] – это она, Ольга Ваксель, или Лютик, как ее звали.

Вот моя проблема: я бы хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой). Противно это безумно, и я бы с радостью избавила себя от этого удовольствия, но надо это сделать. Нашел сына Мануйлов. Обо всем этом знает и Таточка Лившиц, но ее, если можно, не надо бы вмешивать. Нельзя ли через Мануйлова получить этот дневник, чтобы избавить меня от удовольствия ехать к сыну? Или съездить вам – огромная дружеская услуга – рассказать про Фоукнера, про чудо красоты и про то, что я видела у Анны Андреевны фотографии, но ни одна не передает реального очарования этой необыкновенной прелести... Сын тоже сумасшедший и ищет всех, кто хочет поговорить об его матери... Не можете ли вы мне помочь?

Еще такая деталь: она пишет, что после того, как зашла к нам в Детское (осенью 27 года), она опять встречалась с О. М. и всё, что она прогнала его... Ося никогда не врал. До смешного. Но про эти вторичные встречи я не знаю. Были ли они в Ленинграде (возможностей для них почти не было: мы ездили из Детского в Ленинград вместе, было много разного, но совсем другого плана) или в Москве (он задержался на месяц в Москве, когда я была в Ялте; это хлопоты о «пяти» из «Четвертой Прозы»; жил он у моего и у своего брата). Служила ли Ольга в Метрополе ранним летом 28 года (?) Если да, то это бросает очень неожиданный свет на кое-какие события (связь с Метрополем), к которым сама Ольга, надеюсь, никакого отношения не имела. Я думаю, и в Метрополе она в каких-то отношениях была чиста. Об этом я вам расскажу при встрече.

Почему я обращаюсь к вам. Проклятая, как я называю это, публичность, может вытащить эти мемуары наружу. Вы, я знаю, думаете об О. М. и любите курьезные документы. Мне безумно не хочется ехать к сыну; не хочется ворошить все это самой. А вы мне друг и способны прийти на помощь. Вы умны и знаете меня – что здесь нет безумного любопытства сумасшедшей старухи. Вы литературовед и бабник, следовательно, знаете, что такое женская месть и клевета. К Евг[ению] Эм[ильевичу] я обратиться не могу: у него есть эти мемуары и он мне их предлагал. Но я этого не хочу: он грязный тип.

И, наконец, последнее, очень интимное. О. М. мне клялся в очень странной вещи (я вам скажу, в какой, при встрече),

в которую я не верила и не верю, но, если это правда, то она могла быть очень дико истолкована бедной Ольгой. Дико ворошить все это на старости лет. Но что делать? Помогите, если можете.

Ведь Мануйлову вы можете сказать, что угодно: биография О. М., например. Если не хотите говорить с Мануйловым, спросите у Таточки Лившиц. (Я когда-то ей сказала, что не люблю О. М. – в этом выразилась моя ревность в период его романа с Ольгой.) Сын Ольги меня хочет видеть, – можно, узнав его имя и адрес – попросить всё это для меня, сказав, что я так стара, что не могу приехать. Я готова написать ему письмо с описанием красоты его матери... Только помогите и избавьте меня от встреч. Чертова молодость: сколько осложнений она оставляет в жизни. Н. М.[22]

Имеется и добавление Надежды Яковлевны к этому же письму:

...Я нашла и «сына»: Смольевский Арсений Арсеньевич. <...>

Прочла кусок мемуаров. Они гнусны, но их нужно знать. Правде не соответствуют, кроме небольших элементов. У меня впечатление, что это написано по дневникам дочери матерью, чудовищной женщиной. Своеобразная месть за гибель дочери и сведение счетов (в частности, со мной). А счеты были.

Дочь была не только красавицей, но очень нежной и тихой. Этот язык и все представления ближе к матери. Между прочим, мать предъявила к О. М. требования, которые он не исполнил. Она из тех, что продают дочерей. Любопытно, что Евг[ений] Эм[ильевич], частично требования выполнивший (он был там после О. М.), не упоминается вовсе (это путешествие на Кавказ).

Сын жаждет мне показать все это. Если бы достать... Я боюсь, что Евг[ений] Эм[ильевич] дал мне не все. А знать это нужно. Надо восстановить (скажем, в письме к вам или к Харджиеву) то, что было. Увлечение О. М., наша попытка развестись (я уходила к Татлину) и потом примирение. Была драма. Могла кончиться плохо. Случайно уцелели. Девчонка плакала целыми днями у меня в комнате. Не думаю, чтобы она любила О. М.: к этому времени она была уже половой психопаткой и жила

с целой толпой. Как О. М. уцелел, трудно себе представить, потому что такого чуда, как эта Ольга, я не видела. Последний разговор их (по телефону) был при мне. Я была поражена грубостью О. М. ...<...> При встрече через 3 года тоже. Но и там она отличилась... Есть ли у сына продолжение – я читала до ее прихода через три года... Попробуйте достать... Если нет, я к сыну не пойду. Это патология первого класса уже в третьем поколении... Н. М.[23]

Получив письмо, Гладков записал в дневнике 12 февраля 1967 г.: «*Страннейшее письмо от Н. Я. с рассказом (длинным) о каких-то изменах ее с Татлиным и О. Э. с Ольгой Ваксель в 25–27 гг. и просьбой найти сына О. Ваксель и попросить у него дневник матери. Будто бы там может быть какая-то “клевета” и пр. Я человек любопытный и могу этим заняться, но зачем это Н. Я.*?»[24]

Перед Гладковым Надежда Яковлевна почти и не скрывалась: зачем? Однако правда в воспоминаниях Лютика – ее собственная склонность к лесбиянству и мандельштамовская к «мормонству»[25] – пугали ее больше любой напраслины. Скандал такого рода мог быть запросто использован недоброжелателями и против Мандельштама, и против нее самой: могла бы серьезно осложниться и ситуация с книгой Мандельштама в «Библиотеке поэта».

17 февраля вдова Мандельштама снова писала Гладкову:

Дорогой Александр Константинович! Спасибо, что вы так быстро откликнулись. <...> А, может, действительно это лучше сделать через Таточку Лившиц. Она мне тоже говорила про «сына». Она почти не знает о том, что произошло в прошлом. Для нее Ольга Ваксель просто увлечение О. М. (бедная Надя) и какая-то моя жалоба, что Оська мне надоел. Поэтому не говорите ей о моем беспокойстве. Только, что я хочу иметь фотографию Ольги и странички ее дневника... т. е. мемуаров... Тата дружит с Евг[ением] Эм[ильевичем]; она может от него узнать адрес «сына» и Гревса...[26]

Знала про всю эту историю Анна Андр[еевна] – от меня, от Оси (смягченно) и от... Татлина. Я думаю (вернее, надеюсь), что

Ольга не написала реалистических вещей. Женщины такого рода обычно пишут: «Как он меня любил, но я его выгнала» – дай-то Бог! Единственное, что у нее есть основание для большой обиды на О. М. – он поступил с ней по-свински (со мной тоже). Чего бы мне хотелось – это избежать реалий и выключить себя из этой игры. Проклятое легкомыслие и распутство юности – и еще остатки десятых и двадцатых годов...[27]

Что предпринял Гладков и преуспел ли в порученном деле, мы не знаем. Он уехал в Ленинград – к своей актрисе-жене – и... пропал! И Надежда Яковлевна принялась его искать, сама обратившись за помощью к Тате – той самой, кого она не слишком-то и хотела видеть в качестве своей конфидентки[28]. Ей она написала 18 марта:

Гладков перестал писать в минуту, когда этого бы не следовало делать.

Я просила его достать для меня «мемуары» Ольги Ваксель (Лютика). У меня есть сильное подозрение, что это сочиняла не она, а ее мать по ее дневникам.

Евг[ений] Эм[ильевич] мне показал об О. М. Там явное раздражение и кое-что – брехня. Не брехня то, что мы тогда едва не развелись и что О. М. был сильно увлечен. Но вещи сдвинуты...

При последнем объяснении я была – по телефону. Она плакала. О. М. поступил с ней по-свински.

Если Евг[ений] Эм[ильевич] показал мне все, то можно это игнорировать. Но он рассказывал совсем иначе (напутал? или потом что-то скрыл?). Показывал он кусок до прихода через три года к нам, – и все... Вот тут-то что-то может быть (если судить по рассказу Евгения Эм[ильевича]).

Кстати, через 2–3 дня после ее прихода мы уехали и больше в Ленинград не возвращались.

Евг[ений] Эм[ильевич] говорил, что она служила в Метрополе (Москва), теперь он говорит, что она служила в «Астории» – где правда? А это очень существенно. Евгений Эм[ильевич], конечно, мог все напутать – у нас очень плохо рассказывают – с фактами не считаются... Во всяком случае, я хотела бы знать, что у нее в действительности написано. Плохо, когда речь идет о поэте. «Все липнет», как говорил О. М...

Помнишь, как О. М. звонил ей при Бене? А Бен потом подошел ко мне и сказал «бедная»?

Господи, как это давно было...

Меня испугало молчание Гладкова: может, в этом дневнике такая мерзость – это месть, – что он мне боится показать.

<...> Кстати, мать Ольги Ваксель приезжала к нам (на Морскую) и требовала, чтобы Ося увез Ольгу в Крым. При мне. Я ушла (к Татлину) и не хотела возвращаться... Тьфу...

Дура была Ольга – такие стихи получила...

Если она служила в Москве, это может объяснить одну странную историю, которая произошла со мной.

Не говори об этом письме Евгению Эмильевичу[29].

27 марта Н. Мандельштам снова писала Тате:

С этим сыном Ваксель уже не стоит говорить. «Мемуар» есть у Евг[ения] Эм[ильевича]... Это он все напутал и стилизовал Осю под себя. Мемуар полон ненависти ко мне и к Осе.

Он действительно по-свински с ней поступил, но и она тоже не была ангелом. Ну ее. То, чего я боялась, т. е. реальности, нет ни на грош. Просто он стоял на коленях в гостинице... Боялась я совсем другого – начала.

Жаль, что она оказалась такой. Она ненавидела свою мать, а в «мемуаре» чистая мать. Все же я подозреваю, что это мать...

6

Ни Гладков, ни Тата Лившиц с добыванием воспоминаний О. Ваксель для Надежды Яковлевны не преуспели, и она ознакомилась с ними именно по той копии, которой располагал Евгений Эмильевич.

Надо ли говорить, сколь многое в записках Ваксель, начиная с «прозаической художницы» и «ног как у таксы», было для Надежды Яковлевны просто непереносимо! Поглядевшись в зеркало чужих мемуаров, она ощутила себя остро уязвленной и униженной. Мертвая Ольга, снисходительно смотрящая с этих страниц на нее сверху вниз,

и из могилы нанесла ей сокрушительной силы удар и как бы отомстила сполна за все «свинство» мандельштамовского разрыва. Нелепое предположение о том, что воспоминания Лютика не то надиктованы, не то записаны ее матерью, только подчеркивают ту растерянность и то замешательство, в которые вдруг впала Надежда Яковлевна.

Возможно, что именно тогда она и ощутила настоятельную потребность написать свою версию событий и тем самым «ответить» Лютику – то ли защищаясь от ее несказанных слов, то ли атакуя их. Ей вдруг открылись и убойная сила мемуаров, и преимущества печатного и первого слова перед устными оправданиями: вон сколько громов и молний переметали они с Анной Андреевной и в Жоржика Иванова, и в Чацкого-Страховского[30] с Маковским, и в Миндлина с Коваленковым, а чувства победы или торжества справедливости в их устном споре против ими же напечатанного все равно не возникало. А еще, кажется, она поняла – и как бы усвоила! – одну нехорошую истину: не так уж и важно, правдив мемуар или лжив.

Интересно наблюдать и ту роль, которую тема Ольги Ваксель и эскизы к ней сыграли в формировании текста и атмосферы «Второй книги» Надежды Мандельштам, где Лютику посвящена уже не пара абзацев, как в «Об Ахматовой» и в письмах, а целая главка («Пограничная ситуация»), не считая многочисленных упоминаний до и после этой главки.

Надо, однако, сказать, что сексуальная тематика отнюдь не была табу в разговорном обиходе вдовы Мандельштама. Так, ей уделено немало место в единственном видеоинтервью, данном ею для голландского телевидения в середине 1970-х годов. Пишущий эти строки, часто посещавший Надежду Яковлевну во второй половине 1970-х, может засвидетельствовать, как охотно она обращалась к теме плотской любви и ее нетрадиционных разновидностей. Иногда для этого был повод (скажем, выход в «Новом мире» «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой), но чаще всего никакого повода и не требовалось. Рассказы о ее киевских любовниках (без называния имен!) и фразочки типа

«Ося был у меня не первый» с комментариями никогда не выходили на первый план, но не были и редкостью.

Некоторые мемуаристки (Э. Герштейн[31]), преодолев неловкость, фиксируют проявления сексуальной революции у Надежды Яковлевны и в 1920–1930-х и в 1940-х (Л. Глазунова) годах.

Годы богемной юности не прошли для Надежды Яковлевны бесследно. Да и Лютик едва ли уступала ей по степени раскрепощенности. А по какому-то внутреннему счету, особенно если мерилом считать любовные стихи, Надежда Яковлевна тогда Лютику все-таки «проиграла»! Иначе бы не бросила в сердцах про дуру Лютика, получившую такие стихи...

7

Довольно существенно, что Ольга Ваксель была поэтом. Стихи были проявлением и потребностью ее высокоталантливой натуры, и не так уж важно, что объективно она была поэтом слабым, эпигоном акмеистов, прежде всего Ахматовой и Гумилева.

Самые ранние ее стихи датированы летом 1918, самые поздние – октябрем 1932 года. Но поэзия уже занимала ее и в 1916 г., когда в Коктебеле она виделась с Мандельштамом и тосковала по Арсению Федоровичу, будущему мужу, разряжаясь в его адрес стихами. Хорошо, что они не сохранились.

Сохранившимся еще долго были свойственны неуклюжее изящество и подростковая угловатость: «*И все чернее ночи холод, / Я так живу, о счастье помня, / И если вдохновенье – молот, / Моя душа – каменоломня*» (Павловск, 1920). Или: «*Задача новая стоит передо мной: / Внимательною стать и вместе осторожной, / И взвешивать, чего нельзя, что можно...*» (1922). Или: «*И лето нежное насыплет на плеча – / Крупинки черные оранжевого мака*» (1923).

Возможно, сказывалось и то, что Ольга и не помышляла разносить свои стихи по редакциям (а многое, кстати,

и напечатали бы!) и оттого не считала нужным окончательно их отделывать. Она даже не показывала их друзьям-поэтам – тому же Мандельштаму, например. Вместе с тем, и не будучи публичным поэтом, она определенно себя ощущала поэтом как обладателем некоего дара:

Но если боль иссякнет, мысль увянет,
Не шевельнется уголь под золою,
Что делать мне с певучею стрелою,
Оставшейся в уже затихшей ране?
«Когда-то, мучаясь горячим обещаньем...», 1921

И уже по одному ощущению своей тайной причастности к поэзии личность Мандельштама, поэта публичного и бесспорного, была О. Ваксель отнюдь не безразлична. В воспоминаниях видно, как она изо всех сил старается представить его фигуру комической, а личность – скучной и назойливой. Но это деланое безразличие! Несомненно, она видела и ценила в нем замечательного поэта, тянулась к нему, мечтала показать ему свое. (А может быть – вопреки имеющимся свидетельствам, в том числе и своим, – и показывала?..)

Большинство ее стихов было написано в традиционном раннеакмеистическом ключе, с характерным сложным грамматическим рисунком и романтическим настроением. В них как бы законсервировались десятые годы, и они были не хуже того, что тогда печаталось, например, в «Гиперборее».

Прототипы же легко узнаваемы. Вот стихотворение, живо напоминающее одновременно о Гумилеве и Гумилева:

Все дни одна бродила в парке,
Потом, портрет в старинной раме
Поцеловав, я вечерами
Стихи писала при огарке.
Стихи о том, что осень близко,
О том, что в нашей церкви древней
Дракон с глазами василиска...

В еще одном, столь же отчетливо кивающем на Ахматову:

Спросили меня вчера:
«Ты счастлива?» – Я отвечала,
Что нужно подумать сначала.
(Думаю все вечера.)
Сказали: «Ну, это не то»...
Ответом таким недовольны.
Мне было смешно и больно
Немножко. Но разлито
Волнение тонкое тут,
В груди, не познавшей жизни.
В моей несчастной отчизне
Счастливыми не растут.
27 декабря 1921

А вот поклон и автору «Камня»:

Березки – как на черном бархате,
Небес прозрачна синева...
Вы, злые вороны, не каркайте!
Не верю: это не Нева.
Луга над берегами черными,
Но вдалеке нависший дым
Над городами непокорными
Под небом плачет молодым.
Расплывчатыми очертаньями
Волнуют взор и даль и близь,
И огненными трепетаньями
Во мне предчувствия слились.
Вдыхая ночи пламя сладкое,
Прислушиваясь к тишине,
Я с гордостью ловлю украдкою
Твой взор, несущийся ко мне.
19 июля 1921, Прибытково

Иногда (нечасто) на страницы врывается и ее собственная биография, как, например, в стихотворении «Дети» (1921–1922):

У нас есть растения и собаки.
А детей не будет... Вот жалко.
<...>
На дворе играют чужие дети...
Их крики доносит порывистый ветер.

Несколько чаще, чем это встречается у акмеистов, обретается на ее страницах тема смерти: «*Мне страшен со смертью полет.../ Но поздно идти назад*» (1921). Или: «*И если снова молодым испугом / Я кончу лёт на черном дне колодца, / Пусть сердце темное, открытое забьется / Тобой, любимым, но далеким другом*» (1922). Или: «*Мне-то что! Мне не больно, не страшно – / Я недолго жила на земле...*» (1922).

Конечно, ожидаешь найти «следы» и Мандельштама – и находишь! Например, в стихах февраля 1922 г.:

Ведь это хорошо, что я всегда одна.
Но одиночество мое не безысходно:
Меня встречаешь ты улыбкою холодной,
А мне подобная же навсегда дана...
Ведь это хорошо, что выпита до дна
Моя печаль, и ласка так нужна мне.
Иду грустить на прибережном камне,
Моя тоска, как камень, холодна...
Не много пролито янтарного вина,
Когда весь мир глаза поцеловали;
И думаю, что радостней едва ли
И девятнадцатая шествует весна...
Очнувшись от блистательного сна,
Пыталась возродить его восторг из пепла,
Но небо солнечное для меня ослепло
Сквозь искры алые обмерзшего окна.

И ширились лучи от волокна
Дрожащего, испуганного света...
Кто знает, что дороже нам, чем это,
Когда душа усталости полна.
7 февраля 1922

Или:

Какая радость молча жить,
По целым дням – ни с кем ни слова!
Уединенно и сурово
Распутывать сомнений нить,
Нести восторг своих цепей,
Их тяжестью не поделиться.
Усталые мелькают лица,
Ты ж пламя неба жадно пей!
Какое счастье, что ты там,
В водовороте не измучен
(Как знать мне, весел или скучен?),
Тоскуешь по моим цветам.
Как хорошо, что я так жду,
И, словно в первое свиданье,
Я в ужасе от опозданья,
Увидев за окном звезду.
1 февраля 1922

И не о ресницах ли самого Мандельштама (до Вистендаля еще чуть ли не десятилетие!) эти строчки:

Стройнее и ближе, зарей осиянный,
Чуть видимый оку, приблизившись плавно,
Встаешь успокоен, счастливый и сонный,
Глядишь сквозь ресницы
с влюбленностью фавна.
21 декабря 1921

Стихов, написанных в 1925–1930 гг., нет или они не сохранились. Да и за 1931–1932 гг. осталось всего три или

четыре стихотворения. И это, отметим, уже совсем другие стихи – без угловатости и подражательности. В них есть и свобода и, в общем-то, легкое мастерство.

Я не сказала, что люблю,
И не подумала об этом,
Но вот каким-то теплым светом
Ты переполнил жизнь мою.
Опять могу писать стихи,
Не помня ни о чьих объятьях;
Заботиться о новых платьях
И покупать себе духи.
И вот, опять помолодев,
И лет пяток на время скинув,
Я с птичьей гордостью в воде
Свою оглядываю спину.
И с тусклой лживостью зеркал
Лицо как будто примирила.
Все оттого, что ты ласкал
Меня, нерадостный, но милый.
Май 1931

В последнем же стихотворении – еще и прямые указания на причины трагедии, толкнувшей Ольгу Ваксель на самоубийство[32].

8

Пора уже вернуться к «Ресничкам вторым», к Христиану Вистендалю. Вот как описаны их первые встречи весной 1932 г.:

Было довольно скучно. Музыканты играли всё те же, тысячу раз слышанные вещи, «Рамону» и др. Все те же надоевшие лица завсегдатаев «Европейской», смешные пары, танцующие с ужимками, словом, пора было уходить. Вдруг Николай обнаружил на той стороне зала нечто примечательное. «Посмотрите на этого молодого еврея, какие у него замечательные ресницы!» Я возразила: «Не только ресницы». И вечер сразу наполнился большим содержанием.

Спустя некоторое время Лютик и Реснички оказались вдвоем:

...Я сообщила ему, что влюблена в него, как девчонка. В первый раз в жизни он слышал подобное признание, и не знал, как на него реагировать. Он никак не мог принять этого всерьёз, но все же хотел выслушать всё, что я могу ему сказать. <...> Он был очень серьёзен и внимателен. <...> Я вложила всю горячность своего увлечения в ласки, которыми осыпала его, и он сам был теперь ближе, нежнее и человечнее. Это было потрясающее счастье, после которого можно было умереть без сожаления или пережить долгую и скучную жизнь, согреваясь одним воспоминанием о нём. Я спала урывками, просыпаясь с блаженной улыбкой; видела его во сне, как будто мы не расставались.

Еще позднее:

Около этого времени, встретив Х[ристиана], я согласилась снова встречаться с ним. Я чувствовала себя в силах быть ровной, спокойной, не доставлять ему неприятностей своей экспансивностью, которая его пугала.

Итак, на совершенно новых началах мы виделись снова. Теперь эти встречи в тихом шведском Консульстве были моим отдыхом, моей радостью. Ради них я готова была на всё. <...> Сначала мне казалось, что Х[ристиан] так же сух и холоден, как раньше, но постепенно от раза до раза он стал проявлять ко мне настоящую нежность и внимание совершенно другого порядка, более человечного. Я была счастлива, как только это мыслимо...

Воспоминания О. Ваксель заканчиваются описанием разгоревшейся страсти:

...Когда я обнимала его, – это был действительно трепет живого сердца. Он говорил мне, что ожил, что он снова хочет жить и любить меня и работать, сделать что-нибудь для своей маленькой Норвегии. Я была горда и счастлива.

Бывали минуты, когда мне казалось, что возвращается пора безумия, что я снова слишком начинаю увлекаться, что

я мучаю моего друга своей чрезмерной страстностью. Но я вовремя брала себя в руки, только сжимала зубы до скрипа, чтобы не проявить как-нибудь своих бурных настроений. Иногда во сне мне казалось, что я громко произношу его имя. Я просыпалась, обнимая подушку.

Все это было написано весной 1932 г. – частично самой Ваксель, но в основном под ее диктовку ее третьим мужем норвежским дипломатом Христианом Иргенс-Вистендалем. В диктовку веришь все-таки с некоторым трудом, настолько стилистически хорошо – как бы на родном языке и на едином дыхании – написано[33].

Воспоминания обрываются на событиях весны 1932 г., когда жить Ольге оставалось всего полгода. В эти полгода уместилось не так уж мало: поездка в Крым и на Кавказ с Христианом, лето с сыном в Мурманске и подготовка сына к поступлению в школу, в начале сентября, когда было получено официальное разрешение на брак с Вистендалем, поездка в Москву для регистрации брака и получения зарубежной визы и, последнее, приезд в Ленинград для оформления доверенностей, прощание с сыном и матерью, на попечение которой она оставляла Асика.

28 сентября Христиан увез Ольгу на свою родину, в столицу Норвегии Осло. <...> Она была окружена вниманием и трогательной заботой родных и друзей Христиана; языкового барьера не было, так как Ольга Александровна хорошо говорила по-французски и по-немецки, да и занятия норвежским у нее шли успешно. Но неожиданно для всех, прожив всего лишь месяц в семье Христиана, 26 октября 1932 года, оставив несколько стихотворений и рисунков, Ольга Александровна застрелилась из револьвера, найденного в ночном столике мужа. Сказались и ностальгия, и глубокая осенняя депрессия, и тяжесть от травли, которые несли ей бесконечные преследования со стороны Арсения Федоровича, усталость от жизни, в которой она безуспешно пыталась найти свое место. И твердое решение жить только до тридцати лет, которое она приняла. Смерть Ольги принесла большое горе всем близким[34].

Последнее стихотворение Ольги Ваксель – это своего рода предсмертная записка самоубийцы:

Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синеющие дали,
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполняюсь горестной печали.
Уже слепая к вечной красоте,
Я проклинаю выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Просящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир – мне страшная тюрьма,
За то, что я испепеленным сердцем,
Когда и как, не ведая сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.
Октябрь 1932

Увы, в цикле ее сердечных привязанностей (а стало быть, и «отвязанностей») ничего не изменилось: норвежский рай оказался очередной ошибкой – непредставимой поначалу, но на этот раз роковой.

9

Весть о том, что Лютика нет в живых, что она застрелилась где-то в Скандинавии, достигла Мандельштама не сразу. В один из его приездов в Ленинград ее принес театральный журналист и, естественно, один из поклонников Ольги, Петр Ильич Сторицын[35]. Громом среди ясного неба новость не оказалась, иначе стихи памяти Ваксель – и несомненно другие – появились бы сразу.

Почему же тогда спусковой крючок сработал в начале лета 1935 г. в Воронеже?

Причин тут две. Главная – это обращение к Гёте, занятия которым заставили Мандельштама задуматься об этапах творчества поэта и о роли женщин на этих этапах. На все это постепенно наплывал ставший уже чисто ваксельевским образ вожделенной Миньоны.

Второе – это краткое отсутствие в Воронеже Нади. Стихи памяти Ваксель Мандельштам, безусловно, считал «остро-изменническими», и в ее присутствии такие стихи автоматически не писались.

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

...Я тяжкую память твою берегу –
Дичок, медвежонок, Миньона, –
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

И сразу же слова о свадьбе в «зарешничной стране» приобрели окончательный – совершенно новый и зловещий – смысл.

---

1 См. библиографию.

2 См. посвященное А.А. Смольевскому послесловие составителя.

3 Здесь и далее курсивом выделены цитаты, при этом цитаты из «Воспоминаний» О. Ваксель даются по настоящему изданию, но без дополнительных ссылок.

4 Сына Арсения.

5 О. Ваксель, кстати, тоже росла без отца, умершего, когда ей шел 13-й год.

6 Есть в воспоминаниях О. Ваксель немало и мелкого фактографического брака: так, она пишет, что впервые попала в Коктебель в конце апреля 1916 г., а в действительности это произошло 8 мая, или что с ней ехала тогда ее мать, в то время как Ю.Ф. Львова приехала позднее, около 22 мая.

7 Сам Евгений Эмильевич, прочитав воспоминания Лютика в 1967 г., решил восполнить этот пробел и посвятил ей несколько страниц в собственных воспоминаниях.

[8] *Купченко В.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002. С. 397, 406. См. также фотографию этого времени с М. Волошиным на террасе его дома (Там же на вкладке).

[9] *Купченко В.* Указ. соч. С. 398.

[10] См. «Воспоминания Ольги Ваксель», примеч. 192.

[11] Н.Я. Мандельштам пишет, что по просьбе матери и как старый друг. Во-первых, обозначение «старый друг» могло быть хоть как-то заслужено только в случае достаточно тесного общения в Коктебеле. А во-вторых, Осип Эмильевич в роли Юлия Матвеевича, дальнего родственника своей матери, сопровождавшего его, по ее просьбе, в Ригу и Париж в 1907 году?!.. Увольте.

[12] А.Ф. Смольевский – ее будущий муж.

[13] Сообщено Р. Хрулевой-Купченко. 18 сентября М.А. Волошин поинтересовался у Ю.Ф. Львовой, как Лютик доехала (См.: *Купченко В.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1917–1932. СПб.; Симферополь: Алетейя; Сонат, 2007. С. 29). А.А. Смольевский при этом приводит совершенно иные даты – с 8 мая по 13 августа, и даже поправка на вероятную в этом случае разницу календарей оставляет зазоры и не снимает вопроса о природе этого несоответствия.

[14] Из стихотворения О. Мандельштама «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...» (1931).

[15] Из стихотворения О. Мандельштама «1 января 1934 года» (1934).

[16] *Мандельштам Н.* Об Ахматовой. М., 2008. С. 157.

[17] *Смольевский А.А.* Ольга Ваксель – адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 165.

[18] *Мандельштам Н.* Об Ахматовой. С. 142.

[19] Из письма Н. Мандельштам Е. Лившиц.

[20] *Мандельштам Н.* Указ. соч. С. 143–146.

[21] Персонаж романа У. Фолкнера «Особняк».

[22] РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 298. Л. 140–142 об.

[23] Там же. Л. 143–143 об.

[24] Там же. Д. 107. Л. 31.

[25] См.: *Герштейн Э.* Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998. С. 412–444.

[26] Неточность: имеется в виду академик-физиолог Е.М. Крепс (1899–1985), солагерник О. Мандельштама по «Второй речке».

[27] РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 298. Л. 145–145 об.

[28] Интересно, что сама Тата не просто поддерживала отношения с младшим братом Мандельштама, но и была его конфиденткой. Она относилась к нему вполне критически, но все же жалела и даже пускала к себе ночевать, когда тот приезжал из Москвы в Ленинград по делам или выяснять отношения со своей брошенной ленинградской семьей. 5 апреля 1964 г. он даже обратился к ней в следующих выражениях: «*Но это же Вам я пишу – моему альтер-эго, милому и доброму, все понимающему другу*» (ОР РНБ. Ф. 1315. Д. 63).

[29] ОР РНБ. Ф. 1315. Д. 64. Л. 2–4 (с конвертом). Цит. по: *Ласкин А*. Ангел, летящий на велосипеде. СПб., 2002. С. 135–136.

[30] Страховский Леонид Иванович (псевд.: Леонид Чацкий; 1898–1963), историк, поэт, издатель. Участник Белого движения на севере и юге России. С 1920 г. в эмиграции, сначала в Берлине, затем в Бельгии (1928), с 1937 г. – в США. Основатель и главный редактор журнала «Современник» (Торонто, Канада, 1960–1980). В 1947 г. опубликовал на английском языке статью «Осип Мандельштам – архитектор слов», обозначив ее как главу из будущей книги «Акмеисты – поэты России», перепечатанную в выпущенной в Гарварде книге Страховского «Мастера слова: три поэта современной России. Гумилев, Ахматова, Мандельштам» (переизд. в 1969 г.). Этой книге суждено было стать первым книжным изданием критического толка с именем Мандельштама на обложке, но нарисованный им слащавый образ поэта был полон неточностей (как, например, «переход О. М. в католичество в 1913») и передержек. В конце 1950-х годов книга Страховского попалась на глаза А.А. Ахматовой и вызвала ее гневную отповедь в «Листках из дневника»: «Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах “Петербургские зимы” Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале 20-х годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, – мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров – дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды».

[31] В написанном на склоне лет очерке «Надежда Яковлевна» 90-летняя Э. Герштейн замахнулась на чуть ли не исчерпывающий обзор проявлений бисексуальности у Н. Я., а заодно и «мормонства» у О. Мандельштама, не исключая и приставаний лично к ней (*Герштейн Э.* Мемуары: СПб.: Инапресс, 1998. С. 412–445). Осмелев от своего анализа, мемуаристка пошла еще дальше и пустилась в глубокомысленные объяснения потомству того, как сквозь призму сих обстоятельств следует понимать поэзию и чуть ли не поэтику Мандельштама. Этим она сорвала постмодернистские аплодисменты и за это получила премию Букера, но осадок от такого подхода к поэту остался крайне неприятный.

[32] Оно приводится чуть ниже.

[33] Да и не напишешь столько за один – первый – месяц пребывания в чужой стране, когда с избытком чисто внешних впечатлений и усилий по привыканию! Может быть, существовала предшествующая авторская редакция, лишь переписанная Вистендалем?

[34] Цит. по: *Смольевский А.А.* Ольга Александровна Ваксель (1903–1932) // Львова А.П., Бочкарёва И.А. Новоторжский родословец. Торжок, 2004. Род Львовых... С. 264. Завершение этого рассказа см. в заключительном примечании Е. Чуриловой к «Воспоминаниям» О. Ваксель.

[35] Сторицын (Коган) Петр Ильич (1894–1941), литератор, театральный критик.

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы,
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок:
Она сидела до зари
И говорила: – Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок...

Того, что было, не вернешь.
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот – проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.
1925

* * *

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню...

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча –
До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь...

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась –

Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна, –
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем,

Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи –
От зари и до зари
Налитые фонари.
1925

«Из табора улицы темной...»

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...

Но все же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету – что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной,
И некому молвить: «Из табора улицы темной...»
1925

* * *

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини –
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар, –
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе застыл талисман –
Движенье, движенье, движенье...
3 июня 1935

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,

И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

* * *

Я тяжкую память твою берегу –
Дичок, медвежонок, Миньона, –
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.
3 июня 1935, 14 декабря 1936

* * *

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гёте манившее лоно, –
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.
Июнь 1935

* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники –
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат.
Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.
Июль 1935

Ольга Ваксель

Воспоминания*

От публикатора

Воспоминания Ольги Александровны Ваксель публикуются по рукописи, хранящейся в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (МА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 204). В 2005 г. музеем у наследника О. Ваксель А.А. Смольевского была приобретена часть его архива – материалы, непосредственно относящиеся к Ольге Ваксель (109 единиц хранения).

В составе архива творческое наследие О. Ваксель представлено следующими материалами: двумя ранними стихотворными автографами, фрагментом прозаического произведения «Утро», посвященного сыну («посвящаю Аське», с датой – 6 октября 1932 г.), рукописными списками стихотворений, 12 графическими и двумя живописными работами. Также в собрании музея хранятся письма О. Ваксель разных лет, адресованные матери, отчиму, мужьям – А.Ф. Смольевскому и Х. Вистендалю, 79 фотографий и негативов, ряд документов биографического характера, машинописные списки стихотворений и воспоминаний О.А. Ваксель, подготовленных для публикации А.А. Смольевским, и машинопись черновика его статьи «Осип Мандельштам и Ольга Ваксель – адресат его стихотворений».

Рукопись воспоминаний насчитывает 161 лист, или 312 страниц, текста, запись выполнена на разноформатной бумаге, разного качества (некоторые листы с водяными знаками).

* Об истории возникновения «Воспоминаний» см.: От комментатора.

Первые 277 страниц имеют сплошную пагинацию, написаны черными чернилами и карандашом в основном рукой Х. Вистендаля, только 21 страница из них – вставки рукою О. Ваксель, последние 35 страниц написаны чернильным карандашом ее рукою на бумаге с водяными знаками «Silver Linen» и имеют свою (двойную) нумерацию. К сожалению, в результате естественного старения бумага разрушается и угасает карандаш.

Образцом для идентификации почерка Вистендаля послужило его короткое письмо из Москвы в Ленинград от 7 июля 1932 г., адресованное О. Ваксель (МА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 215) – единственный документ в коллекции музея, написанный рукою Х. Вистендаля.

Некоторые особенности записи воспоминаний говорят о том, что она действительно велась под диктовку, набело. Исправления встречаются крайне редко, хотя запись делалась не в один день и, видимо, в разных бытовых и, возможно, психологических ситуациях.

Большая часть имеющихся в тексте исправлений сделана позднее красным и графическим карандашом А.А. Смольевским. Эти исправления главным образом корректорские: исправление грамматических ошибок, описок, характерных для человека, пишущего на неродном языке. Помимо основного корпуса текста в рукопись вложен 21 лист (34 страницы) отредактированного («отцензурованного») текста, записанного А.А. Смольевским и подготовленного им для публикации. Один из машинописных вариантов воспоминаний в редакции А.А. Смольевского находится в собрании музея – исправленный стилистически, смягченный или купированный в описании отдельных эпизодов биографии О. Ваксель. В настоящей публикации редакция А.А. Смольевского не учитывается.

Текст воспоминаний автор не озаглавил. На титульном листе карандашом рукою Смольевского написано: «Воспоминания Ольги Александровны Ваксель (1903–1932), частью продиктованные ею своему мужу Христиану Вистендалю (1903–1934), частью написанные ею самою и привезенные из Норвегии сестрой Христиана г-жой Агатой Стрэм в 1965 г.». На последней странице рукописи под текстом синим карандашом обозначена дата: «31/8/32».

Текст воспоминаний публикуется в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации при сохранении некоторых авторских особенностей написания, количество абзацев увеличено. Раскрываемые сокращения заключены в угловые скобки, пропуски в тексте – в квадратные.

Ирина Иванова

От комментатора

Воспоминания Ольги Ваксель (18.03.1903, Поневеж, Литва – 26.10.1932, Осло, Норвегия), как считал А.А. Смольевский, написаны весной 1932 г. во время путешествия с третьим мужем Христианом Вистендалем по Крыму и Кавказу (см. примеч. 421), когда она диктовала ему историю своей жизни, отдельные отрывки вписывала сама. Однако в одном из писем от 26 июня 1932 г. О. Ваксель сообщала Х. Вистендалю в Москву: «Любимый мой, от Тебя ни слова. Я пишу дальше, начатое нами, скоро пришлю». (МА. Ф. 5. Д. 213. Л. 1)*.

«Текст, написанный от руки почерком Христиана Вистендаля то чернилами, то карандашом, почерком самой Ольги Александровны – только карандашом, – пояснял А.А. Смольевский. – Текст получен мною в начале лета 1965 г. от сестры Христиана Вистендаля г[оспо]жи Агаты Стрэм (Agathe Stroem, род. 1906),

---

* С.В. Полякова в своем исследовании «Воспоминания О.А. Ваксель о встречах с Мандельштамом», которое написано по материалам, предоставленным А. С., и опубликовано при его жизни, высказала предположение, что О. Ваксель «...начала свои “Записки” задолго до своего второго брака и только их конец действительно писался господином Христианом Иргенс-Вистендаль под ее диктовку». См.: *Полякова С.В.* «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 178. Вряд ли с этим можно согласиться – почерк Вистендаля прослеживается с самого начала документа (см.: От публикатора).

приезжавшей в качестве туристки в Ленинград. Одновременно г-жа Стрэм привезла с собой несколько картин М.А. Волошина из числа увезенных Ольгой Александровной в сентябре 1932 г. за границу, а также ранее не известные мне ее последние стихи. Через два года, в августе 1967 [г.], мы с женой ездили в Норвегию по приглашению г-жи Агаты Стрэм, посетили кладбище, на котором покоятся урны с прахом Ольги Александровны, Христиана и его родителей – Анны и Отто Вистендалей. Тогда же г-жа Стрэм вручила мне экземпляр воспоминаний Ольги Александровны, переведенных Христианом на норвежский язык. <...>

В мемуарных записках Ольги Александровны Ваксель отражены многие события ее жизни, но не все. Так, в них упоминается далеко не в полном виде ее поездка с сыном на юг. Это – та самая поездка, которая описана в воспоминаниях Евгения Эмильевича Мандельштама. Впрочем, обстоятельства, связанные с этим путешествием, мне были известны отчасти из рассказов Юлии Федоровны, отчасти – из беседы с Надеждой Яковлевной Мандельштам, и затем подтверждены рассказами Екатерины Константиновны Лившиц. Но следует иметь в виду, что и в записках Евгения Эмильевича Мандельштама, в той их части, где речь идет о Лютике <...> также есть ряд неточностей» (коммент. А. С., см. ниже, а также примеч. 17, 283, 211, 320, 321, 331).

А. Смольевский был филологом, занимался сочинением музыки и любительским рисованием. Наше знакомство состоялось в 1986 г. в связи с подготовкой открытия Дома-музея П.П. Чистякова (отдела НИМРАХ). Арсений Арсеньевич постоянно бывал в музее, передал в дар многочисленные семейные портреты и фотографии, а также рукописи своих воспоминаний, а однажды летом 1989 г. он пришел с трогательным букетом полевых цветов, среди которых был и лютик, в память о детском имени его матери. С декабря 1992 г. я неоднократно бывала у А. Смольевского и его жены Н.С. Зенченко (1903–2002) в квартире на Проспекте науки.

А.А. Смольевский оставил записки о многих лицах из окружения матери, большинство из которых знал лично. На протяжении последних лет жизни он работал над примечаниями к воспоминаниям О. Ваксель и именным указателем к ним, а также написал собственные мемуары, в которых использовал многие

семейные предания и факты, относящиеся к знакомым и друзьям его родни. Кроме того, он составил «Вехи биографии» О. Ваксель – краткую летопись основных событий ее жизни. Все материалы подарены им А. Ласкину и использованы в работе над комментариями.

А.А. Смольевский написал также воспоминания (1960–1987) о своих знакомых, упоминаемых в мемуарах матери, – о Г.В. Кусове, художнице В.М. Баруздиной, О.Д. Форш и о М.С. Волошиной. Эти тексты также по мере необходимости использованы в работе над комментариями.

Фрагменты воспоминаний О. Ваксель ранее публиковались по машинописи, подготовленной А.А. Смольевским (см. библиографию). Экземпляр мемуаров на норвежском языке находился у А. Смольевского до самой его смерти (сообщено А. Ласкиным), местонахождение его не установлено.

На отдельных страницах машинописи воспоминаний О. Ваксель внизу рукой А.А. Смольевского сделаны пометки карандашом, которые цитированы как Примеч. А. С. Мемуары самого А. Смольевского напечатаны на машинке, имеют нумерацию листов и даются как: Восп. А. С. с указанием номера листа. Другие разрозненные записи А.А. Смольевского – пояснения к персоналиям и фактам, сделанные на отдельных листах и в небольших тетрадях, а также алфавитный указатель имен, встречающихся во всех его текстах (все не завершено и не пронумеровано), приводятся как: коммент. А.С. Смольевского, без указания номера листа. Отдельные сведения, которые А. Смольевский лично предоставил мне, обозначены: из поясн. А. С.

Комментарии не претендуют на исчерпывающую полноту; многие сведения даны с оговорками и, возможно, со временем будут уточнены. Курсивом выделены ключевые слова.

Елена Чурилова

Мы думаем, что наши предки были пиратами, хотя никакого доказательства тому нет. В «Энциклопедическом словаре»[1] о них говорится, что они были шведскими моряками[2], открывшими какие-то острова[3] и получившими дворянство при Екатерине II[4]. Между ними и мной вплелось много разных национальностей[5]: тут были и греки из Одессы (Абаза[6]), и татары (Гагарин[7]), и литовцы (Львов[8]), и даже какая-то немецкая баронесса (фон Пирх[9]).

Помню я своего дедушку Александра Львовича Вакселя[10], красивого старика, страшного бабника, имевшего гарем в своем доме в Ковно[11]. Он до того любил женщин, что однажды ухаживал за собственным сыном на маскараде[12].

Помню его смутно, больше по скандальным анекдотам[13] и благоговейным воспоминаниям бабушки[14] (урожденной Львовой, дочери композитора «Боже, Царя храни»)[15]. Бабушка, сама очень красивая в молодости, обожала своего ветреного супруга; последнего ребенка имела в 40 с лишним лет[16]. Последние воспоминания о ней относятся к 1917 г., когда она жила на Петроградской стороне, где умерла, кажется, в 1920 г. Я была у нее с отцом; после удара она потеряла речь и движение, но все же узнала меня и плакала и лепетала что-то.

Родителей матери[17] я не помню совсем. Бабушка[18] умерла в 1907 г. в Челябинске, где была начальницей института, будучи в ссоре с моей матерью. Дедушка[19] умер, когда матери было 10 лет[20]. Он был химиком, одним из

основателей Русского Технического общества, пробыл 10 лет на каторге в Сибири после дела Петрашевского[21], в котором принимал участие и Достоевский[22].

Первое, что я помню о себе, относится к городу Поневежу[23], около которого было дедушкино имение «Романи».

Помню свою первую няньку, веселую польку Машу[24]. Она пела: «Как старушке двадцать лет, молодушке года нет». Помню, как писали мамин портрет[25] в белом атласном платье с открытыми плечами, с руками, покрытыми изумрудами. Помню моего отца[26], бородатого и меланхоличного, красивого и избалованного. Его собаки и ружья, его победы и слава запомнились с горделивым чувством. Он прекрасно пел, не зная нот, выученный с голоса как скворец, моей матерью, талантливой музыкантшей[27].

Потом помню себя в «Романи», прекрасном имении с вековыми деревьями, старым домом и множеством собак[28]. Там меня начали учить по-французски так успешно, что я за время недолгой отлучки матери разучилась говорить по-русски. Я встретила ее к поезду и обратилась к ней: «Vous étiez malade? Vous restiez au lit?» [29]

Когда мне было два с половиной года, мои родители развелись[30], и мать увезла меня в Петербург. Мы поселились на Фурштатской вместе с кузиной Соней Лансере[31]. Квартира была более чем скромная, обед нам носили из ресторана, моя мать давала уроки и проходила партии с консерваторскими учениками.

У нас часто бывал А.Ф. Львов[32] (впоследствии мамин муж[33]), двоюродный брат отца и троюродный – матери. Всегда было много цветов и почти ежечасных посланий. Постоянно бывал старый Кони[34], большой друг и поклонник Julie[35]. Когда я его в первый раз увидела, я забралась под рояль и кричала оттуда:

«Quel vilain monsieur! Il ressemble a un singe! Qu’ il s’en aille!»[36]

Но потом тоже подружилась с ним, любила его сказки.

Большое впечатление произвело на меня знакомство с Федей Охотниковым, мальчиком старше меня, у которого были замечательные игрушки. Особенно мне понравился

большой медведь с пуговичными глазами[37]. Очень грустный и лохматый. В тот вечер на мне были красные туфельки и красное платьице, и все говорили: «Какая прелестная девочка», – это был мой первый светский успех.

Вскоре мы переехали в Царское Село, на Царский павильон[38], где была квартира моего будущего отчима. Привез меня отец, я спала у него на руках, в полутемном вагоне. Наутро я вышла в полный снега садик и увидела за забором паровоз.

В доме были большие комнаты, много старинного кавказского оружия, унаследованного от прадедушки Львова[39], бывшего шефом конвойцев и основателем придворной певческой капеллы[40]. Висели портреты предков и картины[41], изображавшие – одна: конвойцев в полной парадной форме, верхом, и моего прадеда с белым плюмажем на каске; другая – капеллу, хор молодых певчих, моего прадеда регентом с палочкой в руке, среди слушающих – певица Viardot[42] с лорнетом и в кринолине.

В кабинете была громадная тахта, которая иногда изображала корабль в открытом море, иногда дом и сад для моих медведей[43] (в куклы я никогда не играла).

Утром меня тащили в tub[44], поили какао в таком количестве, что я после него ложилась на стуле в столовой и не могла отдышаться. Вообще в детстве меня страшно пичкали питательными вещами, а я ненавидела есть.

Весной из палисадника у самого вокзала я выбралась на поворотный круг, и это стало моим любимым местом для игры. Там были песчаные покатые склоны и росли желтые [цветы] «львиный зев». Когда приходили гости, мою няньку со мной посылали в Кузьмино[45] за яйцами для бисквитного торта. Мы не торопились возвращаться, пили до бесконечности чай с яблоками. Это был настоящий праздник.

При гостях меня учили хорошим манерам, но [у] меня не было желания отвечать на вопросы сюсюкающих дам и страшноватых железнодорожных офицеров. В то время в доме изрядно пили. Особенно я боялась чернобородого полковника Федорова[46], который говорил, что хочет меня увезти на дрезине к себе на Среднюю Рогатку[47].

От него всегда пахло вином, а резиновые сапоги выше колен, которые он мне обещал для прогулок, меня вовсе не прельщали.

После таких разговоров у меня бывали припадки особенной нежности к матери, которую я не отпускала с глаз. Ей приходилось тайком уезжать из дому, чтобы я не плакала, когда я узнавала об ее отъезде, я ложилась на платформу и била ногами.

Там же у меня появилась первая француженка, старая M-me Lucie. В четыре года я очень болела. У меня был острый ревматизм. Единственное приятное в это время были ванны с солью и сосновым экстрактом. Вообще в этом возрасте мне пришлось много иметь дела с докторами. Мне вырезали гланды в Петербурге и за это подарили первого большого Мишку, белого, в матросском костюме.

В 1907 г. мы переехали в Гатчину.

Жизнь в Гатчине я считаю лучшим временем моего детства. У нас был просторный дом около полотна железной дороги, недалеко от того места, где сейчас полустанок «Гатчина первая»[48]. Когда мы переехали, за домом был большой, усыпанный песком и окруженный высоким желтым забором двор. На этот забор я влезала при прохождении каждого поезда. Иногда видела на площадке мою мать, возвращающуюся из Петербурга, или моего дядю[49], спрыгивающего на ходу около дома.

Когда мы обжились, ранней весною превратили наш двор в сад. Вдоль забора посадили кусты кротегуса, за ним липы, а в середине группы сирени; распланировали дорожки, сделали площадку для крокета, остальное пространство заполнили клумбами и засеяли японским газоном. Этот газон доставил мне много радости, я следила, как распускались то крошечные тюльпаны, то черные бархатистые цветы неведомого названия, а когда появились голубые лотосы около пруда, я сделала в умывальном тазу пруд для мишек.

Недавно[50], проезжая в поезде мимо нашего сада, я видела, как он разросся: липы вышиной в два человеческих роста и кусты сплошной стеной.

В доме у меня была своя комната, выходившая окном на улицу, с дверью в длинный коридор. Со мной спала няня, а в соседней комнате моя новая француженка, кокетливая и непонятная мне, всегда сама гладившая свои кружевные панталоны. Она меня научила делать гогель-могель и петь песенку: «Dansez-vous, Marquise?»[51] Однажды приехал ее кавалер, обедал с нами и подарил мне резиновую надувную свинку, которая с писком выдыхалась и падала с ног.

Над домом был очень страшный и интересный чердак, куда надо было влезать по приставной лестнице с огромными расстояниями между перекладинами. Я долго не отваживалась добраться доверху, возвращалась с полдороги, но, набравшись духу, все же проникла туда с моим первым «женихом», Аркадием Петерс, мальчиком старше меня лет на семь.

На чердаке было много чудесных вещей, старая мебель, из которой можно было строить замки, старые книги с картинками, сломанные гипсовые фигуры, которых мы привлекали к нашим играм в качестве сторожей, гостей и солдат.

На чердак вход был запрещен, там было пыльно, много пауков. Я возвращалась оттуда в таком виде, что мне не позволяли садиться на стул, снимали двумя пальцами платье и сажали в ванну. Потом меня ставили в угол, но я не плакала, ковыряла стенку и радовалась, что можно не обедать[52].

В спальне моего дяди было тоже много интересных вещей: кольца для гимнастики, ввинченные в потолок, шкаф с душем, которого я боялась, потому что меня иногда насильно в него заталкивали и открывали всю воду. Вода брызгала со всех сторон, забиралась в глаза, в уши, в нос и пока в резервуаре, помещенном в шкафу, была хоть капля, – не переставало брызгать. К двери были приделаны резиновые ремни с ручками, тоже для гимнастики, и, велика была моя гордость, когда мне удавалось растянуть их на несколько сантиметров.

В маминой комнате был рояль, все тот же маленький «Мюльбах», на котором она с четырехлетнего возраста

начала учиться. У нас собирались квартеты, квинтеты, бывали иногда певцы, но чаще приходили из казармы полковые знаменитости, как-то: мандолинисты, балалаечники, гитаристы и гармонисты. Они смущались непривычной обстановкой и стремились поскорее удрать. Впрочем, среди вестовых и денщиков у нас были искренние друзья. Вестовой, топивший печки, рассказывал мне такие чудесные сказки, что я их до сих пор помню. Денщики женились на няньках, кухарках и долго после окончания службы навещали и принимали нас. Я крестила ребят, не знаю только, где мои многочисленные крестники. Один денщик поднес моей матери коробку визитных карточек с трогательной надписью на крышке: «Милой моей барани преданный Михаил Рысин»[53]. Этими карточками, сделанными с большим вкусом, моя мать пользовалась очень долго.

В Гатчине у нас было довольно много знакомых. Самыми интересными из них я считаю семью Шуберских[54]. M-me Шуберская, Ду́ша, рожденная княжна Хилкова, мамина большая приятельница, была очень некрасива, но обаятельна: в детстве ее не уберегли от черной оспы и все ее лицо, несмотря на многочисленные попытки это исправить, было изрыто рябинами. Она была несчастна в браке (это понимала даже я), жила на разных половинах с мужем, и мало занималась детьми. Паша Шуберская, ее дочь, моя первая подруга, была одних лет со мной. Одно время у нас была общая француженка, общие прогулки и общее воспитание. Ее младший брат, Андрей, только что родился и был толстым, бело-розовым бэби. Это был один из немногих малышей, к которому меня близко подпускали, я смотрела, как его купают, кормят и одевают.

В гостиной у них круглый год пахло сиренью, в маленьких оранжереях к Рождеству расцветали гиацинты, созревали огурцы и земляника. В большом саду нам позволяли играть одним. Мы этим широко пользовались. Раз, на похоронах куклы, мы оборвали все цветы, садовник жаловался, но никто мне не сказал ни слова.

В этом доме у самого вокзала я пережила свою первую драму. Однажды вечером за мной пришел денщик

и сообщил мне, что моя мать и мой дядя поженились[55]; они только что вернулись из Петербурга с массой цветов, и что у нас дома гости. Я не хотела возвращаться домой. Я не хотела видеть своего дядю, мне казалось, что мама умерла.

Более легким знакомством было семейство вдовы Петерс[56]. Это была толстая, суетливая дама, обожавшая своего сына Аркашку и не могшая с ним справиться. Она возлагала большие надежды на моего отчима, и не напрасно – он учил ее детище стрельбе в цель и военной теории. Мальчишка торчал у нас по целым дням и не гонял ворон, как раньше. Иногда он уводил меня к ним, это было недалеко, но все же казалось событием. У них в тенистом, сыром саду с канавами, полными незабудок, собиралось до десятка ребятишек с соседних дач, и устраивались игры под руководством старшей сестры Аркадия, чинной толстой институтки. Играли добросовестно, по всем правилам, в фанты, в «краски», в «трубочиста и ангела», в «золотые ворота», в «море волнуется», в «волки и овцы», в «казаки и разбойники» и другие игры в таком роде.

Меня посвящали в правила игры, я была серьезна, но весело не было. Лучше было плавать по морю – ковру – в опрокинутых санках, изображавших пароход, или слушать мамину музыку перед сном, или ходить с няней Оней в Приорат[57] или в сторожку железнодорожного мастера – ее отца. Там всегда пахло свежим черным хлебом, испеченным в русской печке на капустных листьях. Только там я с удовольствием пила холодное молоко, казавшееся таким вкусным после прогулки. У них было много икон, украшенных бумажными розами, белые деревянные столы и скамьи и классический комод, покрытый вязаной скатертью и уставленный фотографиями солдат с остановившимся взглядом, и старушек с буфами на рукавах.

В этом доме я впервые пережила ревность (лет 5). Сестра моей няньки вздумала меня дразнить: она говорила, что Оня скоро от меня уйдет, что она будет жить у другой, хорошей девочки. Я схватила со стола ножницы и бросила в руку моей обидчицы. Ножницы застряли, когда их вынули, пошла кровь, девушка плакала от боли, меня сгребли

и увели домой. Дома я ревела, пришлось рассказать маме; меня перестали пускать.

Приятным гостем я считала старичка Андре-де Бюи-Гинглад[58]: он приезжал в высоком шарабане и увозил меня кататься. Иногда меня брали в теннис-клуб, где мой отчим проводил много времени. Но было скучно и жаль мальчишек, бегавших за шарами. Я предпочитала сетку в Приорате, там была мачта как на корабле и ванты, а под ней большая веревочная сетка. Дети взбирались, кто, как высоко мог, пролезали наружу, висли на руках, потом прыгали вниз. Верхом ловкости считалось влезть на площадку наверху мачты и соскользнуть по стальному наклонному тросу на одних руках, обернутых носовым платком.

Отчим получил разрешение на осмотр гатчинского дворца. Решено было взять с собой и меня. Признаюсь, что это было напрасно, пышные мрачноватые анфилады меня только утомили, но отнюдь не понравились. Впоследствии я много раз там бывала, но первое впечатление детства сказывалось каждый раз, несмотря на вполне сознательное отношение к окружавшим меня историческим предметам. А понравился мне прудик в саду, в который бросали медные деньги, и грот, сложенный из пористого камня.

Взрослые говорили о единственной привычке Павла, будто бы передавшейся Николаю II[59] – нюхать все, а особенно свои руки после рукопожатий. Приорат с его холмами казался мне прекрасным и огромным. Летом там было много детей, цветов и велосипедистов, зимою – каток.

Я не помню, как я училась бегать на коньках, по-видимому, легко, зато свой вид точно могу описать: у меня были ботинки на шнурках до колен, коньки «Снегурочка», красная шубка с пелеринкой, отделанная каракулем, такая же круглая с ушами шапочка и маленькая муфта на шнурке. Идти через весь город с коньками было бóльшим удовольствием, чем кататься. Но я пыталась даже танцевать на льду, хотя танцевать не умела. Какие-то досужие молодые люди для смеху кружили меня и, видимо, развлекались за мой счет.

С Приоратом у меня связано представление о замерзших по дороге в школу детях – история, не знаю, с какой целью рассказанная при мне взрослыми, но произведшая сильное впечатление. Одним из ужасов детства был страх, внушаемый цыганами. Когда вблизи нашего дома появлялись смуглые гадалки с кольцами в ушах, с раскачивающейся походкой, в пестрых тряпках, у меня немели ноги от страха, я пряталась, куда попало, и долго потом мне снились сцены похищения детей. Все офицерские кухарки сбегались погадать про женихов, тащили свои гривенники и нисколько не боялись. Это было удивительно. Не меньше цыганок я боялась коров и автомобилей. У нас всегда были свои коровы – их я не боялась до такой степени, что пыталась доить, но чужих...

Был у нас в роте галантный писарь[60], катавший меня на велосипеде, называвший меня: «Прелестное дитя, прекрасное дитя». Так этому писарю пришлось много раз видеть мой ужас при появлении в конце улицы стада или при дальнем гудке автомобиля. Я соскакивала на ходу, бросалась через канаву, лезла в чужой сад через забор.

Зимой 1909 на 1910 г. я в первый раз была в имении своего отчима – Андреевке в Саратовской губ., Балашовского уезда[61]. Мы приехали ночью на полустанок Аркадак, нас встретил дядя Федор[62], брат отчима, живший постоянно в имении. Он был в синем кучерском армяке и сам правил тройкой. Мы ехали в темноте, по рыхлому скрипучему снегу, и когда свернули в аллею, открылся освещенный желтыми огнями дом. Нас ждали. С мороза вошли в жарко натопленные, пахнущие яблоками комнаты.

Бабушка Прасковья[63] прослезилась надо мной и сказала: «Вылитый Саня!» Пять человек ребят сестры отчима, Пашеньки[64], тоже не спали, чтобы посмотреть на новую кузину. Старинная мебель красного дерева, портреты в тяжелых рамах, при свете свечей ласковое лицо бабушки[65] в чепце.

Я заснула за столом у поющего самовара, меня на руках перенесли и уложили. Наутро было морозное солнце, разговоры с попугаем, чай со сливками и горячие булочки

с маслом. После завтрака пошла с отчимом и дядей смотреть лошадей, новую молотилку и сад. Стебли кукурузы торчали из снега, липовая аллея была еле расчищена, фруктовые деревья стояли скучными симметричными рядами.

У меня стал мерзнуть нос. Я попросилась в дом. Потом ходила следом за ключницей, бывшей мамкой, Феоней – всюду – в кладовую, где хранились банки с вареньем, яблоки, сахар, и в людскую, где был молочный сепаратор. При мне тут же били масло к вечернему чаю и сбивали сливки к обеду. Кухня была в отдельном флигельке, соединенном с домом галереей.

Дом был очень стар, давно не ремонтировался, на деревянной крыше вдоль желоба росли кустики, летом даже цветочки. Говорили, что в доме живут привидения, что бабушка в тоске по умершем муже вызывает каждую ночь его дух, который носится с шелестом по комнате, гасит свечи, шевелит занавески. Даже моя мать и отчим уверяли, что однажды, засидевшись поздно в столовой за чтением, чувствовали его присутствие: пронесся ветер, пламя свечи совсем пригнулось, послышался протяжный вздох.

Дети тоже верили этим рассказам и даже играли в духов. Самая хитрая – приемыш Клавдия, – пользовалась нашим страхом, стучала в стенку и уверяла, что это духи. Потом нашла дырку в стене и говорила, что там живут феи и что их можно видеть.

В воскресенье нас повезли в церковь, хотя она находилась всего в версте. Нас – ребятишек – свалили всех в кучу в большие розвальни на солому, покрытую ковром. Сани толчком двинулись вперед, половина вывалилась в снег, было много визгу и смеха. Бабушка в парадной шали и ротонде ехала в других санях.

Церковь была маленькая, бревенчатая. Певчих не было. Служба прошла быстро. Воскресный обед, особенно вкусный и торжественный, вызывал у детей соревнование в поедании сладкого. Специальностью Феоны было блюдо, называемое «юнга». Это была булка, пропитанная вареньем и залитая сливками. Кормили шесть раз в день, при этом так, что встать из-за стола бывало трудно.

Дни были короткие, рано темнело, нам не позволяли далеко уходить от дома. Но мы успевали сбегать к речке Кистендей с обрывистыми меловыми берегами и в конюшню, покормить лошадей сахаром, который мы бессовестно крали из-под носа Феоны. У каждого были любимицы, у меня: старая, седая «Моргушка», моя будущая учительница, и вороная «Гитарка» с белой звездочкой во лбу.

Бабушка, бывшая балерина, сохранившая и в старости молодые привычки, тоже часто выходила пройтись по саду, проведать лошадей, иногда навестить мельника. Между трапезами она сидела в своей комнате, полной реликвий, и предавалась воспоминаниям. Попасть к ней значило либо получить выговор, либо быть обласканным. И то и другое случалось очень редко. В комнате пахло старинными духами «Le jardin de mon curé»[66], в овальных рамах висели дагерротипы и фотографии дней ее молодости. Перед иконой в остекленном киоте красного дерева всегда горела лампадка на цепочках.

Сама бабушка с большими серыми глазами, худощавая и подвижная, имела много горя, но держалась бодро. Ее младший любимый сын застрелился недавно, заболев; ее сын Федя собирался жениться на дочери немецкого колониста, арендатора фруктового сада. Все были против, и он часто запивал. Леля (мой отчим) женился на разводке[67], о которой шли предосудительные слухи: четыре года она жила на свои заработки, одевалась по моде и, говорят, у нее были наклеенные брови[68]. Но все-таки – родственница.

В эту зиму я начала учиться письму и арифметике, читать я уже умела. Арифметика не шла в голову, отчим сердился и говорил: «Я тебе, кажется, разжевал, надо только проглотить» – все, что осталось от этих уроков.

Вернувшись в Гатчину, я впервые обратила внимание на то, что дом наш не так уж велик, моя комната не так уж уютна, как мне казалось раньше. Кроме того, от меня ушла моя любимая няня Оня. Она вышла замуж за того вестового, который мне рассказывал сказки. У меня появилась какая-то мерзкая старушонка, маленькая и сгорбленная,

ходившая в темных ситцах с цветочками, была крайне хитра, обжорлива и нечистоплотна. Последним в ряду ее художеств было посещение нами десятикопеечной бани. Пока она парилась, я с ужасом смотрела на всяких каракатиц, ползавших в пару.

Меня спасло появление моей бывшей няньки Маши, с удивлением обнаружившей мое присутствие в столь странном для меня месте. Она отвела меня домой и пожаловалась маме. Вскоре явилась моя старуха и доложила, что девочка пропала. Моя мамаша показала ей пальцем на дверь без лишних слов. Зато мой отчим, давая ей расчет, метал громы и молнии. Он так орал, что тряслись стены и звенели стекла.

Опять я осталась без присмотра, только Алина, француженка Паши Шуберской, приходила за мной, и мы гуляли в Приорате или ходили к Балтийской ветке, где был аэродром[69]. У нее был роман с каким-то пилотом. Их было тогда немного, и он казался героем, чуть ли не полубогом.

Несколько раз появлялся мой ветреный отец. Он бывал редко и ненадолго, блистал галстухами и манерами, возил меня покупать игрушки, капризничал за обедом, при отъезде долго крестил и целовал меня, коля усами. Однажды он появился с новой женой[70]. Она была очаровательна, вся закутана в меха, но говорила мало, держалась просто и тоже повезла меня покупать игрушки. Мы купили бегающего крокодила, от которого удирала вся прислуга, и маленького пушистого Бадю (заводную обезьяну, кувыркающуюся через голову) взамен потерянной солдатами где-то под Харьковом в командировке из окна вагона. Они заводили механизм и вывешивали ее на веревочке вокруг шеи на устрашение мужиков на станциях. Она двигала всеми лапами и производила впечатление живой.

Иногда меня брали в Петербург. Тогда мы бывали у тетки Прасковьи Александровны Саловой, папиной старшей сестры, бывшей замужем за товарищем министра путей сообщения Василием Васильевичем Саловым[71], очень милым, но очень старым человеком. Тетя Патя была белокура, голубоглаза, с прекрасным цветом лица, всегда

жизнерадостная, тратившая уйму денег на шляпки. У нее мне очень нравилось: ее попугаи, черепахи, лягушки, коты – все меня занимало. Попугаи ругались предпоследними словами, свистели пронзительно и важно разгуливали по карнизам, когда их выпускали из клеток. Черепахи зимой спали в плетеной корзинке, летом бегали по комнатам или в саду, и каждый вечер с наступлением сумерек поднимали весь дом на ноги – их приходилось отыскивать. Лягушки жили в банке и служили вместо барометра. Когда было сыро, они вылезали на приставную лесенку, когда было сухо, забирались пониже. Тетка таскала с собой пару зеленых древесных лягушек в коробочке и всегда пугала мою мать, выпуская их неожиданно на стол или на рояль.

У тети Пати я могла трогать и делать все, что хотела: я заказывала для себя обед, писала на машинке, колотила по роялю, рвала комнатные цветы и таскала за хвосты сибирских красавцев, нещадно оравших, но кротких.

Мой обед в теткином доме, превратился, наконец, в стандарт: суп с «бумбуличками» (вермишель), макароны с сыром и куриные котлеты. На сладкое клюквенный кисель с сахарной пудрой. С собой мне давали лепешки крем-брюле и шоколад «Гала-Петер».

В теткиной спальне, также доступной для меня, были забавные вещи, система зеркал для прически, паровая ванна для лица, шифоньерка, полная кружевного белья, которое она обожала, стирала сама.

В дни моих посещений приглашался дядя моего отца, Платон Львович Ваксель[72], седой, розовый, прекрасно певший под аккомпанемент моей матери романс «A vingt ans»[73]. Когда меня брали в Петербург обновлять мои туалеты, и мы бегали по Гостиному двору, высуня язык, появлялись в качестве советчиц и попутчиц мамины приятельницы: Маруся Воейкова[74], Соня Лансере и Анна Викторовна Королькова[75], с которой моя мать познакомилась на полковом празднике, жена штабс-капитана, скромная, нервная, но остроумная и культурнейшая женщина.

Для поддержания энтузиазма мы заходили в «Квисисану»[76], где были автоматы с бутербродами и чудесные фи-

липповские пирожки[77]. Ради того, чтобы посмотреть лишний раз, как вертится автомат, я съедала огромное количество бутербродов и уговаривала всех делать то же самое.

В Гатчине появились новые лица. Часто стала приезжать Анна Викторовна. Мать ее утешала, как могла, в ее несчастной семейной жизни; часто я слышала взрывы смеха, а еще чаще видела, как прятались под диван бутылки с ликером при появлении новых гостей.

Елку мне устраивали каждый год. Но одно Рождество никогда не забуду. Появился переведенный из гвардии поручик Тойкандер[78]. Блестя золотым нагрудником и звеня шпорами, прошел представиться своему ротному. И застрял. За обедом, чтобы понравиться Алине, он не отказывался от подливаемых опытным в спаивании отчимом рюмок. После обеда долго пили кофе с ликерами, вернее ликер с кофе, после чего поручик оказался мертвецки пьяным, спящим под елкой. Когда пришли зажигать елку и раздавать подарки, поручик Тойкандер не проснулся. Вызвали по телефону извозчика, и два денщика в стоячем положении увезли его домой.

Мне подарили большого толстого мишку с очень длинной шерстью и кротким выражением лица, первую хрестоматию и сказки с иллюстрациями Доре[79]. M-lle Добашинская[80], учительница Гатчинской гимназии, была приглашена давать мне уроки, чтобы подготовить к поступлению в школу. Из этого, конечно, ничего не вышло: больше получаса сидеть за уроком я не чувствовала себя в состоянии, начинала вертеться на стуле, задавать посторонние вопросы, и в конце концов с независимым видом соскальзывала со стула, делала книксен и убегала. Зато для себя я читала много, книг от меня не прятали, думая, что я ими не интересуюсь. Я, правда, понимала немного, но это не отбивало охоты читать.

К тому времени я полюбила многочисленное детское общество, принимала у себя, устраивала питье шоколада и прогулки. До двух десятков детей составляли мой кружок. Для этих сборищ у нас в сад поставили настоящую

солдатскую палатку. В один из таких приемов попал сын Анны Викторовны, Толя, живший в Царском Селе. Я не обратила на него внимания – он был очень молчалив и застенчив. Когда мы отдавали Корольковым визит, пришлось приехать со станции «Александровская», а идти через Баболовский парк[81]. Недалеко от решетки Александровского парка в пруду купался слон[82]. Он набирал в хобот воды, лил себе на спину.

Троих детей Корольковых я застала всех в разных местах: Таня[83] вышла нам навстречу с большой куклой на руках, сама похожая на куклу льняными волосами; Миша катался по дороге на трехколесном велосипеде, а Толя в детской сосредоточенно жевал простоквашу. На завтрак подавали яичницу со шпинатом, запеченную в глиняной форме, и пельмени с сыром. Папа Корольков имел рыжие усы. Дети называли его «Ремняшкин», потому что он часто порол их ремнем. Особенно доставалось Толе, тихому и скрытному, большому выдумщику на всякие шалости.

В детской Корольчат было много невиданных заграничных игрушек, привезенных дедушкой Лампе[84] из Австрии. Отец Анны Викторовны ежегодно ездил в Тироль. Все его покупки для детей носили отпечаток его вкусов. Мальчикам он привозил замшевые черные штанишки, подтяжки, фетровые шапочки с зелеными перьями из хвоста селезня, сапоги, подбитые гвоздями, Тане – кукол в венгерских костюмах или гномов с суконными лицами и пуговичными глазами. Один – рыжий по имени Польди – пережил даже революцию и был продан на рынке в 1919 году.

Для меня, не знавшей толк в куклах, все эти кроватки и туалеты для кудрявых «Улек» были удивительны и мало понятны, зато кабинет «Ремняшкина», полный охотничьих принадлежностей, чучел для приманки, каталогов оружия и собачьих ошейников, напоминал мне подобные же предметы, виденные, но не осмысленные в детстве. Толя с гордостью рассказывал, что отец скоро возьмет его на охоту. Старого белого сеттера «Милорку» натаскивали и морили голодом перед охотой, так что он крал со стола, что ни попало. Однажды послышались крики кухарки Ирины:

«Милорка, Милорка с кувшином убежал». Он полез, оказывается, на стол, сунул морду в кувшин со сливками, чего-то испугался, да так с кувшином и бегал, пока не разбил его о стену.

Мы вернулись в Гатчину поздно по Балтийской дороге, я спала в темном, жестком вагоне, едва освещенном свечой.

Вскоре мы переехали в Царское Село, в соседний с Корольковыми дом. Это была одна из офицерских казарм 1-го ж[елезно] д[орожного] полка[85]. Отчим получил роту, а позже – комендантство над Царским павильоном, вокзалом министров и царей[86]. Деревянный одноэтажный дом из двух квартир, желтый, с красной крышей.

Детскую оклеили обоями с картинками, изображавшими играющих детей, несовершенство которых меня очень огорчало. Мне подарили школьную парту и повесили небольшое зеркало в виде подковы с вырезанными под стеклом ландышами. В этом зеркале впервые помню свое лицо – очень худощавой, чернобровой и румяной девчонки.

Мама тоже устраивалась по-новому. В гостиной, проходной комнате, где не было углов, она создала искусственный угол, поставив «балаган» – раму, обтянутую плюшем, вроде плоской ширмы. «Балаган» увесили портретами, поставили к нему кушетку, обитую нежно-зеленой шерстяной материей, несколько кресел, и комната приняла вполне уютный вид. Появились новые индусские занавески, новый бобрик на полу, японские карликовые деревца. В столовой – павловский буфет[87], новые красного дерева стулья, обитые синим бархатом, и целая полка полтавских глиняных кувшинов. Один был особенно хорош: он изображал зеленого змея, кусающего свой хвост, предназначался, очевидно, для водки. Эти кувшины мы привезли в 1909 г. из кратковременной поездки в «Маралосю», как я говорила.

В Полтаве жила мамина тетка, помещица Забаринская[88]. Розовое варенье, «Гапки», прыгающие босиком в окна по первому зову, тенистый сад, полный ирисов, все, что осталось об этом доме. «Будьте ласковы, позовите

извозчика», – фраза, слышанная в кустарном магазине, полном плахт и макитр[89], и ставшая у нас обиходной. Было лето, когда мы переехали в Царское Село; меня хотели отдать в школу и немедленно начали готовить.

Анна Викторовна с детьми жила в Выборге на даче вместе со своими родителями и сестрами. Она взяла меня с собой, в то время как мама и отчим поехали в имение[90]. Прекрасный дом, где мы жили на Симонкату[91], был окружен большим благоустроенным садом с «гигантскими шагами»[92], качелями и беседками и платформой у воды для солнечных ванн, купанья и сушки лодок. Самый дом имел множество комнат и венчался башенкой, в которой меня поселили. Оттуда был виден весь город и море. В то лето с нами гостил брат Анны Викторовны Жорж[93], обожавший своих племянников и придумывавший тысячи игр для них.

В беседке был проведен телефон, сад поделили на владения, каждый имел свою «охоту», свой «замок», своих собак. В качестве последних шли также и молодые, недавно родившиеся таксы. Мушка, мамаша, бегала от одного своего «имения» в другое и собирала своих детей. Эта игра так всем понравилась, что и осенью, по возвращении в Царское Село, мы продолжали ее вокруг своих домов.

Учение в жару, конечно, шло плохо. Я плакала над катехизисом[94], и эти слезы положили начало моему теперешнему неверию. Зато как хорошо было купаться в маленькой бухточке с песчаным дном, какими вкусными казались бутерброды с сыром и земляника с грядок, прямо после купания. У меня сохранилась фотография: мы четверо в одних трусиках на садовой скамейке на этой купальной площадке.

Однажды приехал «Ремняшкин», купался с нами, старался научить нас плавать. Я оказалась самой храброй: полезла с ним в глубокую воду и, когда он меня отпустил, забарахталась и пошла ко дну. Напилась соленой воды, набрала в нос, уши, глаза – очень растерялась. Я поняла, что плавать не так просто, как кажется.

Всем семейством с бабушкой и дедушкой отправились в Mon Repos[95]. Потом на поплавке ели сесту. Мне навсегда понравился кофе глясе через соломинку. Было сол-

нечно, от воды по полотняному пологу бегали зайчики. Из Выборга привезла много практичных покупок: вязаное синее платье, туфли с выпуклым полосатым рисунком.

Меня привезла Анна Викторовна – все оставались еще на даче, меня же отправили в Андреевку. Летом там было восхитительно: полный фруктов сад, полная лягушек речка, полный кузенов дом. У них была постоянная игра в «Наполеона», кузен Федя был действительно похож на Наполеона. Мы разделились на два лагеря и воевали, кто как мог.

На большой развесистой груше у нас был склад оружия, конечно, луки, стрелы, деревянные сабли и колода с пчельника, изображавшая пушку. Война была с утра до вечера с перерывами на обед и ужин и прекращалась только потому, что младших укладывали спать. В случаях победы над Наполеоном, когда он возвращался домой с расшибленным носом, мы неизменно пели: «Бонапарте в недопляске растерял свои подвязки».

В жаркие дни чай пили в саду, столовый круглый стол-сороконожка выносился на площадку перед террасой среди клумб петуний и табака. В саду в зарослях вишен была устроена полотняная купальня: чтобы не ходить по десяти раз к речке, можно было обливаться холодной водой, надев кольцо с дырочками на шею. В резервуар постоянно подливали воду, и перед чаем там был хвост желающих облиться.

Перед вечером, когда становилось прохладнее, для нас выводили лошадей – для маленьких смирную «Маргушку», для больших – вороного «Арапа». Жил при имении объездчиком неведомого рода Иразди Хан. Ходил он всегда в белой черкеске, в белой папахе, в красной рубашке и с кинжалом. Он нас учил ездить верхом, терпеливо и умно, с ласковой улыбкой на красной страшной и усатой физиономии. Вообще он был грозой деревенских мальчишек, лазивших в сад воровать яблоки. С ним я ездила на мельницу, где его приятель мельник от безделия разводил свиней. Я с ужасом смотрела на громадную свинью, неподвижно лежавшую в луже. Про нее мельник рассказывал, что она сожрала своих поросят.

Иразе Хан знал средство от укуса тарантула[96], он ловил живых тарантулов и сажал их в спирт. В случае укуса лечил этой настойкой. В земской избе, где он спал, была целая полка с этими препаратами.

Дядя Федор был мировым судьей, и в его камеру с решетчатыми окнами стекались тяжебщики из соседних деревень. То, что там происходило и что говорилось, было мне совершенно непонятно.

Во время уборки хлеба мы веселились особенно. В риге, где молотили, соломы было навалено выше стропил. От собственной тяжести солома немного оседала, под стропилами образовывались коридоры, по которым мы лазали, как кроты, друг другу навстречу. Наткнувшись лбом на столб, надо было его окопать и ползти дальше под прямым углом. Вылезали мы как трубочисты, шли на речку отмываться, с исколотыми лицами, локтями и коленками, но с твердым намерением продолжать завтра.

В старых деревьях около дома в дуплах гнездилось много сов. Они таскали птенцов, тушканчиков и страшно выли в сумерках. Я их ненавидела. Однажды утром я заметила сову, сидевшую на высоком сучке большой липы. Она ничего не видела, мелкие птички без страха летали вокруг нее. Я побежала за ружьем. Сова не двигалась. Я стала шуметь, чтобы ее спугнуть, она повертела головой, но не улетела. Тогда я взяла ее на мушку и очень спокойно выстрелила дробью. Сова упала в кусты, прибежали ребята, стали ее искать, она была еще жива и смотрела желтыми, прозрачными глазами. Когда ее взяли в руки, она стала биться. На груди и на крыле у нее были красные пятнышки. Скоро она затихла, глаза закрылись серой пленкой. Мне было очень стыдно, но все меня хвалили, особенно кузен Саша («Алексан-дур», как звала его сестра к чаю). Только мама сделала вид, что сердится, и не разговаривала со мной два дня.

Мы уехали, как и приехали, ночью. Полное звезд небо, сад, пахнущий последними цветами, ящики фруктов, увозимых нами с собой, проводы на тройке, поезд, огненным чудовищем вынырнувший из темноты, долгая ночь

между поездами на станции Ртищево[97]. Потом школа[98], уроки арифметики, лепка, ручной труд и рассказы с волшебным фонарем[99]. В маленькой солнечной зале мы маршировали в бумажных шляпах с плюмажами под руководством Ольги Дмитриевны Форш[100] и пели: «Malbroughs'en va-t-en guerie» и «Sur le pont d'Avignon»[101]. В школу ходили трое: я, Толя и Таня. Водил нас кто-нибудь из денщиков, либо наш Поликарп, либо их Стась.

В школу приходилось идти почти через весь город мимо казарм казачьих и сводного полка[102]. С детьми конвойцев, живших семьями, мы постоянно дрались. Они выпускали на нас бодатых баранов и сами не пропускали нас без того, чтобы не задрать. На пути из школы денщики бывали нагружены корзинками с провизией. Большой круглый серый хлеб не помещался в корзинке. Его приходилось нести прямо подмышкой.

В одно из таких возвращений состоялось наше знакомство с государем. Он шел по дороге с двумя старшими княжнами[103]. Мы остановились на краю дороги, чтобы поклониться. Николай спросил: «Чьи это дети?» Денщик, зажав хлеб подмышкой и не выпуская корзинки, стал во фронт и отвечал громовым голосом: «Штабс-капитана Королькова, Ваше Императорское Величество!» Я обиделась на такое обобщение и заявила, что я – девочка капитана Львова. Государь посмеялся и при последующих встречах узнавал: «А, девочка капитана Львова!», – и спрашивал о школьных успехах, о здоровье мамы. Девочки тоже обращались ко мне очаровательными, воркующими голосами.

Годом позже я перешла в другую, менее людную, но более аристократическую школу[104]. Там были дети офицеров стрелкового полка, маленькие бароны Таубе, Истомины[105], два молоденьких немца и всего четыре учительницы. Две начальницы – Тизенгольд и Голохвастова, обе преподавали, одна – Закон Божий и физику, другая – арифметику, русский, историю и немецкий[106].

Была учительница рисования, с которой я отчаянно воевала: она заставляла меня целые страницы покрывать одним цветом, чтобы получалось ровно, а мне хотелось, как

другим, рисовать с натуры. Лепку и тут преподавала Ольга Дмитриевна Форш. Ее сын Дима[107], кудрявый и смуглый, тоже учился с нами.

Позже поступил и Толя, но он не понравился начальницам за свою манеру держать голову опущенной. «Подними голову, Толя, видно у тебя совесть нечиста». Он смущался, краснел и опускал голову еще ниже.

В этом году было много разъездов. Весною за границу, летом под Москву, под осень в Финляндию. От этой массы передвижения в голове сохранился какой-то сумбур. Всплывают только отдельные картинки, как, например, таможенный досмотр на границе, дачные подмосковные виды и водяной смерч, виденный мною в Финляндии. Под Москвой я очутилась потому, что мама и отчим поехали в Ливадию[108] подавать прошение на высочайшее имя за моего отца, застрелившего в Риге из ревности своего друга и сидевшего в крепости[109]. Обо всем этом я узнала уже позже, а тогда могла только догадываться по разговорам, что с моим отцом случилось что-то нехорошее.

Мы ездили в Гатчину к его матери[110], взрослые о чем-то, запершись, горячо спорили, я была предоставлена самой себе. Я бегала на кухню ласкать разжиревшего на цепи папиного охотничьего пса «Пана», старалась услышать, о чем говорят большие, и была рада, когда собрались уезжать. Все были заплаканы, я ничего не понимала, а спрашивала только, жив ли папа.

В Москве я жила у маминых друзей, доктора Воздвиженского и его толстой розовой жены[111]. Их сын Юрочка был очень бледным, болезненным ребенком. Он принимал фитин и гематоген[112]. Нас вместе с какой-то нянькой отправили на дачу в «Царский зверинец»[113]. Я каждый день писала маме жалобные письма и уговаривала меня поскорее взять домой. К счастью, так и случилось. Пожив несколько дней в Царском, я отправилась с «Ремняшкиным» в автомобиле к «Ламповым»[114] на дачу.

Зима 1913 года была последней, проведенной под одной крышей с Корольчатами. Мы еще ходили к Тизенгольд, но Анна Викторовна и «Ремняшкин» собирались

разойтись, и для нее готовили квартиру в родительском доме на Кадетской линии, угол Тучкова[115].

В нашей школе готовился спектакль к новому году. Пьеса Аллегри[116] «Новый год» – маленькая штучка в стихах и с танцами. Для нас шились прелестные костюмы – все дети в школе были заняты; было двенадцать месяцев, Новый год, Старый год, Минутки. Одну из Минуток изображала я. Не помню своей роли – она была очень короткая и малоответственная. После торжественного спектакля в школе у нас было много выездных гастролей. Все родители наперебой устраивали праздники.

«Фоль-журнэ» у Истоминых[117] превзошел все. Сначала было катание на тройках, потом шоколад, потом спектакль, потом обед и, наконец, бал с котильоном. Было много лицеистов и правоведов[118], был прекрасный оркестр. Мы танцевали до упаду. Меня, сонную и капризную, увезли домой часов в 11. Мама, смеясь, рассказала, как я не хотела танцевать с каким-то серьезным юношей в белых перчатках, а хотела непременно с Колей Малаевым, нашим «Новым годом», так замечательно плясавшим качучу[119].

После Рождества уехали Корольчата, мне было грустно, недоставало их шумного общества. Толя мне сказал перед отъездом, что любит меня больше папы и мамы. Я знала, что это действительно так. С тех пор мы стали видеться очень редко, иногда я гостила у них по нескольку дней в Петербурге, а они же в Царском – никогда. В дедушкином доме у них было много места для беготни и игр. На их половине, отделенной от парадных комнат лестницей, жили две незамужние тетки[120], бывшие для них одновременно подругами и гувернантками. Я тоже их очень любила. Они принимали участие во всех наших затеях и были всецело на нашей стороне против старших.

Второй брат Анны Викторовны, Витя[121], биржевой маклер, поражал меня необыкновенной элегантностью, молчаливостью и скучающим видом. Его золотые бритвы, черепаховые гребни, хрустальные флаконы напоминали туалетные принадлежности Евгения Онегина в изображении художницы Самокиш-Судковской[122].

Среди обитателей этого дома была сестра бабушки Ютти[123] – тетка белая. Это была розовая старушка с совершенно седыми волосами. В доме своей сестры, имевшей шестерых детей[124], она всю жизнь занимала место ключницы и старшей горничной. Перед отъездами куда-нибудь в ее обязанности входило укладывать огромные сундуки, заботиться о выборе дачи, вести расходные книги. Белая тетка знала все: кулинарные рецепты, способы выведения разных пятен, домашние лечебные средства и многие житейские примеры. Она не имела личной жизни, кроме жизни своих родственников и, видимо, никогда не предполагала возможности таковой.

К тому времени мама сблизилась с M-me Пушкиной[125], женой сенатора, жившей отдельно от него со своими тремя детьми. Они жили тоже в Царском Селе, довольно далеко от нас. Понемногу у мамаш возникла идея поселиться вместе, тем более что нам с повышением чина отчима все равно пришлось бы переехать в другую квартиру. Начали с того, что поручили меня им на лето. Мама с отчимом поехали в имение, а меня с Пушкиными отпустили под Москву, на дачу в Химки.

Никогда до того я не жила в такой неблагоустроенной даче. За деревянной обшивкой жили клопы в устрашающем количестве. Первые дни пребывания в Химках прошли как в кошмаре – в непрерывной с ними войне. Приходилось ставить ножки кровати в баночки с керосином, но и это не помогало, клопы падали с потолка. Следующим несчастьем была кухарка Авдотья: у нее вечно болел живот от обжорства. Приходилось не только самим готовить, но и нянчиться с ней. M-me Пушкина мужественно брала поваренную книгу, и все начинали стряпать. Fräulein Маргарита, Грета, гувернантка Пушкинят[126], работала как прислуга, безропотно вынося детские приставания. Она умудрялась одновременно штопать чулки и читать нам вслух. Мы бессовестно эксплуатировали ее в этом отношении.

Химки были дрянным дачным местом: с полуразвалившимися купальнями на узенькой речке, березовой рощей и банальными дачами[127]. Но нас там застала война.

Меня удивил взрыв патриотических чувств, проявленных Вавулей Пушкиной при известии об этом. Мы отправились в Москву и принимали деятельное участие в кружечном сборе на улицах и трамваях, продавая трехцветные бумажные флажки и розетки. В конце августа мы вернулись в Царское и поселились с Пушкиными в одной квартире в старинном деревянном фисташковом доме на Московском шоссе[128]. Пушкинята учились в школе для мальчиков и девочек M-me Левицкой. Я же держала экзамен в первый класс Мариинской гимназии[129].

В нашем дворе[130] жил преподаватель математики и секретарь Бегового общества А.Ф. Смольевский[131] – очень изящный и интересный молодой человек[132]. Он преподавал у Левицкой в классах Вавули и Ксаны. Моя мать начала работать в Дворцовом лазарете[133], мой отчим принимал деятельное участие в постройке Федоровского городка[134], а в особенности Царского павильона с золоченой крышей, также в ожидании отъезда на фронт занимался хозяйством в том же лазарете. Вереница лиц, виденных мною там, осталась навсегда в моей памяти. Большинства уже нет в живых, а те, кого я еще встречаю, так изменились, что потеряли в моих глазах всякий интерес.

Моя мать работала в качестве старшей хирургической сестры[135]. Я ежедневно приходила навещать ее, а также раненых, производивших болезненное впечатление на мое детское воображение. В офицерском отделении у нас скоро завелись друзья. У мамы – те, кого она выхаживала, у меня – те, кого я меньше жалела.

Ежедневно после гимназии я шла в лазарет, путалась у взрослых под ногами, делала вид, что помогаю сиделкам разносить обед, иногда читала вслух, но больше – просто носилась из палаты в палату, была чем-то вроде ручной обезьянки.

Был там один офицер, немолодой и некрасивый, который рассказывал мне о своих детях и всегда радовался моему приходу. Ранен он был не очень тяжело, семья его жила где-то в провинции, он собирался скоро переехать в город перед отправкой на фронт. И этот ничем не замеча-

тельный человек поразил мое воображение настолько, что я вообразила себя влюбленной и думала о нем все время в самой поэтической форме.

Лазаретные эпизоды, разговоры, слухи, тексты газет – все накладывало нездоровый отпечаток на мои мысли. К концу ноября я дошла до того, что перестала ходить в гимназию, а вместо этого отправлялась в парк и бродила до изнеможения по мокрым дорожкам. К этому времени мой герой снял комнату на бульваре и бывал в лазарете только раз в несколько дней. Я узнала его адрес. Много дней я носилась с мыслью навестить его, потому что мне действительно недоставало его общества. Однажды, неожиданно для самой себя, я очутилась перед его домом. Я хотела повернуть назад, но было уже поздно: он увидел меня из окна и шел открывать мне дверь. Я вошла, ни слова не говоря, и смущенно села на кончике стула. Он старался меня расшевелить, но я упорно молчала. «Ну, вот, через неделю на фронт, довольно отдыхать, маленькая стрекоза». Я опустила нос еще ниже и стала тихонько плакать. Он меня утешал и не спрашивал причину моих слез, а только поднял меня на руки и гладил по волосам. Я сказала: «Как это ужасно, что Вас не будет, я так Вас люблю». Он отстранил меня от себя и смотрел удивленно и серьезно. В меня вселился какой-то бес. Я все повторяла: «Да, да, люблю, Вы думаете, что я маленькая, но я не хочу, чтобы Вы меня забывали». Он действительно серьезно отнесся к моим словам. Он почтил меня своим полным вниманием. Я ушла от него с таким ужасом и отвращением к жизни, какого никогда после не переживала. Я ни слова не сказала никому, моя мать, утомленная бессонными ночами, ничего не заметила. Мой герой уехал. Я с ним не попрощалась. Через две недели он был убит на Западном фронте. Мне было 11 лет.

Долгое время я не ходила в лазарет, почти не видала матери, дети Пушкины жили в школе и приходили домой только по субботам. Я была очень этому рада. В январе 1915 г. я заболела ревматизмом, никого не было около меня, кроме терпеливой Греты, исполнявшей все мои капризы и старавшейся меня утешить. У меня болели все

суставы так, что я не могла шевелиться, даже держать книгу. Приезжали лейб-медик Боткин[136] и старший врач лазарета, княжна Гедройц[137]. Но они мало помогли мне. Я не спала ночами и иногда теряла сознание от боли. Когда я поправилась и стала выходить в лазарет, там часто бывали царь и Распутин[138]. В то время там лежала А.А. Вырубова[139], попавшая в крушение поезда. У нее были сломаны обе ноги и ключица. Она лежала, окруженная всяческим вниманием со стороны царей, и капризничала без меры. Например, она не позволяла Александре Федоровне[140] при ней сидеть. Когда та, усталая, присаживалась на кончик табурета, Вырубова кричала: «Не смей садиться, не смей при мне сидеть». Ее всегда окружали посетители – скучать ей не приходилось.

Распутин вваливался в грязных сапогах и ни за что не хотел надевать халата. Моя мать бесстрашно с ним воевала, рискуя вызвать гнев императрицы. Великие княжны тоже ежедневно бывали на перевязках, работали наравне с сестрами. Это две старшие[141]. Младшие[142] же оставались девчонками, хохотали и говорили глупости, играли с ранеными в шашки и в военно-морскую игру[143]. Мария, желая удивить, складывала собственное ухо вчетверо, и оно так и оставалось. Она с любопытством смотрела на производимое ею впечатление.

Моя мать в гололедицу подвернула ногу, разорвала связки в подъеме. Ее привезли с распухшей синей ногой, уложили надолго в постель. Опять приезжали Боткин и Гедройц, присланные Александрой Федоровной, иногда появлялись старшие княжны. Они приезжали без предупреждения, влетали, щебетали и сидели недолго, ели конфеты из английского магазина, совали всем под нос платки: «Не правда ли, хорошо пахнет – это ландыш Остроумова[144]. Мама кланялась, поправляйтесь скорее, все без вас скучают». – И улетали так же быстро, как появлялись, в своих красных шубках, в высоких санках.

Часто в гостях у нас был штаб-ротмистр Крымского Е[го] В[еличества] полка, Георгий Владимирович барон

Кусов[145]. Это был двадцативосьмилетний молодой человек, очень высокий и худощавый. Он был ранен и контужен и принадлежал к числу маминых питомцев в лазарете. Разрывная пуля в бедре, гангрена, долгая борьба со смертью. Один из первых дней выздоровления – поездка в Петербург – крушение поезда[146] – перелом ключицы и ребер, рана раскрылась и опять долгое лежание в неподвижности. Моя мать, по-видимому, посвятила ему много времени и внимания, потому что в его лице приобрела преданнейшего друга. Мой отчим, вообще вздорный и ревнивый, тоже отнесся к нему очень благожелательно. Георгий Владимирович переживал большую драму: его жена Вера Иллиодоровна Горленко увлекалась Распутиным, бывала в его кружке и, что главное, не хотела иметь детей.

А мы с Пушкинятами с ранней весны увлекались велосипедами. Нас было четверо, велосипедов было два. Ко мне ходила француженка, кроме того, у нас была общая англичанка Miss Laborde. Она одевалась с ужасным безвкусием, но была молодой, общительна, подвижна. С нею мы поочередно совершали большие прогулки на велосипедах по паркам. Моя француженка также не отказывалась от поездок в Павловск. Там делали остановку на ферме[147] и закусывали с большим аппетитом на открытом воздухе. Там можно было получить свежее молоко, сливки, творог, сметану, простоквашу, варенец, всевозможные омлеты.

Ферма находилась среди парка и была излюбленным местом для завтраков у дачников. А.Ф. Смольевский стал, наконец, видим и доступен. Ровно в десять утра он отправлялся на поезд, около трех возвращался, проводил три-четыре часа на теннисной площадке, восхищая своим белым костюмом и мальчишеской подвижностью. Потом он переодевался и уезжал опять в город развлекаться. Когда он возвращался, я не знаю – в девять часов меня укладывали спать. В этом вопросе, и только в этом, со мною были строги. Во всем остальном, как-то: в выборе книг, отлучках из дома – мне предоставлялась полная свобода.

Я уже перечитала всего Толстого, Тургенева, Гончарова; Чехов до сих пор остался моим любимым автором.

Однажды мы были приглашены к «Арсеньке», как называли его ученики школы Левицкой, на специально для нас устроенный шоколад. Мы явились к нему ряжеными, нацепив на себя платья наших мамаш. Мы надели корсеты и подсунули подушки вместо бюстов. Наступая на подол, путаясь в юбках, мы с хохотом ворвались в его маленькую квартирку, напугав его хозяйку, старую немку, Fräulein Лундберг[148]. Мы перерыли у него все ящики, съели весь найденный шоколад, взяли с него обещание, что он будет привозить еще (обещание, добросовестно им выполненное), и, перевернув все вверх дном, убежали так же быстро, как появились. На лестнице я потеряла корсет через ноги, и это обстоятельство сыграло впоследствии большую роль в моей жизни. «Арсенька»[149] мне казался идеалом и вдохновлял меня писать стихи.

Когда потянулись вечерние тени
и золото меркнет последних лучей, –
с зеленых качелей, свидетель сражений,
ракет златострунных и белых мячей,
с замедленной живостью резких движений
из нашего сада, где столько сирени, –
слежу, как он вышел, весь в белом Арсений.
Зачем-то весь в белом, надуманно весел
(веселости этой не хочется верить)
с зеленых глядит, раскачнувшихся, кресел,
как в теннис играют Израиля дщери.
Пусть Юра взберется ему на колени –
его ли обрадует детская ласка.
Я вижу, что вечер прозрачно весенний –
печалей его нарастающих – маска.
Похож на Орфея в пустыне молчащей
(мячи разбежались, скорее кончайте!)
Волос красноватый отлив на закате,
Мальчишески тонкая шея.
Смотри, как рассеянна холодность взгляда
От лишних вопросов Вавули ограда,
и ясно, что с ним говорить мне не надо[150].

Конечно, я тщательно скрывала свой интерес к его особе и не ждала уже, чтобы ко мне относились как к взрослой. Но и Арсений не казался мне способным на грубость. Я с любопытством и ревностью наблюдала его шуточные ухаживания за взрослыми барышнями. Серьезно он ни за кем не ухаживал, потому что был в то время влюблен в некрасивую и немолодую учительницу музыки, любовницу его приятеля. Я догадывалась и об этом и с сочувствием и интересом наблюдала изменения в его настроениях в зависимости от ее поведения. Я знала, что она вместе с его приятелем смеется над ним, а он этого не замечает. Впоследствии я узнала из его дневников, как начался этот неудачный роман, единственный в его жизни роман.

Между тем мой отчим уехал на фронт, получив командование бронепоездом в Карпатах, моя мать собиралась переезжать в Петроград, а меня и девочек Пушкиных готовили к поступлению в институт[151]. Мне очень жаль было уезжать из Царского, казалось, что с этим отъездом кончается мое детство. Фактически оно кончилось уже давно, но мне казалось, что я могу еще быть как все дети – играть, ни о чем не помнить. Около этого времени появился снова мой отец, амнистированный, получивший право поступить в полк, обновленный, но сильно постаревший, с проседью в волосах.

Одновременно с нашим переездом мне было объявлено о том, что я буду жить в институте. Я была огорчена и испугана, мне совсем не хотелось отрываться от матери, которую я и так редко видела.

Перед экзаменами меня всячески ублажали, устраивали мою новую комнату, катали в автомобиле, водили в театры, но все это не заставляло меня забыть о предстоящем одиночестве.

На деле все оказалось не так страшно. Еще в вестибюле института я столкнулась лицом к лицу с Олей Ухтомской, девочкой, с которой я училась в Царской приготовительной школе. Она поступала в тот же класс, что и я, и на первых порах помогла справиться с тоской по дому.

Потом ее сменили более интересные девочки, ставшие моими подругами. Вавуля и Ксана учились в старших классах, и я видела их только издали в столовой или в зале. Иногда на приеме мы сидели вместе.

Институтский день

За четыре месяца до Рождества я ни разу не была дома. Благодаря размеренному образу жизни, простому столу, достаточному движению, я очень поздоровела. Нас поднимали в восемь часов, полчаса были на мытье и одевание, потом молитва и утренний чай. Молитва в большой зале для всего института сразу, на ней присутствовали обе инспектрисы, а иногда и начальница. Из дортуара в зал и из зала в столовую и вообще всюду, даже в баню, шли парами. Молитва была длинная, читали ее по очереди вслух, и было большим позором не знать ее наизусть.

Утренний завтрак состоял из кружки чая, французской булки, кусочка масла и кусочка сыру или немного рубленой солонины[152]. Кроме того, мы могли брать к завтраку свое масло, хранившееся тут же в специальных шкафах, куда допускались только дежурные, также яйца и печенье. Никаких колбасных изделий и сыров приносить не разрешалось из чрезмерной заботливости о нашем здоровье.

После чая все расходились по классам и начинались уроки. Чаще всего первым уроком был Закон Божий. Батюшка, полуседой любопытный старичок, очень снисходительно ставил отметки. У меня, несмотря на то, что я уроков никогда не учила, по Закону Божьему было круглое 12[153]. Если боялись отвечать, ставили на подоконник какую-нибудь игрушку, батюшка заинтересовывался, и за его расспросами проходило некоторое время. Во время урока полагалось держать на столе книги, относящиеся только к данному предмету, но мы умудрялись во время уроков даже читать[154], сбивать масло, делать маникюр и вышивать, каждая по своей склонности. Единственный

раз я попалась в чтении: на уроке арифметики, которую терпеть не могла, у меня отняли книгу Метерлинка. Хорошо еще, что это, потому что могла им попасться и «Афродита» Пьера Луи, или «Chansons de Bilitis»[155]. После уроков был завтрак из двух блюд, потом прогулка. Прогулка по институтскому саду парами, старшие по одному кругу, младшие по другому. Осенью и зимой по всем дорожкам были проложены деревянные мостки.

Мы надевали суконные в талью жакетки с воротниками из «фо-барашка», шапочки пирожком и резиновые ботики с ушками. Иногда полагалась муфта на шнурке. Многие уклонялись от прогулки под разными предлогами, для того, чтобы не топтаться на пятачке, прибегали к разным хитростям. Иногда я тоже поддавалась искушению почитать или порисовать в свободное время. Большинство из негуляющих собирались в зале, где можно было бегать, играть на рояле[156], прогуливаться или читать или вышивать. Здесь собиралась младшая половина института. Это был летучий клуб – беспокойный, любящий посплетничать и придумать сообща большую шалость.

После большой перемены были опять уроки до обеда. На обед нам давали три блюда, причем следили, чтобы все всё ели, после обеда можно было есть свои фрукты и конфеты. Потом был свободный час в классе или в зале, после которого до самого сна нужно было готовить уроки. Классные дамы, немецкие и французские[157], дежурили через день, весь класс делился на два лагеря – приверженцев той или другой. Я предпочитала немецкую из многих соображений. Во-первых, она была молода, умна, изящна, во-вторых, относилась к нам очень сердечно, помогала готовить уроки и разбираться во многих вопросах, и, наконец, она была единственным человеком в институте, связывавшим нас с действительностью: она читала нам газеты и рассказывала случаи из жизни, не слишком тенденциозные, но поучительные. С ней можно было говорить о чем угодно – казалось, она все понимала и все знала. У нее было забавное прозвище – «Фикса», потому что в первые дни своего появления она часто говорила: Fix, fix, Kinder[158]!

Французская «классидра» была ей полной противоположностью: ограниченная, трусливая, занятая личными делами, рассеянная и неряшливая. Первое время, когда меня, как новенькую, «изводили» (дразнили, приставали), я часто плакала по вечерам в постели. «Фикса» подходила ко мне, утешала и советовала грубоватым тоном: «Брось, Ваксель, не стоит». Я соглашалась, что действительно, не стоит, и успокаивалась. Иногда при ночнике, когда не могла долго заснуть, следила, как отваливаются одна за другой ленты-косоплетки, разглаженные мокрыми за горячей голландской печкой.

В другие вечера, когда мне хотелось спать, это часто не удавалось, потому что девочки устраивали импровизированные ужины, брали тайком от вечернего чая с собой все, что можно: булки с выщипанной серединой, замененной вареньем, печенье, конфеты, фрукты – одним словом, все, что удавалось захватить. Есть никому не хотелось, но потому, что так трудно было пронести все это, все ели и хвастались. В карманах не полагалось носить ничего, кроме носового платка, но, конечно, это правило не соблюдалось. В кармане институтки можно было найти множество характернейших вещей: обязательно зеркальце, хотя бы вершок длиной, потом пилку для ногтей, ножницы, обрывки вчерашней «шпаргалки» (fúkelappa)[159], кусочек завалявшегося шоколада и так далее в том же духе.

Если за ужином «классюха» замечала, что девочки прячут по карманам – производился поголовный обыск. Кто успевал выбросить или спрятать свои сокровища, тот оставался безнаказанным, остальные, попавшиеся с поличным, оставлялись без приема, что было самым жестоким наказанием. Знать, что к тебе пришла мама или братья и что их не пускают, было ужасно. Со мной такая история произошла только один раз после того, как во время вечерней молитвы из моего кармана выкатилась булка с вареньем. Присутствовавшая инспектриса накричала на меня, а заодно и на весь класс, не преминув упомянуть об отцах на фронте. Это было подло с ее стороны, потому что у них, девочек, были отцы на фронте, а у некоторых они там погибли. При этих ее словах

в классе начинался почти поголовный рев, сказав еще несколько слов уже в примирительном тоне, инспектриса удалялась, довольная произведенным эффектом. Мы ее ненавидели и боялись: «Осторожно, Елешка идет», – шепот, предшествовавший ее появлению[160].

Прием родных бывал два раза в неделю – в воскресенье днем и в четверг вечером. Воскресное утро казалось особенно длинным: занятий не было, зато была церковная служба, обязательная для всех. Она казалась еще длиннее оттого, что стоять надо было совершенно неподвижно, в абсолютном молчании и своевременно [вставать] на колени. Иногда, если наш класс ставили на хорах, бывало легче, потому что оттуда были видны спины всех остальных, находившихся внизу. Каждый раз несколько девочек падало в обморок, были такие упорные, что им разрешалось садиться у стенки или выходить из церкви.

Воскресный обед был всегда один и тот же: бульон с пирожками, котлеты с пюре и безе или меренги[161]. Все очень спешили, потому что видели через открытую дверь столовой, как по лестнице появляются родственники и служители проносят корзины с конфетами, которые полагалось оставлять внизу с надписью класса и фамилией девочки.

После обеда все шли в класс, и оттуда вызывали тех, к кому пришли, запыхавшиеся от беготни по коридорам дежурные.

В приемные дни дежурили в зале девочки, никого не ожидавшие к себе на прием. В двух концах зала сидели за столом инспектрисы, окруженные сидящими на длинных скамьях дежурными, к ней подходят родственники, называют фамилию, класс и степень своего родства. Молодых людей, приходивших на прием, допрашивали очень тщательно, но все они прикидывались родственниками, пленяли инспектрису хорошими манерами и проходили. Таким образом, у меня перебывали Арсений Федорович[162], узнавший о моем пребывании в институте от своей приятельницы – учительницы музыки, поэт Мандельштам[163], Георгий Владимирович Кусов и мои друзья детства – Аркадий Петерс, молодой офицер, и Юра Пушкин.

Мама очень аккуратно бывала на каждом приеме, такая хорошенькая в своем черном костюме, с горячими и нервными руками, которыми она прижимала меня к себе. Я прятала нос в ее мех, рылась в ее муфте и не могла достаточно наговориться с ней и налюбоваться ею.

Для приема были расставлены на некотором расстоянии белые скамейки и стулья; по окончании приема, когда все уходили, все было сдвинуто и представляло собой полный хаос. Однажды неожиданно пришли на прием папа и тетя Патя. Появление отца было для меня настолько неожиданным, что я закричала на весь зал и заплакала от радости. Он приехал на несколько дней с фронта за лошадьми для своего полка[164].

Среди моих одноклассниц было три-четыре девочки, с которыми я охотно проводила свободное время. Это, во-первых, Лили, очень хорошенькая, нервная, любившая стихи девочка, поклонница новых поэтов и поэтесс, мать которой, сама поэтесса, приносила ей на прием книжечки стихов, которые мы потом с восторгом заучивали наизусть. Затем моя соседка по парте, толстая, кудрявая и смешливая Леля Масловская[165], и две сестры Шенк. Они были близнецами и до того похожи друг на друга, что все их путали. Обе они меня обожали и наперебой старались это доказать. Остальные двадцать шесть девочек были мне безразличны.

На рождественские каникулы были сплошные праздники, начиная с примерки «собственного платья» и поездки домой в нашей маленькой двухместной каретке и кончая последним обедом дома, на котором присутствовал отчим, приехавший с фронта. Меня возили в театры, в гости, в концерты, несколько дней я провела с Корольчатами, к ним же приехали Пушкинята, и мы все вместе буйно веселились, перепугав своим поведением бабушку Лампе. Но праздники прошли так скоро, что я и не заметила, как пора уже было собираться обратно в институт. Единственное, что было приятно в этой перспективе, – возможность увидеть Лили, поделиться с нею впечатлениями от прочитанных книг, виденных людей и пьес. Еще некоторое

удовольствие было в полученных мною акварельных красках, о которых я давно мечтала для выполнения задуманных мною иллюстраций к «1001 ночи». Официальная часть этих рисунков попала в школьный музей, а неофициальная, на мой взгляд, более интересная, разошлась по моим приятельницам[166].

Учиться мне было слишком легко, так что я уроков никогда не учила. Французские диктовки я принципиально скатывала с книги, поэтому и не научилась до сих пор писать правильно по-французски. По-немецки в диктовках я ошибок не делала и успевала еще подсказывать другим. Единственным неприятным предметом была арифметика. Самыми развлекательными считались уроки гимнастики, бывавшие почти ежедневно, естественной истории в физическом кабинете и уроки танцев, бывавшие только раз в неделю и казавшиеся событием, к которому готовились. Гладили ленточки, чистили ногти, обычно в чернилах, тщательно причесывались и туже шнуровались.

Гимнастика была «прямая» и «кривая». Каждый месяц бывал осмотр хирургом, определявшим состояние наших спин. Следствием этого осмотра было разделение всего класса на «прямых» и «кривых». «Прямые» занимались в большом зале нормальной «шведской» гимнастикой, «кривые» таинственно уходили в новое здание, где, по их рассказам, их растягивали на лестницах, раскладывали на скамейках, заставляли делать какие-то однобокие упражнения. Как я ни старалась, мне никогда не удалось стать «кривой». Единственно, чего я добилась, – это лежание по десять минут на жесткой скамейке.

Физический кабинет, в котором производились опыты, был очень мал. В нем жили рыбки в аквариумах, тритоны и аксолоты[167]. Когда производились опыты, особенно с сероводородом, дышать было положительно нечем. Урок приходилось кончать раньше, несмотря на неудовольствие некоторых девочек, кокетничавших с учителем, страшным уродом по фамилии Птицын[168].

Уроки танцев, сразу для двух параллельных классов, происходили в большой зале под музыку тапера, в присут-

ствии инспектрисы, зорко следившей за нашим поведением. Пол-урока мы учились делать реверанс: под звуки полонеза мы плавно приседали до полу, расправив обеими руками свои широкие платья. На настоящие танцы оставалось мало времени, и любительницы их сердились на неуклюжих, задерживавших всех остальных. Учитель[169], во фраке и лакированных туфлях, жадно присматривался к цветнику хорошеньких лиц. Он пытался ухаживать за нашей классной дамой, но та весьма холодно от этого уклонилась, чем привела нас в восторг.

Весной 1916 г. я снова заболела ревматизмом, чем была очень довольна, потому что меня взяли домой и в конце апреля увезли в Крым.

Меня провожали отец и мой крестный[170]. Ехали вчетвером, мама, Георгий Владимирович Кусов, художница Варвара Матвеевна Баруздина[171] и я. Варвара Матвеевна, «Матвеич», как мы ее называли, учила меня немного рисованию в Царском Селе, где мы были соседями[172].

Она познакомилась с мамой в Теософическом обществе[173], и у них, таких разных, нашлось много общего. Она была маленькой горбатой старушкой, но художницей во всем. Ее учитель и дядя, академик Чистяков[174], передал ей те же приемы и традиции, что и своим многочисленным и прославленным ученикам, как Репин, Врубель, Серов, Савинский[175] и другие. Несмотря на разницу возрастов, я тоже с ней дружила, мне нравились ее идеалистические рассуждения, ее рассказы об Италии и о дяде Павле Петровиче.

Мы приехали в Феодосию в первых числах мая, задержались там пару дней, пока нашли подходящую дачу в Коктебеле[176]. Куда и переехали на парной линейке[177] со всеми сундуками и чемоданами. Первые дни было пасмурно, купаться нельзя было, все показалось мне неярким и неинтересным. Горы там действительно были невысоки – там лишь начинается Крымский хребет. В сторону Феодосии – покрытые ковылем плоскогорья, к югу – скалистый Сюрю-Кая – Гора-пила, покрытая дубовым лесом, Святая гора и базальтовый Карадаг – нагромождение обломков, столбы лавы с обветрившимися кратерами.

Потом, исходив эти горы вдоль и поперек, я полюбила их, но на первый взгляд место показалось мне мрачным и неуютным, хотя в садах было достаточно зелени.

Пляж местами был очень хорош, с тонкими песком и с гладким дном. Прибой выбрасывал множество камней причудливой формы и разнообразной окраски. Сначала я собирала только белые камушки и усыпала ими целую дорожку перед нашим балконом. Потом стала разбираться лучше, и к концу лета у меня была маленькая коллекция сердоликов и халцедонов.

Мы жили в доме поэта и художника Максимилиана Волошина[178]. Это был совсем особенный дом[179]. Он был населен почти исключительно петроградской и московской богемой. Было несколько поэтов, порядочно актеров, пара музыкантов[180]. В доме командовала мать Макса[181], энергичная, стриженая старуха с орлиным носом, властным голосом, ходившая в шароварах и курившая трубку. Сам Волошин, бородатый и кудрявый, походил на Зевса-Громовержца, боялся своей матери и на ее громкий зов: «Ма-акс», – отвечал тоненьким голосом: «Я сейчас, мамочка!», – и бежал вверх по лестнице. Он носил длинные хитоны и танцевал танец бабочки на крыше своего дома. У него была удобная двухэтажная мастерская с большой библиотекой и балконом. Рано утром можно было видеть, как Макс в одном купальном халате шел купаться[182].

Позже появлялись арбы с фруктами и овощами, к ним сбегались хозяйки, быстро раскупали черешни, недозрелые персики и зеленые огурцы. Приходили молочницы с желтым, пахнущим степными травами молоком.

Георгий Владимирович вставал, бежал окунуться в воду и принимался за хозяйство. Он зажигал спиртовку, варил кофе, жарил яичницу и накрывал на стол на балконе, завешенном татарскими тканями.

Дом был в 30 шагах от моря, и я, услышав запах кофе, вскакивала с постели, бежала купаться, растиралась мокрым песком и шла в дом раскрасневшаяся и довольная.

Выпив наскоро чего-нибудь, я набирала полную охапку черешен, шла на пляж до обеда. Проводила голышом

часов пять-шесть, бесконечное число раз забиралась в воду, потом обваливалась в песке, лежала, пока он не высыхал и не обсыпался. После дождя с гор и холмов текли ручьи, и к морю намывало слой глины. Из этой глины, пока она была влажной, хорошо было лепить. Я лепила фавнов и нимф, а по вечерам в темноте влюбленные парочки, бродившие по берегу, принимали их за людей и уходили.

Обед нам приносили от Марии Павловны, толстой кухмистерши. Но мы не были довольны, и Георгий Владимирович дополнял наш стол своими произведениями.

Среди дачников Коктебеля были в тот год муж и жена Кедровы[183], профессора консерватории по классу пения, и их трое детей[184], с которыми я очень подружилась. Николай Николаевич Кедров организовал хоровое пение. На даче Павловых[185], где они жили, собиралась молодежь со всего Коктебеля и разучивала хором русские старинные песни, напр[имер] «Утенушка», «Аннушка-душечка», «Ай, да на горе лужок» и т. д. Спевки шли так успешно, что решено было дать спектакль собственными силами[186].

Среди коктебельцев было довольно много настоящих актеров, напр[имер] Олечка Бакланова[187], ныне звезда Голливуда, тогда маленькая артистка Московской студии; M-me Арцыбашева, артистка Незлобинского театра в Москве, жена писателя[188]; виолончелист Борисяк, певица Кернер, танцовщица Бибер и Кожухова[189], несколько пластичек и т. д. Но всех усерднее был Николай Николаевич Кедров, мастер на все руки, неутомимый и веселый. Его дочь Ирина, ныне блистательно разъезжающая по Европе в «Ballets russes» и самостоятельно, была тогда рыжей, веснущатой девчонкой, с тоненькой косичкой и полным отсутствием талии.

С появлением Ирины жизнь моя в Коктебеле приобрела особый интерес. Ирина своей восторженностью и живостью заразила меня. И с тех пор мы стали неразлучны. Я целые дни торчала на даче Павловых, ходила домой только обедать, ужинать и спать, но и то с большой неохотой. Случалось, что, попрощавшись на ночь с мамой, я делала вид, что ложусь спать, а сама, пользуясь тем, что моя комната имела отдельный выход, удирала обратно.

К концу лета в доме Павлова появилась для меня новая притягательная сила. Дело в том, что Ирина с самого приезда была влюблена в младшего Павлова – Лелю. Ей было 12 лет, а ему 16. Я, конечно, не забывала Арсения Федоровича, но увлечение Ирины из-за нашего постоянного сообщения передалось и мне. Сначала я только выслушивала ее признания и хвалебные гимны, стараясь себе представить, что должна чувствовать Ирина, но потом однажды обнаружила, что Леля Павлов мне нравится тоже.

Мы никогда не разговаривали – нам не о чем было говорить, но мы прекрасно знали, что единственное, что удерживает Лелю от общения с нами – наш юный возраст. Зато его брат Жак, на 3 года его старше, был нашим поверенным в этих делах – мы его не смущались, были вполне откровенны, и он платил нам тем же. У них была старая парусная лодка, называвшаяся «Ардавда»[190], на которой тайком от взрослых мы делали небольшие прогулки по морю. Во время этих прогулок, главным образом, по вечерам, без огней, и происходили наши душевные беседы. Не видя лиц друг друга, легко было говорить о чем угодно.

Вся коктебельская бухта была погружена во мрак (в то время боялись немецких дредноутов, и был приказ по всему побережью гасить огни с заходом солнца), блестело только море фосфорическим блеском. Несколько раз собирались большими компаниями, предпринимали прогулки в горы мимо соседнего монастыря[191]. Человек 20, иногда и больше, под предводительством папы Кедрова, отправлялись рано утром, частью пешком, частью в арбе, запряженной волами, которая при желании могла вместить всех участников. Волы шли так медленно, что молодежь убегала вперед, отклонялась в сторону, выискивала козьи тропинки, потом, устав бегать, садилась у дороги под кустом кизиля, болтали, ощипывая ягоды.

Обедали в монастыре или в чайной, потом осматривали монастырское хозяйство: сад, сушильни фруктов, пчельник, давильню, винные погреба, где все начинали «пробовать» и, напробавшись, засыпали под ближайшим деревом. Возвращались при луне с песнями, набрав полную

арбу свежих фруктов и поужинав в гостеприимной трапезной монастыря, оставив там немало денег.

Какими скучными казались мне прогулки в обществе мамаши и Кусова, на линейке, запряженной парой кляч, до ближайшего перевала. Эти прогулки были очень кратковременны, благоустроенны и чинны, а потому никак меня не занимали. Значительно лучше стало, когда родители познакомились ближе и начали предпринимать лодочные экскурсии в соседние бухты.

Одну поездку в парусной лодке Кафара – единственного рыбака и лодочника в Коктебеле – можно считать классической в ряду прочих. Мы захватили с собой крупы, котелок, яиц, огурцов и помидоров, а также изрядный запас пресной воды и фруктов. Кафар был опытным моряком, он быстро доставил нас по назначению и все похваливал ветер за то, что он дует «попутне».

После бесконечного купания и валяния на чудесном песке, совершенно безлюдной Двуякорной бухты, мы, проголодавшись, начали варить обед. Что я говорю: варить – для того, чтобы его приготовить пришлось сначала сложить печку из камней, обмазанных глиной, разложить в ней огонь, приладить к ней котелок, который несколько раз переворачивался, прежде чем закипеть, и заливал огонь к всеобщему ужасу. Но, наконец, каша, пахнущая дымом, сварена, яичница с помидорами и пеплом готова, котелок стоит на камнях, и все тянутся в него ложками.

«Мы – Робинзоны» – можно читать на всех лицах, начиная от почтенного профессора консерватории и блестящего гвардейского ротмистра, закатавшего штаны до колен, и кончая шестилетней Лиленькой Кедровой, бегающей голышом и нисколько этим не стесняющейся. Мы с Ириной тоже не сильно одеты: она в желто-черном купальном костюме[192], я – в трусиках и сетке. Самой одетой была, конечно, моя мамаша, лежавшая целый день под зонтиком и изнемогавшая от жары, глядевшая на все вполглаза.

В одной из таких поездок принял участие Макс Волошин. Он шутливо отнесся к нашей затее побывать в Сердоликовой бухте, под отвесными скалами Карадага, бухте,

где действительно было много сердоликов. Ему, объехавшему и исходившему почти весь мир, было смешно наше серьезное отношение к этому предприятию, но все же он шутил, рассказывал историю этих мест и не отказался разделить с нами наш лагерный обед. Вообще мамаша его, видимо, плохо кормила, потому что он никогда не отказывался от угощения и одобрял стряпню Георгия Владимировича.

Бедный толстый Макс, трепетавший перед Пра, всегда был голоден. Мать его стали называть «Прой» после одного забавного случая, в котором ей пришлось играть роль прапрабабушки многочисленного сборного семейства[193].

Дело в том, что в Париже за одной из приятельниц Макса стал ухаживать француз, возымевший намерение на ней жениться. Чтобы отвязаться от него, она ему сказала, что она замужем и имеет детей и внуков. Он не поверил и приехал в Коктебель проверить это. Для него была инсценирована грандиозная выдумка, заключавшаяся в том, что все случайные обитатели дачи Волошина превратились в одну патриархальную семью с «Прой» во главе. Пять поколений жили в полнейшем мире и подчинении, являя образец матриархального семейства. Вечером, на крыше дома, перед изумленным гостем дедушка Макс исполнял танец бабочки. Француз думал, что он попал в сумасшедший дом, но все были с ним так любезны и так хорошо знали свои роли, что он не выдержал и скоро уехал.

Иногда в мастерской Макса устраивались вечера поэзии, в которых принимали участие все проживавшие в Коктебеле поэты разных направлений. Слушателями были избранные ценители искусств. Единственное кафе на берегу моря, принадлежавшее греку Синапли[194], называлось «Бубны»[195] и находилось под правительством коктебельских художников и поэтов. Его ставни и стены были расписаны Максом и Алексеем Толстым[196]. На песчаной площадке перед «Бубнами» стояло несколько кривых столиков, сидя за которыми можно было получить бузу, чебуреки, шашлыки, иногда мороженое. Пойти в «Бубны» значило кутить, иногда по вечерам, лежа в постели, я слы-

шала, как возвращалась из «Бубен» с песнями павловская компания. Мне было жаль, что меня считают еще маленькой, что я не могу со всеми гулять в лунные ночи в обнимку с парнем и девушкой.

Так незаметно прошло лето, в конце августа надо было уезжать, Георгий Владимирович – в полк, мне – в институт. Как назло, последние дни было такое яркое солнце, поспел виноград, вода была теплая, и предстояли интересные прогулки. С Ириной я еще могла встретиться, но остальные жили то в Москве, то в Харькове, мы обменялись адресами и обещали переписываться.

Последний вечер я удрала из постели и торчала на террасе Павлова до тех пор, пока за мной не пришли взволнованные мама и Кусов. Пришлось идти домой и с позором ложиться спать. Рано утром мы уехали из Коктебеля, все еще спали, когда наша линейка проезжала мимо дач. Мы увезли с собой несколько плетенок с виноградом, коллекцию камушков и большой запас сил и здоровья. Я всю дорогу ревела от огорчения и писала массу стихов и обещала сама себе туда вернуться на следующее лето[197].

Первые дни по возвращении, я очень грустила, не находила себе места, но, встретившись с институтскими приятельницами, начала втягиваться в общую жизнь, только письма из Харькова – хорошенькие открытки с репродукциями известных художников и кратким, но милым текстом заставляли иногда вспыхивать воспоминания. Открытки были от Лели Павлова, а я отвечала всему семейству сразу, начиная свое письмо: «Милые Катя, Нюра, Жак, Леля» и т. д. Немного погодя, стала появляться на приемах Ирина, а на Рождество было условлено несколько совместных посещений театров. Дети Кедровы были все знатоками оперы, Ирина пела целые арии, а Колюн играл на рояле руками и ногами оркестровые места.

Газеты, читаемые «Фиксой», становились все тревожнее, так что ей приходилось делать цензурные пропуски. Но мы были хорошо осведомлены обо всем, что делалось в городе, через наших «полосаток» – горничных при дортуаре[198]. Эти бывшие воспитанницы сиротских

приютов снабжали нас самыми свежими новостями, причесывая нас на ночь или заплетая волосы утром.

На приемах тоже многое узнавалось, хотя эти сведения были значительно дальше от действительности. В классе происходил живейший обмен новостями, и все новости строго разделялись на правдоподобные и неправдоподобные. До Рождества преимущественно говорилось о всевозможных похождениях Распутина, например, с ужасом передавалась версия о том, что он живет не только с императрицей, но и с великими княжнами, с каникул все привезли известие о том, что он убит[199], горячо обсуждались обстоятельства его смерти, и герои этого дела нашли в лице многих своих искренних поклонниц.

Рождество прошло довольно вяло, Ирину я встречала редко, зато в Рождественский Сочельник, когда мы с мамой сидели у зажженной елки и грызли миндаль с изюмом, появился старший Павлов, Коля, учившийся в университете.

Время от Рождества до февраля прошло очень быстро и тревожно. Моя мать не каждый раз бывала у меня на приеме, приносила мало сладостей, говоря, что трудно достать, да и другие девочки передавали, что масло стоит рубль фунт и не всегда бывает. Меня это мало огорчало, но то, что в институте стали хуже кормить, было уже серьезнее.

Классные дамы перестали читать нам газеты, единственным средством общения с внешним миром остались наши «полосатки», довольные чем-то и встревоженные. Дисциплина в классе стала падать. Мы уже не вскакивали, как раньше, при появлении инспектрисы, а либо оставались сидеть, либо нехотя поднимались, не глядя в ее сторону.

Последний февральский прием происходил внизу в приемной около квартиры начальницы. Дня за два перед этим нас перевели в классы и дортуары, выходившие окнами в сад. На Фонтанке стреляли, и много стекол было разбито. Уроки почти прекратились – учителя не умели добираться до института, и мы в праздности и тревоге сидели взаперти, кидались с расспросами к каждому вновь появлявшемуся лицу и ждали, ждали, вздрагивая от каждого выстрела.

Еще от «полосатых» мы узнали, что царя больше нет, а на приеме Лили издали сделала мне знак, приложив руку к виску, желая показать этим, что Николай II застрелился.

2 марта[200] нас распустили. За мной приехала мама в нашей черной каретке, у лошади был красный бант на хвосте, у кучера красная повязка на рукаве. Мы ехали по темным улицам, на всех домах были красные флаги, навстречу попадались ощетинившиеся вооруженными людьми автомобили. На Кирочной стреляли, на Шпалерной – тоже. Но я была чему-то рада, и вспоминался рыжеусый капитан Дядин[201], бивший в строю солдат по лицу. Дома показалось тесно и душно, хотелось пойти на улицу посмотреть, что там делается. Но рядом на Тверской догорал полицейский участок, а у нас на чердаке нашли околоточного с пулеметом и сбросили его с 6-го этажа.

Когда обсуждались списки для подачи голосов в Учредительное собрание[202], мой отец еще был в Петербурге. Он говорил: «Нечего мне здесь делать, соберу семью и “махиндрапис”»[203]. Он так и поступил. Мы уехали раньше него, и с тех пор я не видела своего отца[204].

На этот раз мы поехали в Крым с меньшими удобствами и в другом составе. Матвеича уже не было с нами, но ехало семейство Ниселовских[205], состоявшее из матери, отца, старшей дочери лет 30-ти и младшей лет 10-ти. Я поселилась в той же 6-ти угольной выбеленной комнате, с окнами на море, дверью с крылечком, выходившим в сад. Мы ни дня не задерживались в Феодосии. Закупив все, что можно, мы на перегруженной линейке двинулись за город. Я с наслаждением вдыхала воздух цветущей степи, соскакивала, чтобы набрать цветов, и нетерпеливо торопила возницу. На даче жили другие люди, но Коктебель был тот же. Теперь я не теряла времени, пользовалась солнцем и морем, далекими прогулками, не спрашивая ни у кого разрешения.

Мама оставалась недолго[206] и уехала в Петроград, оставив меня на попечении Ниселовских. Я не считала нужным подчиняться этим мало знакомым мне людям, единственное, что я считала необходимо – это вернуться с ними в Петроград. Я начала с того, что ушла в двухнедельную

прогулку по Крыму. Начали с Коктебеля, кончили Симферополем, вернувшись оттуда по железной дороге в Феодосию. Если не считать того, что нас чуть не съели пастушьи собаки и один из наших спутников заболел дизентерией, все обошлось прекрасно.

Мы ночевали на Ай-Петри, переходили вброд ручьи, заходили во все деревни, лежавшие на нашем пути. Одичавшие, с обгорелыми лицами, изодранными ногами и пустыми рюкзаками явились мы в Коктебель. Весь свой багаж мы растеряли по дороге, и пришли пешком ночью без копейки денег. Несколько дней мы отъедались и отлеживались, но потом приняли вполне нормальный вид, лишь приобретя некоторую независимость и почтительное отношение.

Без всякого предупреждения Ниселовские стали собираться к отъезду. Я не могла оставаться одна в Коктебеле, пришлось собираться и мне[207]. Последний вечер я провела, конечно, на уютной террасе Павловых, откуда все отправились меня провожать при лунном свете. Перед моим крылечком я обнялась со всеми по очереди, последним был Леля, я поколебалась секунду, но потом решительно шагнула к нему, обняла рукой за шею и поцеловала в щеку. Он тихо засмеялся от смущения, я же поспешила убежать в свою комнату. Но я была так взволнована и предстоящим отъездом, и этим оставшимся единственным поцелуем, что полночи сидела, не раздеваясь и не зажигая огня на своей узенькой постели.

Противные Ниселовские совершенно не считались с моим нежеланием так скоро уезжать из Коктебеля. Вместо того, чтобы сразу уехать, они еще два дня торчали, неизвестно зачем, в Феодосии и таскали меня всюду за собой. Жирная Валентина читала мне нотации скрипучим голосом и придиралась ко всяким пустякам.

В Петрограде было много перемен. Бегство одних, радость других, речи Ленина, передаваемые наизусть. Моя мамаша, прячущая акции в медные прутья ламбрекенов[208]. Смерть старого Кусова[209], встреча свинцового гроба на вокзале, похороны в склепе в Александро-Невской лавре.

Занятия в помещении института возобновились, но все, кто имел дом, стали приходящими. Появилось много девочек из других институтов, особенно из расформированного Смольного[210]. Мне приходилось вставать в семь часов утра, чтобы к 9-ти поспевать в класс. Это было скучно и трудно, потому что занятия шли нерегулярно, с перебоями, что отбивало всякую охоту заниматься. На уроках повторялось все давно известное, и я ходила в институт только ради мамы. Зато я работала в домовом комитете, в продуктовом подвале, а по ночам читала. Мать меня ловила на этом, отнимала лампу, но я все же продолжала, пряча лампу под одеялом.

Незадолго до Рождества я объявила, что не желаю больше учиться в Екатерининском институте, главным образом из-за трудности туда попадать.

Во время Октябрьского переворота занятия прекратились[211], и я несколько раз напрасно пешком добиралась по боковым улицам, только для того, чтобы встретить несколько испуганных девочек, приносивших панические слухи с других концов города. Бегство Керенского[212], казавшегося до тех пор театральным героем, принимавшего розы и поклонение, вызвало взрыв негодования среди обожавших его девчонок. Он перестал быть идолом, а взамен ему некого было поставить. Не этого же плешивого, страшного Ленина, говорившего такие ужасные вещи.

Мне удалось перейти в бывший Мариинский институт[213], находившийся недалеко от нашего дома, и, начиная с января 1918 г. до роспуска на лето, я там училась, вернее, делала вид, что училась, потому что у этих ископаемых, называвшихся учителями, учиться было нечему. Кроме того, класс состоял из стольких различных уровней знания, что всегда одна половина тормозила другую.

Недостаток школьных занятий я возмещала чтением. Действительно, только выслушивая в десятый раз историю Греции, я перестала удивляться, почему учитель истории никогда меня не вызывает, а всегда ставит высшую отметку (12) за почтенный вид. Весной стал вопрос о даче. За неимением лучшего, остановились на даче Кусова

в Павловске. Там были у него три дачи в псевдорусском стиле Александра III. Все их он предоставил Теософическому обществу, и дома были переполнены старушками всех мастей. Пушкинята были отправлены в Англию в теософический колледж и писали жалобные письма о том, как с ними плохо обращались на пароходе и как они скучают по матери.

В даче с нами жили Корольчата и семейство Лесман[214]. Хозяйством мы занимались сами, я ходила на рынок и готовила. Мама часто выезжала в город и отсутствовала по несколько дней. Я скучала, бродила по паркам, писала стихи.

Зимой я неожиданно встретила в трамвае Арсения Федоровича. Мы друг друга узнали, но не поздоровались. Когда я сошла у нашего дома, я видела, как он вышел на площадку и смотрел, куда я иду. Через несколько дней последовал телефонный звонок. А.Ф. говорил, что я так повзрослела, что меня трудно было узнать[215]. «Вижу, ходит барышня, в шляпке и котиковой шубке и не смотрит по сторонам. Неужели это Лютик, девчонка из Царского Села, устроительница футуристической выставки на крыше беседки, пожирательница моих конфет?» – «Да, да, это я, приходите, мама будет рада Вас видеть». Моя мама вовсе не была рада его видеть, но зато я – очень. Он носил полувоенный костюм, очень изящно сшитый, и защитного цвета бекешу[216] с красным каракулем.

Его появление в нашем доме было, несомненно, появлением «жениха». Хотя он был убежденным холостяком и человеком, считавшим себя неудачником в личной жизни, это не мешало ему бывать у нас с удовольствием, заниматься со мной математикой, водить меня в концерты и вообще проводить со мной довольно много времени. Я писала стихи, которых никому не показывала, и решила окончательно: он будет моим мужем[217].

Летом 1918 года мы начали испытывать первые трудности в продовольственном отношении, но все-таки у нас были деньги, и было только делом умения доставать все необходимое. Зато у бедных Корольчат дела были действи-

тельно плохи. Их отец пропал без вести на Кавказе, мать была совершенно беспомощна, они жили на то, что присылал дед, и этого им не хватало. Они буквально голодали, и часто милые теософы ловили их на краже еды[218]. Дедушка Лампе купил дачу в Териоках[219], и Мишу отправили к нему. С тех пор ни мать, ни сестра не видели его больше, а Толя видел только один раз, вызвав в Гельсингфорс, куда попал со своим пароходом.

Из Мариинской гимназии я перешла по протекции немки-теософки в другую школу, где она преподавала и которая оказалась лучше во многих отношениях. Там были более молодые и передовые учителя, преподававшие по новейшим системам, сбивавшим нас с толку, но приносившим некоторые развлечения.

Был прекрасный учитель русского языка, помогавший нам ставить спектакли; живая, подвижная учительница естественных наук, возившая нас в интересные экскурсии, например на заводы, на выставки или вверх по Неве до Шлиссельбурга. Я в пол-уха слушала на уроках, если вообще приходила в школу, заданного никогда не учила, да и не к чему было – состав был еще пестрее, чем в Мариинском, опаздывать на уроки на полчаса минимум я уже не считала преступлением; вначале мои опоздания записывали, потом собирались меня исключить, но махнули рукой, и я ходила, как и когда хотела.

Я действительно переросла своих сверстниц: во-первых, я занималась хозяйством, во-вторых, у меня был жених и, в-третьих, я начала служить. Мой день был действительно сложен и полон забот, более серьезных, чем учение. Я вставала в 6 утра, топила ванну, готовила на весь день на себя, мать и Кусова, переехавшего к нам, потом купалась и шла в школу, где размышляла преимущественно о том, что сегодня выменять на рынке и как приготовить, чтобы было мало-мальски съедобно.

После школьного завтрака, к которому я часто не прикасалась, если он состоял из селедки или воблы, поев одного хлеба, отправлялась на толкучку, где старалась выменять или купить что-нибудь на завтра. Не заходя домой,

я отправлялась на книжный склад, где служила помощницей заведующего. В мои обязанности входило не только продавать книги и давать объяснения покупателям, но и красить полки и прилавки, подметать пол, протирать стекла, топить печку и закрывать магазин, захватив с собой счетные книги. Я возвращалась пешком с Литейного и часто заставала у нас А.Ф., ожидавшего меня.

Я отказалась от своей комнаты и переселилась на кухню, потому что там было теплее. Вода не шла, мне приходилось носить ее со двора на 5-й этаж и таким же образом грязную воду вниз. Для меня было большим лишением не иметь возможности купаться каждый день, как я привыкла, а весной, когда поправили водопровод, у нас не было дров, чтобы топить ванну, и так мы пожгли много хорошей мебели, чтобы согреть нашу «буржуйку», на которой мы готовили и пекли, вокруг которой собирались, чтобы погреться[220].

А.Ф. сидел на диванчике в кухне и разговаривал своим скрипучим голосом, я в это время чистила овощи или кастрюли или колола на тонкую лучину ножки от столов красного дерева для нашей ненасытной «буржуйки». Потом мы занимались добросовестно, без лишних слов, потом отправлялись гулять, я провожала А.Ф. до Ивановской, он меня обратно до Таврической[221], потом я еще его немножко, потом он меня до дому. Расстояниями мы не стеснялись.

Летом 1919 г. я ездила на огород, где жил постоянно садовник, которому я помогала копать и полоть грядки, а под осень собирать жатву. Не один раз возвращалась я из Удельной пешком, таща на спине пуда по два овощей.

Под осень я решила поехать за мукой в Череповец. Взяла гвоздей, соли, каких-то тряпок, катушек, получила разрешение на проезд[222] и отправилась, сначала в «теплушке», где было человек 40 народу, потом, выйдя на станции и не попав обратно – между буферов, набросав на них еловых веток. Вместо нескольких часов ехала двое суток. Поезд ни с того ни с сего вдруг останавливался среди поля и стоял таким образом часами. Вначале все интересовались причиной остановки, потом перестали спрашивать.

Каждый занимался своим: кто спал, кто играл в карты, а кто ловил вшей. Было холодно по ночам, но я так хорошо устроилась на буферах, что мне не хотелось идти обратно в теплушку, где был ужасный воздух, прокуренный махоркой и пропахший сапогами.

Недалеко от Череповца, куда мы приехали ночью, мне удалось выменять мои сокровища на пуд муки, связку луку, кусок масла и немного печеного хлеба – мне на дорогу. Попасть обратно было уже не так просто, но к счастью мне попался один знакомый молодой человек из нашего дома, опытный в поездках подобного рода, не раз кормивший меня гоголь-моголем во время моих ночных дежурств у ворот за дворника.

На обратном пути всюду были заградительные отряды, поезд тащился так, что можно было идти рядом пешком. На каждой станции проверяли документы, а в Петрограде я чуть не застряла при выходе. У меня не оказалось какой-то нужной бумажки, и, если бы не мой спутник, заговоривший зубы коменданту станции, мне пришлось бы ночевать в караульном помещении вокзала вместе с несколькими десятками вшивых путешественников. Быть арестованной было бы очень неприятно, тем более что мамы не было в Петрограде – она в Москве хлопотала за Кусова, сидевшего в концентрационном лагере[223].

Деньги, оставленные мне на покупки, я тратила почти исключительно на кино, бывая в трех-четырех в один вечер – все равно, на эти деньги купить ничего нельзя было, кроме ржаных лепешек у грязных торговок.

Дни Кронштадта мы пережили очень беспокойно[224]. Непрерывная канонада, темнота в городе, патрули – все действовало подавляющим образом. «Матвеич» была в Царском, когда его заняли белые; в их даче были разбиты все стекла, и стоял полк. Под грохот канонады мы старались все же держаться бодро, и хотя нам нечего было есть, распевали «Цыпленок жареный» и отплясывали «тремутард».

Знакомые евреи боялись погрома, и мама раздавала им крестики[225]. От холода и недоедания я, наконец, свалилась. У меня сделалось сильнейшее воспаление легких,

мама тоже захворала, мы с ней лежали в одной комнате, за нами ухаживал Георгий Владимирович, недавно вышедший из тюрьмы. Я пролежала больше двух месяцев – когда встала, чтобы в первый раз принять ванну, испугалась собственной худобы. Всю весну мне не удавалось поправиться, я была слаба, как новорожденный теленок, но одной знакомой теософке пришло в голову пригласить меня в Тайцы[226], где она работала в лаборатории по спектральному анализу. Я переехала туда с небольшим количеством вещей, но с порядочным запасом хлеба, который возили из города. Я получила хорошую чистую комнату в доме бывшего владельца лаборатории, в которой раньше изготовлялся крысиный мор. Его дочка, на год старше меня, собиралась в Петроград поступать в университет. Мамаша ее ревновала меня к ее шестидесятилетнему мужу. Я, конечно, этого не замечала и узнала об этом только в конце лета. Как ни плох был наш стол, состоявший почти исключительно из овощей, грибов и козьего молока, мне удалось совершенно поправиться и загореть.

Я один раз на день ездила в Петроград и видела А. Ф. Остаток лета, уже оправившись настолько, чтобы ездить верхом на лошадях знакомых моей приятельницы «краскомов»[227], мы ездили в Петергоф и в Красное Село на полковые спектакли, в которых женские роли исполнялись красноармейцами. Однажды мы отправились пешком из Тайц в Гатчину. Я шагала так усердно, что перегнала всех. Обратно было идти труднее, мы вернулись только к вечеру.

К счастью, в доме было много книг, рояль и просторные комнаты, отделанные деревом. Все это мне нравилось, особенно книги, и, мне удалось без особой скуки протянуть до августа. Иногда я писала стихи, довольно много рисовала, но больше всего лежала на солнце в шезлонге с книгой.

Вернувшись в Ленинград, я решила поступать на вечерние курсы Института Живого Слова[228]. Там было несколько отделений, но так как меня интересовало не слово, а система Дельсарта[229], я поступила на ораторское отделение, как наименее обязывающее. Но все же обязательно для

всех были этика, эстетика, введение в философию, «политграмота», постановка голоса, анатомия, история искусств и многое другое.

В институте был кружок поэтов, в который я немедленно вступила, руководимый Гумилевым[230]. Он назывался «Лаборэмус»[231]. А вскоре в кружке произошел раскол, и другая половина стала называть себя «Метакса», мы их называли: «мы, таксы». В кружке происходили вечера «коллективного творчества», на которых все упражнялись в преодолении всевозможных тем, подборе рифм и развитии вкуса. Все это было очень мило, но сепаратные занятия с Н. Гумилевым, бывшим моим троюродным братом[232], нравились мне гораздо больше, особенно потому, что они происходили чаще всего в его квартире[233] африканского охотника, фантазера и библиографа[234].

Он жил один в нескольких комнатах, из которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посудой, к нему только один раз в неделю приходила старуха убирать.

Не переставая разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием это глотали. Гумилев имел большое влияние на мое творчество, он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты.

Они с А.Ф. терпеть не могли друг друга[235] и, когда встречались у нас, говорили друг другу колкости. Я не знала, как их примирить, потому что каждый из них был мне по-своему интересен. С началом занятий в школе жизнь моя пошла еще более интенсивно. Теперь после школы и службы я отправлялась в Институт Живого Слова, где проводила от семи до одиннадцати каждый вечер и возвращалась пешком с Александринской площади на Таврическую, потому что трамваев не было.

В конце сентября А.Ф. сделал мне предложение. Для этого он пригласил меня к себе и в очень осторожных выра-

жениях сообщил о своем намерении просить моей руки у моей матери, в марте 1921 года. Я не была ни поражена, ни довольна, меня смешила эта торжественность (при чем здесь моя мать, не на ней же он собирается жениться). Но кроме него я никого тогда не знала, мысль о нем как о возможном муже была настолько привычной – мир замыкался этим представлением[236]. Моя влюбленность была совершенно отвлеченного характера. У меня не было ни малейшего влечения, я только признавала его прекрасные качества, представление о которых он сумел мне внушить во время наших долгих бесед и прогулок. Я ничего ему не ответила, но у меня получилось ощущение, что для меня снова потеряна возможность быть самой собой, что то, что произойдет – неизбежно. Мне стало как-то безразлично, но я считала, что повернуть обратно уже поздно – образуется пустота, которую нечем будет заполнить. К моему счастью, я мало замечала окружающее, была занята перестройкой своего мира.

К маю 1921 г. все было решено окончательно. Дня за четыре до венчания в церкви я была у А.Ф. посмотреть ремонт. Наутро мы должны были пойти в ЗАГС, я осталась у него ночевать. Прежде чем разойтись по своим комнатам, мы долго разговаривали о нашем будущем; между прочим, А.Ф. заявил мне, что у нас не будет детей. Я ничего ему не возразила, потому что ничего не смыслила в этом деле, но в душе возмутилась страшно и решила про себя, что так не будет. Я очень кисло с ним попрощалась и ушла спать.

Мы венчались в Смольном соборе 29 мая (ст[арого] ст[иля]) 1921 г. Присутствовали только четыре шафера и моя мать. После этого пили чай у нас очень скромно. К моей свадьбе были заказаны кондитерские конфеты у полковника Далматова[237], которые он и сделал весьма похожие на настоящие. После этого мы пошли в концерт в Капеллу, где было много теософов, которые меня преглупо поздравляли и трясли нам руки. Мне было очень противно и неловко. После этого мы вернулись к нам, посидели часок на балконе в моей комнате и распрощались. А.Ф. ушел к себе, а я легла спать, как ни в чем не бывало.

Дня через три, когда окончился ремонт у А.Ф., я переехала к нему[238]. В первый вечер он заявил мне, что явится ко мне как «грозный муж». И действительно, явился. Я плакала от разочарования и отвращения и с ужасом думала: неужели то же самое происходит между всеми людьми. Я чувствовала себя такой одинокой в моей маленькой комнатке – А.Ф. благоразумно удалился.

Больше года он ждал этого дня, ведя аскетический образ жизни, а тут невеста недовольна, смотрит на него почти с ненавистью. Чтобы избежать повторения подобных сцен, я уехала в деревню, к его бывшей прислуге Елизавете, вышедшей замуж за крестьянина-вдовца. Там была прелестная местность, я грелась на солнце, купалась, пила молоко и читала, забравшись в лес. Два раза приезжал А.Ф., я там пробыла недели три и вернулась в город с успокоенными нервами, но в убийственном настроении.

Пару дней я слегка занималась хозяйством, потом весьма холодно навестила знакомого грека – художника, урода и отвратительного существа, и отдалась ему «для сравнения». Результат был тот же. Я ушла, не попрощавшись и не взглянув на свою жертву. Он долго потом искал встреч со мной, сторожил меня на улице, пугал, доводя почти до обморочного состояния, следил, когда уходил мой муж, и вламывался ко мне в квартиру. Мне с большим трудом удавалось его выпроводить, он внушал мне и жалость и отвращение. Ни за какие блага мира я не согласилась бы повторить то, что произошло. Но он не понимал это, то плакал, то угрожал, то молил и говорил, что убьет себя, и при этом так ругал моего мужа, что стыдно было слушать. Мне пришлось опять удрать в деревню, спасаясь от этого черномазого черта.

Благодаря этим приключениям я несколько благосклоннее стала относиться к А.Ф., несмотря на то, что он побрил голову и имел ужасный вид. Я старалась на него не смотреть и не приглашала в деревню, под тем предлогом, что ему там негде спать. Мысль о том, чтобы спать вместе, не могла у меня возникнуть. К моему мировоззрению прибавилась изрядная доля цинизма. За какой-нибудь месяц

произошло столько перемен, что раньше я не поверила бы, если бы мне это предсказали. Но внезапно я почувствовала себя настолько сильной и самостоятельной, что, когда вернулась и узнала, что мой грек повесился, сумела очень скоро об этом забыть и уверить себя в том, что он был сумасшедший.

Осенью я серьезно занялась переустройством квартиры А.Ф., выбросила много его старых реликвий, сжигала письма, фотографии, дневники, выбросила на чердак кровати, заменила их диванами, переставила всю мебель и успокоилась только тогда, когда квартира стала совершенно неузнаваемой.

У меня было много досуга, у матери я бывала не чаще двух раз в месяц, готовить было не из чего, и я, вылизав с утра квартиру, так, что не оставалось нигде ни пылинки, усаживалась за чтение. Самой тяжелой моей обязанностью было ношение «пайков»[239]. А.Ф. преподавал в четырех местах, и мне приходилось на себе приносить главные результаты этой работы. «Пайки» весили много, благодаря хлебу, мне было неловко тащиться через весь город с мешком на спине, но это было единственное, что мы имели, потому что деньги стремительно обесценивались, на месячное жалование можно было два раза проехать в трамвае.

Подошла зима, дров было мало, пришлось поселиться в одной комнате, заперев другие. И вот мы втроём, я, А.Ф. и его собака «Зорька»[240] + чугунная плитка – на десяти квадратных метрах. Но это мне нравилось. Я очень добросовестно убирала, готовила, стирала и мыла полы, считая, что всё это в порядке вещей. В Путейском институте[241], где А.Ф. читал математику и был одновременно помощником проректора, он затеял «переменить правительство» и вёл кампанию среди преподавателей и профессоров. Его никогда, почти, не было дома, а если он приходил немного раньше, то говорил только об институтских делах. Не зная почти никого, я имела точное представление обо всех с его рассказов. Это была мрачная галерея выродков или непризнанных гениев, столь же скучных, как и он сам[242].

По целым неделям я не видела ни одной живой души. Конечно, это не могло хорошо отозваться на моих настроениях. У меня не было особенной потребности встречаться с большим количеством людей, но совсем никого не видеть было уже просто ненормально.

Не чаще раза в месяц к нам приходил друг А.Ф. – Ганичка[243], очень симпатичный еврей-юрист с ужасной типично еврейской дегенеративной внешностью. Это был единственный еврей, которого А.Ф. выносил и даже любил. Ганичка бывал у нас с удовольствием, ему нравилась наша обстановка, наши отношения и моя стряпня. Может быть, ему нравилось ещё что-нибудь, но он никогда не говорил этого прямо. Если его спрашивали: «Ганичка, отчего Вы не женитесь?», – он отвечал, искоса глядя на меня: «На ком же я женюсь, если все хорошие девушки замуж повыходили?» Иногда нам удавалось уговорить его приходить чаще, и тогда он читал нам, переводя одновременно, Франса или Фарера[244]. Это были очень хорошие вечера, которые сближали нас и примиряли нас со многими своими и чужими ошибками. Благодаря Ганичке А.Ф. говорил иногда, что вероятно евреи тоже почти такие же люди, как мы, «но, – прибавлял он, – все-таки у каждого еврея есть хоть маленький кусочек парши»[245]. Я с ним никак не могла согласиться, но, по обыкновению, молчала.

Моя роль замужней дамы сводилась к тому, что я, шутя, вела хозяйство, ждала мужа иногда до позднего вечера, прочитывала несметное количество книг и томилась совершенно убийственной скукой[246]. Мой муж, несмотря на все уверения, был слишком занят, слишком уставал, чтобы уделять мне много внимания. Его любовь существовала где-то в пространстве, неизменная, как математическая формула, а мне приходилось довольствоваться его ночными посещениями, в которых он был довольно груб. Я не отрицаю, что такие отношения вполне устроили бы почти любую нормальную женщину. Но, несмотря на то, что в свои 37 лет он был абсолютно свеж физически, я оставалась совершенно равнодушной к этой части нашей жизни. Он об этом долго не догадывался, потому что я как была, так

и оставалась пассивной. Но всё же чувствовала себя обиженной природой – или людьми, – этого я не могла решить.

Конечно, моя служба и занятия в Институте отпали сами собой с моим замужеством, единственной полезной работой, которую я производила, была проверка студенческих работ по математике и механике. Несмотря на полное отсутствие способности, я всё же продолжала заниматься этими предметами, несмотря на своё отвращение к ним – только из желания доставить мужу удовольствие. Если он всем так преподавал, как мне – очень жалею его слушателей. Выведя до половины какое-нибудь трудное решение, он спохватывался, перечёркивал всё и начинал снова, говоря, что этот вариант гораздо ярче и показательнее.

Иногда это повторялось по нескольку раз – в результате внимание притуплялось, и я начинала клевать носом и поддакивать совершенно невпопад. Но у него было дьявольское терпение. Поспав часок после обеда, он садился за свои задачи. В час ночи гас свет, он зажигал крохотную керосиновую коптилку и занимался при ее свете до поздней ночи.

Преодоление трудностей доставляло ему удовольствие[247]. Сын сельского дьячка, семинарист из Подолии[248], он не захотел стать священником, а поехал в Петербург, где поступил в Университет, который и окончил, не посещая лекций, дойдя до всего своим умом, живя на 10 рублей в месяц. Он сам говорил, что к математике у него нет способностей, ему бы скорее подошли гуманитарные науки, но, начав одно, он не хотел бросать начатого и добился многого[249].

Иссушив свой ум, он редко добивался расположения людей, но зато, раз добившись, он их и держался. Его постоянство в привязанностях и вкусах приводило меня в отчаяние. В своем быту он многим напоминал старую деву, был мнителен до смешного, суеверен и расчётлив вместе с тем. Он воображал себя обаятельным человеком и прекрасным хозяином. Если к нам приходил кто-нибудь, он считал своим долгом что-нибудь подарить гостю, но совершенно не замечал, что его болтовня, беспрерывная и бессистемная страшно утомляет и нервирует[250].

В авиационной школе мотористов и механиков – одно из мест, где я выстаивала в очереди за пайком, – начальник был Н.П. Глубоковский[251], летавший с 1913 г., имевший 15 переломов. Я, конечно, ничего не замечала и ни о чем не думала, кроме того, чтобы скорее выбраться из затхлой кладовой, но он, оказывается, живо интересовался моей особой.

У нас была одна общая знакомая – моя одноклассница по институту, забегавшая ко мне часто, которую А.Ф. по моей просьбе устроил на службу в канцелярию своего института. Она была вологжанка, – Н.П.[252] тоже был вологодский помещик, бывший владелец 20 000 десятин прекрасного лесу. Я познакомилась с ним только в декабре на открытии Отделения воздушных путей сообщения при Институте и[нженеров] п[утей] с[ообщения]. Там был «вечер самодеятельности» с участием профессора Рынина[253], знаменитого аэронавта, и его жены, посредственной пианистки, игравшей к случаю: «По небу полуночи ангел летел». Потом была декламация студента-первокурсника, читавшего Тихонова[254], балетный номер чьей-то родственницы и т. д. В то время как я страдальчески морщиласъ, созерцая всю эту мешанину, А.Ф. подвёл ко мне худощавого темноглазого военного неопределённого возраста. У него была очень добрая и приятная улыбка и манера говорить так, чтобы никого не задеть. По-видимому, у них с А.Ф. были милые, приятельские отношения.

После концерта были танцы под рояль и он, Н.П., пригласил меня на вальс, – А.Ф. танцевать не умел. После первого тура мне показалось, что ему трудно так быстро кружиться, и я спросила: «Как Ваше сердце, не вредно ли это Вам?» Он сейчас же согласился, что это ему действительно вредно, но только не в том смысле, как я думала. Он мне тут же сообщил, что давно мною восхищается, что знает обо мне от моей приятельницы, и жаждет слышать мои стихи. Все это было сказано так мило и так серьёзно, что я не могла не поверить, и пообещала, если будет вдохновение, написать для него особо. Я не искала предлогов, чтобы повидать его лишний раз, но все же мы сталкивались

иногда в здании подведомственной ему школы. Я действительно посвятила ему коротенькое стихотворение и с удовольствием болтала с ним по несколько минут, смеясь его шуткам. В моей жизни было так мало смеха.

Между тем я узнала, что вернулись из Крыма дети Кедровы, проведшие там все эти тяжёлые годы. Я помчалась их навестить, увидела Ирину, совершенно взрослой барышней, с прелестной фигурой и абсолютно гармоничными движениями. Колюна, переросшего меня на полголовы, говорившего ломающимся голосом, с нежным пушком на щеках и верхней губе. И, наконец, Лилиньку, которую я помнила бегавшей голышом по всему Коктебелю, уже прекрасно играющую Моцарта, Бетховена, а в особенности Баха. Я никогда не слышала до сих пор такой осмысленной, живой и вместе с тем академически правильной игры. Все трое учились в Консерватории: Ирина – пению, Колюн – роялю и композиции, а Лилинька – роялю.

Папа и мама, растолстевшие ещё больше чем прежде, приняли меня очень радушно, но долго со мной не возились, потому что у них непрерывно шли уроки, одновременно в двух комнатах. Вообще это было сугубо музыкальное семейство. Жили они на Театральной площади, угол Екатерининского канала, дети по несколько раз в день бегали в Консерваторию и обратно, дом был полон певцов и певиц всех мастей, с которых София Николаевна брала иногда не деньгами, а, скажем, маслом, и очень сердилась, когда «опять эта жидовка насовала немножке бумажке в масло». В Филармонии в это время шел Скрябинский цикл, и дети Кедровы, сами, увлекаясь Скрябиным, увлекли и меня. Я просиживала с ними на хорах длинные концерты, но не всегда одинаково разделяла их восхищение оркестровкой. «Поэму Экстаза» я про себя называла «Утром на скотном дворе».

Тем не менее, когда у Тамары Глебовой[255] возобновилась ее «студия босоножек», я с увлечением разучивала ногами скрябинские прелюдии к ужасу моего супруга. Он был до такой степени недоволен тем, что я возобновила свои занятия танцами, что не пошёл даже на наш первый публич-

ный вечер, в котором блестяще участвовала Ирина, некоторое время до возвращения в Петроград, занимавшаяся в студии Чернетской[256] в Москве, делала большие успехи; но Глебова находила, что в ней слишком много от балета.

Ирина одновременно занималась еще в Институте ритма[257], и так уставала, что еле возвращалась с Сергиевской к театрам. Я тоже была рада немного больше утомляться физически, потому что к весне у меня появилась бессонница и новая забота – опасение за моего взбалмошного приятеля – Глубоковского.

Опасения мои сбылись. Н.П., которого я сначала видела часто, но которого избегала, сделал большую глупость. Моя приятельница сообщила мне, что он лежит в Военно-медицинской академии с простреленными лёгкими и пулей между рёбер. Была Страстная суббота, мы были приглашены к маме разговляться, и отправились к ней вечером. Я не выдержала и сказала А.Ф., что это я – причина поступка Глубоковского. Он немедленно презрительно отрёкся от своего приятеля. У мамы я сидела как на иголках, в церкви мне чуть не сделалось дурно, всю ночь я не могла заснуть, мне чудились всякие ужасы.

Утром мы собрались уходить, я рассталась с А.Ф. на углу Кирочной и Литейного, решительно заявив ему, что собираюсь навестить моего друга. А.Ф. сказал, что не советует мне это делать, что лучше всего оставить его в покое. Я не послушалась и все-таки пошла. Чем ближе я подходила, тем труднее мне становилось дышать. У меня подкашивались ноги и кружилась голова, так, что мне пришлось несколько раз остановиться на Литейном мосту, чтобы не потерять сознание. Наконец, я разыскала его палату в бесконечных коридорах Академии.

Мне навстречу вышла сестра милосердия и долго уговаривала меня уйти, потому, что ему так плохо, он еле дышит: между плеврой и лёгким образовалось громадное кровоизлияние. Я обещала не задерживаться дольше минуты и не волновать его и вошла. С совершенно прозрачным лицом и руками, с ввалившимися глазами он лежал обложенный подушками. Я подошла к нему как во сне,

протянула руку, не глядя в лицо. Мне было страшно ещё раз увидеть эту худобу, ставшие длинными зубы и эти глаза, смотревшие на меня без всякого упрёка. Он не мог говорить, он потянул меня к себе и шепнул: «Спасибо, Лютик, а, ведь хорошо, что сердце у меня правее, чем у всех людей. Вы придете еще?» – и закрыл глаза.

Я вышла тихонько, в сопровождении сестры милосердия, которая просила меня не тревожить его часто, а спрашивать у нее, если я интересуюсь его здоровьем. С тех пор в течение почти двух месяцев я ходила через день в Военно-мед[ицинскую] академию, очень редко, однако, заходя в палату. Он поправлялся медленно. Пулю вырезали, но кровоизлияния не рассасывались. Пришлось со шприцом вытягивать оттуда кровь. Это было очень мучительно и давало слабый эффект.

Наконец, мне сообщили, что на днях он может выйти. Я взяла с собой для храбрости Ирину, и мы отправились в Фурштатскую, где он жил. У него сидела его сестра милосердия, и я зашла только удостовериться, что он действительно уже может ходить. Он мне сообщил, что на днях уедет в Крым, что он бросает работу здесь и уезжает на Дальний Восток, где будет работать на постройке линии воздушного сообщения. Я обещала зайти к нему перед отъездом, и на этом мы расстались.

До его отъезда мы виделись не один раз, а, по меньшей мере, десять. Он должен был сдать школу, устроить все свои дела, прежде чем уехать в Крым. Но была еще причина, почему он медлил: наши встречи приняли совсем другой характер, мой интерес к этому потомку индийского Раджи удесятерился. Я уже без всякого стеснения заходила к нему во всякое время и проводила с ним часы в интереснейших разговорах. Наконец, удалось проводить его, почти насильно в Крым, и я смогла оглянуться на свою «деятельность».

Жизнь в одной квартире с А.Ф. стала мне очень тягостной, поэтому я переехала в Царское Село к Варваре Матвеевне. У них во дворе был крошечный домик, прямо избушка на курьих ножках[258]. Там были две комнаты, отде-

ланные сосной, печь, водопровод, балкон, все, что нужно, чтобы прожить, ни с кем не встречаясь, месяц-два. Я сама ходила на базар, сама готовила и убирала, но больше всего гуляла, забиралась с книгой в парк и пролёживала где-нибудь под деревом полдня.

Изредка приезжал А.Ф., привозил мне письма от Н.П., но никогда не интересовался их содержанием. Мы молча проделывали длиннейшие прогулки, потом я кормила его чем-нибудь, и он уезжал обратно в город. Наконец, вернулся на несколько дней Н.П. Я поехала его повидать и нашла, что он очень поправился и загорел. Единственное, что осталось как последствие ранения, было опустившееся плечо и ... невозможность больше летать.

Несколько дней его пребывания в Петрограде мы были почти неразлучны, потом он уехал и попросил меня подумать – не соберусь ли я приехать к нему в Читу или во Владивосток. Я опять проводила его и в тот же день вернулась в Царское, не повидав А.Ф. Но этот толстокожий ничего не замечал. Да и нечего, в сущности, было замечать, кроме того, что в лице Н.П. я нашла искреннейшего, преданнейшего друга. В Царском я прожила до глубокой осени, написала массу стихов, выгнал меня только холод. Вернувшись, я опять перевернула весь дом вверх дном, чем привела в ужас А.Ф., вернувшего себе за лето свои холостяцкие привычки.

На это время наши дела несколько улучшились, и мы смогли остаться на зиму во всех комнатах, ничего не меняя. Мне хотелось опять служить – эта жизнь канарейки в клетке стала мне совершенно невыносимой, А.Ф. и слышать не хотел. Мы ссорились, и я по целым неделям проводила у матери, пока А.Ф. не приходил за мной и после долгих разговоров, преимущественно между ним и моей матерью, уводил меня.

Я по-прежнему получала письма с Дальнего Востока, очень грустные и нежные, сама отвечала редко – о чем мне было писать этому человеку, который любил меня, несомненно, но идеализировал слишком. Однажды я получила телеграмму, которая сообщала, что он лежит с пере-

ломанной ногой совершенно один в госпитале, умоляет меня приехать. Я ужасно мучилась, но все же не сдвинулась с места. Разве я могла, разве я смела? Я ему отвечала: «Люблю и помню, приехать не могу». После этого наступило долгое молчание с его стороны.

Между тем А.Ф. чрезвычайно увлекался своими институтскими делами, ездил несколько раз в Москву в Наркомпрос[259], ко мне был очень нетерпелив и раздражителен, но я теперь очень легко переносила как его долгие проповеди, так и его молчание, длившееся иногда по нескольку дней. У меня было большое желание иметь, наконец, ребёнка, я знала, что мне очень трудно будет обмануть бдительность А.Ф. в этом вопросе, но я была упряма и не теряла надежды.

В конце 1922 г. мне пришлось совершить первое, длинное самостоятельное путешествие, мне подвернулась возможность поехать с группой эстрадников на Дальний Восток. Кроме надежды случайно, может быть, увидеть Н.П., у меня было ещё желание встряхнуться немного, повидать людей и места, где я еще не бывала. Я недолго размышляла, собрала маленький чемоданчик и уехала, ни с кем не попрощавшись: с А.Ф. я ссорилась накануне, он был уверен, что я у матери, а мать моя, которая очень редко у нас бывала, считала, что я дома, и не беспокоилась.

Компания наша состояла из молодёжи, такой же легкомысленной, как и я. Единственным солидным человеком был немолодой, глубокомысленный баритон, заменявший нам распорядителя и бывший действительно на высоте во всех трудностях нашей кочевой жизни. Мы были одними из первых, кто осмелился пуститься на этот дальний путь после ухода белых.

Наше путешествие до Читы продолжалось 10 дней. Там, усталые от дороги, немытые, голодные, мы дали три спектакля в один вечер. Как это было в действительности, один Бог знает. Мы были недовольны собой ужасно, но публика приняла нас, как редко принимают и знаменитости, мы набрались храбрости, чтобы ехать дальше, «пленять своим искусством свет». У меня было два номера: танец

Пьерро из «Арлекинады» и вальс Саца[260]. Когда мы садились в поезд, у меня дрожали колени от усталости, потому что каждую вещь пришлось повторить по шесть раз. Все это было очень мило, но заработок наш ушел почти целиком на уплату помещений, рекламы, света и пр.

Следующим местом был Хабаровск. Там мы ничего не платили за помещение, но ничего и не заработали. Ни в Чите, ни в Хабаровске Н.П. не оказалось. Я была очень разочарована, и мой пыл значительно охладел. Владивосток я помню, как во сне, мы пробыли там три дня, приобрели массу друзей и поклонников, но от этого радости было немного – нам еле удалось собрать на обратную дорогу.

Мы жили в лучшей гостинице, но днем питались исключительно пирожными, потому что находили, что это и сытно, и вкусно, и дешево стоит. После концерта нас кормили роскошным ужином и отвозили в гостиницу на лучших машинах в городе. А наутро начиналось опять то же самое: забота об отъезде и мысль, как бы подешевле прокормиться.

На прощание нам закатили роскошный ужин, было бы весело, если бы не мрачная мысль о том, как мы доберемся обратно. В самый разгар тостов, и когда все были очень жизнерадостно настроены, я сняла с себя кружевные штанишки, вылезла на стол и, размахивая ими как флагом, объявила, что открываю аукцион. Эта игра всем очень понравилась, моей выдумке пытались подражать, но неудачно, за свои штанишки я выручила столько, что смогла себе купить пыжиковую шубу.

Новый год мы встречали в поезде, с нашей шумной компанией соединился почти весь вагон, мы устроили импровизированный концерт, общий ужин и чаепитие из большого вагонного самовара, длившееся часов до четырех утра, вперемежку с хоровыми песнями, рассказами и просто болтовней.

В Петроград я прибыла в оттепель, А.Ф. не застала – он был в Москве, и отправилась к маме, где и оставалась до его возвращения. Он сам пришел за мной, очень веселый тем, что в Москве его обнадежили, и перенёс даже на меня

часть своего благорасположения. Он увёл меня домой и несколько дней так сиял, так безудержно болтал, что мне становилось не по себе.

В это время я исподволь, между занятиями, танцами, стала серьезнее относиться к своим, заброшенным было, начинаниям по кинематографии. Мы очень редко ходили в кино, но все, что я видела, старалась запоминать и позже, когда я записалась на заочные курсы сценаристов, все эти записи послужили мне материалом для примеров различных приёмов.

Я не была ничьей поклонницей, я не развешивала по стенам карточки Мэри Пикфорд[261] и прочих, но зато твердо знала, как достигается тот или иной эффект и как монтируется тот или иной трюк. Для меня не было уже радостью сидеть в кино. Я утратила непосредственность восприятия. Если я могла раньше так сочувствовать маленьким героиням, то теперь я знала, что их слезы – глицерин, а их бледность – голубая пудра. В своих исследованиях я была беспощадна. Я замечала все: как качается декорация с нарисованным месяцем, изображающая мексиканскую ночь, как неправдоподобно корчится злодей, попавший в зыбучий песок, или как герою не хочется целовать героиню в последней картине последней части. А индейские вожди, мавританские пираты, дико вращающие глазами!

Я очень горевала, что кино так несовершенно, но все же была уверена, что найдутся люди, которые превратят его в прекраснейшее искусство, когда любой зритель, даже самый искушенный, будет захвачен и увлечён этим совершенством, этой художественной правдой. Назло себе я ходила иногда на старые картины с участием Веры Холодной, Максимова, Полонского[262] и находила, что эти люди сослужат кинематографии большую службу тем, что покажут, как не надо играть. Но что считать хорошей игрой, я еще не знала.

Наша внешняя жизнь понемногу улучшалась, и хотя я все еще носила те платья и костюмы, которые получила от матери, наступила эра некоторого изобретательства[263]. Мы смогли привести в порядок наше хозяйство, держать

некоторые запасы, чего раньше никогда не было, но что было в характере А.Ф.

Мы даже могли позволить себе такую роскошь, как разрешить «Зорьке» иметь породистых щенков[264]. До сих пор она приносила потомство от разных пуделей, такс и фоксов, а теперь нашли ей породистого мужа добермана, и нам уже не пришлось спешно раздавать этот приплод всем желающим и потом встречать этих уродов, выросших где-нибудь на задворках и позоривших имя своей матери. Нет, теперь мы растили их тщательно до полуторамесячного возраста, покупая для них молоко, яйца, костяную муку, и продавали в хорошие руки по шесть червонцев за штуку. Жизнь, замершая на столько времени или принявшая неузнаваемые формы, начала проявляться всюду, расти, как растет трава после дождя.

Около Пасхи, которую мы торжественно и самостоятельно справляли, с куличами и вином, в моей жизни произошло потрясающе радостное событие. Я почувствовала, что, кажется, у меня будет ребенок. Я никому об этом не говорила, только пошла к врачу, но тот меня разочаровал, сказав, что вряд ли, а если есть, то ему не больше двух недель. Я была так уверена сама, что засмеялась ему в лицо и ушла, не попрощавшись и не поблагодарив.

Теперь я стала особенно заботиться о себе: старалась возможно больше гулять, почти не ела мяса, зато поглощала невероятное количество фруктов, обтиралась по расписанию холодной водой и вообще делала все, чтобы быть совершенно здоровой. Но я могла так и не усердствовать. Я чувствовала себя прекрасно – у меня не было никаких признаков, сопровождающих обычно это состояние, только когда ребенок начал кувыркаться, я решила, что пора сообщить об этом своим. Сначала я сказала матери, та была очень довольна – она давно советовала мне иметь ребенка, говоря, что это наполнит мою жизнь бóльшим содержанием.

В то утро, когда я сообщила об этом А.Ф., у меня должен был быть урок английского с нашей старой приятельницей M-lle Гуро[265]. Она застала меня в слезах и проводила меня к матери, т. к. А.Ф. заявил мне, что ребенок не его

и что он не желает меня видеть[266]. У матери я пробыла несколько дней, пока он не примирился с этой мыслью и не пришел извиняться. Он говорил, что это большое несчастье иметь ребенка в такое время и так далее в том же роде. Всё это я слышала десятки раз, но неизменно это производило на меня удручающее впечатление. На этот раз я пропустила всё мимо ушей, настолько я была переполнена своей радостью.

Я уехала в Детское Село, забрав с собой двух Зорькиных щенков[267], устроилась в том же домике, что и прошлого года, сговорилась с молочницей, ставила себе простоквашу и носилась по полям со своими щенками, ни о чем не думая. Я делала в день километров по десять и прекрасно себя чувствовала. Мне никого и ничего не было больше нужно. Это было совершенное счастье. Я беседовала со своим малышом, прислушиваясь к его движениям.

Я просила А.Ф. не приезжать ко мне, но все же он объявлялся иногда с озабоченным видом, надоедал мне своими расспросами, докладывал о своих достижениях – он тоже готовился к этому событию. Я видела, что он прилагал все усилия, чтобы перестроиться на более оптимистический лад, но мне уже была безразлична его точка зрения – я гнала его от себя, мне было лучше одной.

Я редко ездила в город, мне нечего было там делать, но однажды я получила снова с Дальнего Востока телеграмму с просьбой приехать. Я отвечала кратко: «Приехать не могу, жду сына». В противоположность А.Ф., Н.П. всегда мечтал о ребенке для меня. Получив это известие, он примчался меня повидать, и мы провели два чудесных дня вместе. Я действительно была бы совершенно довольна, если бы он действительно был бы отцом моего ребенка. В эти два дня я все так и чувствовала. Он был так внимателен и нежен, так бережно водил меня под руку, что мне смешно было вспомнить, как я накануне скакала через канавы с моими щенками. Но уехать с ним я все-таки отказалась. Сколько раз потом я жалела об этом.

В Детском Селе я постаралась пробыть возможно большее время, но все-таки пришлось переехать в город

и начать готовить приданое для моего первенца. Это были дни примирения с А.Ф., вечера посещений Ганички, когда он до хрипоты читал нам вслух, а я шила крошечные распашонки и чепчики и часто засыпала в кресле, набегавшись за целый день.

Наконец пришло время, когда надо было позаботиться о многом: найти прислугу, записаться в больницу и т. д. В день, когда родился мой сын[268], у меня была Варвара Матвеевна. Я только что бегом проделала вниз и вверх 5 этажей с моими щенками, как вдруг почувствовала какую-то неловкость. Я сидела на корточках перед книжным шкафом и сказала Матвеичу: «Кажется, пора собираться». Мы вышли с ней вместе, взяли извозчика и поехали на Надеждинскую[269], в больницу, оставив дома перепуганную няню, бывшую прислугу одного профессора, семья которого вся перемерла.

Сиделки не хотели меня принять. «Вы, рожать? Что Вы, откуда, да у Вас совсем нет живота». Живота у меня действительно не было. Где помещался ребенок – было совершенно непонятно. Я чуть-чуть пополнела в талии – и это всё. Бедра у меня были настолько узкие, что случалось, я теряла юбку через ноги. Я обратилась к дежурному врачу, он удостоверился, что у меня действительно роды, и меня сначала отвели в общую палату, где лежало человек 15 женщин, собиравшихся вот-вот разрешиться. Зрелище было не из приятных.

Часов в 10 вечером появился А.Ф., бледный и встревоженный, и принялся наводить порядки. Он возмущался, почему мне не дали отдельной комнаты, как было условлено, ему объяснили, что я ее получу после родов, а пока буду в общей. Мало ли, может быть придется вернуться еще домой, как часто бывает. Со мной в палате была женщина, в 3-й раз приезжавшая без результата. Мы гуляли с А.Ф. по длинному больничному коридору и очень мирно беседовали о будущем.

Часов около 12 я его выпроводила, потому что почувствовала, что скоро придется лечь. Я просила сообщить об этом моей акушерке, но та по моему спокойному виду

решила, что еще нечего торопиться. Я настаивала на том, чтобы скорее лечь на стол, но она уверяла, что раньше утра не стоит. Я держала с ней пари, что через 1/2 часа все будет кончено. Я сама влезла на стол и так усиленно ей помогала, что только оставалось меня уговаривать не торопиться. Врач, которую мы просили присутствовать при родах, не прикоснулась ко мне ни разу – не было никакой надобности. Я выиграла пари – ребенок вылетел как бомба ровно через полчаса. Я все время смеялась и шутила и, когда он появился, спросила: «И это все? Я готова начать сначала». Мое примерное поведение стало легендой для всей больницы.

Когда ребенка положили около моих ног, и он брыкался и пищал, еще не видев его, я почувствовала к нему огромную нежность. Когда его выкупали и принесли мне показать, я ничуть не была разочарована. Я очень боялась, что он будет красным. Он был беленький с розовыми щечками, синими глазками и тёмными волосами. У него был замечательно очерченный ротик, прямая, крепкая спинка. Самое замечательное были – руки. У него был такой маникюр, какого я никогда раньше не видела. Каждый ноготок был так ровно спилен и так блестел, как будто им занимались несколько часов. Я так была довольна всем этим, что не заметила, как меня перенесли в отдельную палату. У меня был страшнейший аппетит, я съела все, что у меня было с собой, и заснула в блаженном состоянии.

Ночью выпал снег, и палата сияла белизной, было так удобно лежать и смотреть на своего малыша, лежавшего в кроватке со мной. Появление родственников сильно испортило мне настроение. Они так кудахтали около меня, так приставали с расспросами, что я почувствовала себя сразу больной и несчастной. Но, к счастью, они скоро ушли, поняв, что утомляют меня.

Позже появились мои друзья. После чего А.Ф. устроил мне и моей матери скандал с перепиской. Он спрашивал ее, как они смеют в первый день приходить, глазеть на «его» ребёнка, и на следующий день пришел и даже прослезился по этому поводу. А мне приятнее было видеть моих друзей, чем его. Я так и сказала ему, и он исчез до момента

переезда домой. Мы ехали в санях, увозя с собой маленький пакет, завернутый в толстое одеяло. Мне пришлось еще несколько дней по возвращении лежать, потом я начала выходить понемногу между часами кормления.

А.Ф. рассказывал, что встретил знакомых, бывших у нас накануне родов. Они спросили, как поживает Ольга Александровна. – «Благодарю Вас, ничего, мальчика родила». Они думали, что он шутит, потому что я накануне кормила их обедом и носилась по квартире с такой живостью, что никто ничего не заметил.

Еще один факт, подтверждавший, что это действительно не было заметно: я заходила к одной пожилой даме, старой приятельнице А.Ф., с сыном которой была дружна, несмотря на все протесты его мамаши и его бывшей жены, абсолютно на меня похожей. Недели за две я зашла к ним по пути, собираясь к маме, Гриша вышел меня проводить, и я ему сказала, что скоро у нас произойдет большая перемена, в чем она заключалась, я предоставила догадываться ему. Все-таки мне самой пришлось ему объяснять, в чем дело. «Ну, вероятно, еще нескоро, что-то я не вижу никаких признаков». Он чуть не упал в обморок, когда я ему сказала, что это будет через две недели.

У него самого был 4-х летний сын, которого он вынянчил сам, потому что жена его долго болела. Он был опытен в вопросе о детях, и я часто обращалась к нему за советом. Кроме того, он был очень мил сам по себе, весел и легкомыслен на редкость. Он и его брат, неплохой художник, спустили за какой-нибудь год полумиллионное наследство, полученное после смерти отца. Он был женат на очень известной легкомысленной женщине, которая в конце концов покончила с собой. Во второй раз он женился на очень красивой, избалованной еврейке. Он очень ее любил, но когда дела его пошли хуже, она его бросила и вышла замуж еще раз, сохраняя его как любовника, к которому страшно ревновала. В общем, у милого Гриши была довольно пёстрая жизнь.

Эти несколько дней, проведенные мною с сыном, были очень значительным и радостным временем. Я выходила из дому только чтобы нагулять молоко и возвращалась

домой с грудью, набухшей до того, что молоко брызгало фонтаном, если ее нажать. Ребенок был здоров и быстро прибавлял в весе, абсолютно не кричал, мы его приучали засыпать без укачивания. После кормления его укладывали в его корзинку, и он моментально засыпал. Я очень легко научилась его купать, всё налаживалось хорошо, как вдруг я страшно заболела. У меня началась сильнейшая головная боль, поднялся жар, но я не хотела никому об этом признаваться.

Наконец А.Ф. заметил мое состояние и заставил меня лечь. Я начала бредить – это был сплошной кошмар. У меня болела голова так, что я билась ею об стену, я никого не узнавала, мне казалось, что хотят отнять от меня ребенка. Меня отвезли в Боткинские Бараки[270], там я избивала всех врачей и сиделок, на меня надевали смирительную рубашку, две недели я была без сознания, пережила целую чудесную жизнь, полную фантастических видений, какой-то героической деятельности.

Главным героем моих бредовых похождений был Н.П. Мне потом передавали, что я громко звала его иногда по целым дням. Мне сказали, что во время кризиса, когда врачи теряли надежду, что я выживу, я пожелала причащаться, что совершенно не было похоже на мои обычные настроения. Я думаю, что это устроила мне мать. Еще одной неприятностью, застигшей меня во время болезни, было то, что крестили моего сына, назвавши его как отца, Арсением.

Меня вдвойне возмущал самый факт крещения и то, что его назвали этим именем, которое я ненавидела[271]. Самым серьезным последствием моей болезни было то, что я действительно возненавидела А.Ф. Из больницы я не пожелала вернуться к нему, а поехала прямо к матери, хотя мне пришлось жить с ней в одной комнате и спать на одном с ней большом диване.

Мысль о том, что мог вернуться А.Ф., была мне просто невыносима, я не могла объяснить ему, почему я не хочу вернуться, потому что я еще долго после выхода из больницы заговаривалась и бредила. Но он решил доис-

каться причины и видел ее в влиянии на меня Н.П. Он перерыл мои ящики, отыскал все письма и записки, адресованные мне, переписал их в произвольном порядке и торжественно вытащил моей матери, упрекая ее в том, что она занималась сводничеством и укрывательством.

Между тем, Н.П. никогда не был у нас и моей матери никогда не видел. Записки вроде: «Подождите меня, Лесинка милая, я скоро вернусь» или «Побежал в клинику, скоро буду» – были перемешаны с письмами с Дальнего Востока и телеграммами от разных сроков. Все это он расположил по своему вкусу, и получилась недурная картина. В довершение ко всему он перехватил мое письмо, которое я поручила опустить в ящик одному приятелю, письмо, содержавшее полубредовые, но очень стремительные пожелания. Я предоставила моей матери с ним расправляться, сама же только заявила категорически, что разведусь с ним[272], как только буду в состоянии.

Ребенок отошёл на очень дальний план. Он тоже пережил много тяжелых дней, когда его чуть не уморили с голоду, не решаясь перевести на искусственное вскармливание. Но, наконец, нашли ему подходящую корову, и няня очень аккуратно выполняла все предписания врача в приготовлении молока. Когда я смогла бывать у ребенка, которого не могла взять к матери, благодаря отсутствию подходящих условий, для меня началась новая му́ка.

А.Ф. не давал мне буквально прохода. Он пылал то ненавистью, то любовью, то проклинал, то благословлял, даже начал писать стихи, но все это очень мало на меня действовало. Я почувствовала свободу, у меня пропало всякое уважение к моему мужу, который выслеживал меня по городу, бегал по знакомым, сплетничал, клеветал и инсинуировал. Когда 40-летний человек приходит в такое состояние, это смешно, но вместе с тем опасно.

Я была совершенно равнодушна к его выпадам, его слезы меня смешили, но всё же он успел своим языком очень мне навредить. Он распространял обо мне совершенно невероятные истории, и ему, конечно, верили, потому что привыкли верить и не понимали, что он сошёл с ума.

Мою мать он совершенно извел. Он ей писал письма в двадцати страницах, в которых упрекал ее за то, что я его не люблю; один день он оскорблял ее всячески в этих письмах, на другой день он молил прощение. Вообще же запутался так и так успел мне навредить всюду, где мог, что я не могла уже думать о возвращении, даже если бы пожелала[273].

Наконец мне удалось его уговорить развестись. Мы с ним отправились вместе в ЗАГС в довольно хорошем настроении. Барышня, нас разводившая, даже несколько раз сделала нам замечание, что нельзя так шумно себя вести.

А.Ф. думал, что эта формальность доставит мне удовольствие и вернёт меня ему, но получилось как раз наоборот: я отправилась с Гришей[274] в артистический кабачок, называвшийся «Карусель»[275], напилась в первый раз в жизни почти до бесчувствия и в блаженном состоянии приехала с Гришей к его мамаше часа в 4 утра.

Меня уложили спать, наутро очень мило поили кофе, но при уходе его мать сказала, что не желает больше меня видеть, потому что считает неудобным в отношении А.Ф. Это была одна из причин, а другая была та, что Гришина бывшая жена очень переполошилась, бегала к его матери, умоляла ее, чтобы она нас с Гришей как-нибудь разлучила. Гриша проводил меня домой, мы продолжали очень мило встречаться, несмотря на всеобщий заговор против нас. А.Ф., относившийся до сих пор довольно дружелюбно к Грише, старался всячески его очернить в моих глазах, но я только смеялась и назло ему преувеличенно расхваливала Гришины прекрасные качества.

Пришло время подумать о лете, А.Ф. нашел дачу в Детском у своего бывшего ученика. Мы перевезли ребенка, няньку, и я сама там проводила много времени. Но пребывание мое около ребенка было по-прежнему омрачено преследованиями А.Ф., доходившими иногда до насилия. Моя мать жила на даче в Коломягах на Скачках у Кусова[276]. Я довольно часто к ней ездила, чтобы отдохнуть от напряженной атмосферы, бывшей в Детском Селе.

Иногда я на пару дней оставалась одна в городе, навещала своих приятельниц, встречалась с Гришей, мне нрави-

лось быть одной в большой квартире, так я лучше ощущала свою свободу. От этой радости я очень похорошела, и дня не проходило без попыток с чьей-либо стороны со мной познакомиться. Я никогда не пользовалась этими сомнительными возможностями, но все же было приятно в первый раз в жизни чувствовать себя такой молодой, свежей и привлекательной.

Возвращаясь в Детское, я рассказывала А.Ф. о своих приключениях, преувеличивая подробности и приводя его в ужас. «Я тебе говорил, что ты Мессалина»[277]. Это, однако, не мешало ему гоняться за этой Мессалиной, врываться по ночам в ее спальню и всячески афишировать свою несуществующую близость к ней. Среди лета приехал Н.П., мы ездили с ним на Скачки, устроили вечеринку в маминой квартире, пригласили Гришу, одну мою приятельницу и одного молодого адвоката.

В самый разгар нашего веселья явился А.Ф. Я извинилась перед своими гостями и отправилась его выпроваживать. Я его приняла в своей бывшей комнате, сказав, что у меня гости, чтобы он не задерживался. Он очень смиренно принял все это, вручил мне пачку стихов, наговорил кучу комплиментов, слегка похныкал, но дал себя довольно легко выпроводить.

Наше веселье не было ничуть омрачено, Гриша так упился дальневосточной водкой, что заснул на подоконнике, и мы уложили его на мамин диван. Наташа и Сережа явились во втором часу ночи через выломанное стекло на парадной лестнице. Было уже совсем светло, мы допили все, что у нас было, попели немножко и улеглись спать по маминым многочисленным диванам.

Наутро Сережа ушел, а остальные четверо провели остаток дня вместе. Сначала по очереди принимали ванну, потом сообща готовили чай в кухне, причем страшно мешали друг другу, потом отправились гулять – был чудный яркий день – потом вместе обедали и расстались только поздно ночью. Н.П., которого я так ждала еще весной, опять настаивал на том, чтобы я забрала ребенка и уехала с ним. Он мог перевестись в Москву, Петроград, в Ташкент, –

куда угодно, где бы мне понравилось жить. Я была очень рада его видеть, но уехать с ним все же не согласилась, так я дорожила моей свободой. «Разводиться ради того, чтобы снова выйти замуж? – Нет, это невозможно», – рассуждала я. И снова я провожала Н.П. в дальний путь, ничего не пообещав ему, кроме писем.

Мой ребенок уже вставал в своей корзинке, у него прорезались 4 зуба, его прекрасный характер всем очень нравился. Когда няня отправлялась за козьим молоком для него и брала его с собой, он так приветливо раскланивался со всеми встречными, что прославился по всему кварталу.

Осенью я поступила в производственную киномастерскую под странным названием: «ФЭКС», что сначала означало – «Фабрика эксцентрического актера»[278]. Руководители ее были очень молоды, одному было 20 лет, другому 22[279]. Пользуясь своим влиянием на А.Ф., я настояла на том, чтобы и он тоже поступил туда. Я взялась даже подготовить его по акробатике, и надо было видеть, как он дома кувыркался на коврике. Боксу я его тоже начала учить, но это кончилось тем, что я разбила ему нос, и с тех пор он хватал меня за руки, как только я собиралась нанести прямой удар. Я стала 6 раз в неделю ходить на Гагаринскую[280], проводила там с 7-и до 11-и вечера, занимаясь следующими предметами: акробатика (ежедневно), бокс или jui-jitsu, лазание по крышам, американские танцы, иногда верховая езда, киножест и два теоретических предмета – история кино и политграмота[281]. Сначала поступило человек 50, потом понемногу уходили по тем или иным причинам и, когда началась более серьезная работа и съемки, оставалось человек 15.

Около этого времени я снова встретилась с одним поэтом и переводчиком[282], жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была. Современник Ахматовой и Блока из группы «акмеистов», женившись на прозаической художнице[283], он почти перестал писать стихи. Он повел меня к своей жене (они жили на Морской[284]), она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с жел-

тыми прямыми волосами и ногами, как у таксы[285]. Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу его переводов. Мы с ней настолько подружились: я – доверчиво и откровенно, она – как старшая, покровительственно и нежно. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа[286] отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей[287] в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она была немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и женским ласкам[288].

Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени[289]. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно, то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен, ни в какой степени[290]. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив[291]. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником. Мне очень жаль было портить отношение с Надюшей, в это время у меня не было ни одной приятельницы. Ирина и Наташа уехали за границу, ни с кем из Института я не встречалась, я так пригрелась около этой умной и сердечной женщины[292], но все же Осипу удалось кое в чем ее опередить: он снова начал писать стихи, тайно, потому что они были посвящены мне[293]. Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да еще... на граммофонную пластинку[294]. Для того чтобы говорить мне о своей любви, вернее о любви ко мне для себя, и о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть.

В конце 1924 г. А.Ф. решился отдать мне ребенка. Это событие было облечено большой торжественностью. Ребенок уже учился ходить, но не говорил еще ничего, кроме «мама». Теперь мне не было надобности приходить к А.Ф.,

каждый раз как я хотела повидать ребенка, зато он сам стал часто появляться и проявлять свое неудовольствие по всякому поводу.

Для того чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере», но ему не пришлось часто меня там видеть. Вся эта комедия начала мне сильно надоедать. Для того, чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике с Морской на Таврическую[295]. Я чувствовала себя в дурацком положении, когда он брал с меня клятву ни о чем не говорить Надюше, но я оставила себе возможность говорить о нем с ней в его присутствии. Она его называла мормоном[296] и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки нас втроем в Париж. Осип – говорил, что извозчики – добрые гении человечества. Однажды, когда сказав мне, что имеет сообщить мне нечто важное, притом пригласил меня, для того, чтобы никто не мешал, в свой «Англетер». На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз и навсегда. Я ответила, что буду. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере, с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия, он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать, он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил все это в моей комнате[297] к возмущению моей мамаши, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне еле удалось уговорить его уйти и успокоиться.

Как они с Надюшей разобрались во всем этом[298], я не знаю, но после нескольких телефонных звонков с приглашением с ее стороны, я ничего о ней не слыхала в течение 3-х лет, когда, набравшись храбрости, зашла к ней в Детском Селе[299], куда они переехали, и где я была на съемке.

Между тем в «ФЭКС»е я встретила парня, который мне очень понравился[300]. Он был провинциалом, только что приехал из Николаева, где был его родной дом. Я ему помогала первые дни ориентироваться в городе, где он скоро освоился. Но ему показалось недостаточным такое дружеское отношение. Я знала, что он только что пережил драму, расстался с девушкой, на которой собирался жениться. Это не помешало ему довольно хладнокровно и энергично ухаживать за мной. Сначала я возмущалась, потом очень легко примирилась с этим и, чтобы облегчить себе отступление, без лишних слов отдалась ему. Он был мною недоволен. Он мне говорил, что я холодна, как рыба, что ему хочется меня растрясти и расшевелить, да я и действительно не испытывала ни малейшей радости от этой близости. Мое воображение забегало далеко вперед, и хотя он был очень мил, я наделяла его еще лучшими качествами. Видя, что последствия этой связи для меня плачевны, я все же пыталась ее сохранить. Он совсем отвернулся от моих попыток более утонченного сближения, желая сохранить только приятную любовницу. Я отказалась наотрез от такого лестного предложения, хотя мне было очень больно признать себя побежденной таким-то провинциалом, неизвестно откуда свалившимся в мою жизнь. Но то, что происходило со мной, было настолько значительно, что потрясло всю мою прежнюю самоуверенность. Мое пребывание в «ФЭКС»е стало просто невыносимо. Видеть каждый день человека, который относится к тебе с презрительным равнодушием, было невозможно. Но я все же продолжала там бывать без всякой надежды завоевать его расположение. Я делала тысячи глупостей, по неделям я пила, не вытрезвляясь (кстати, подвернулась подходящая компания), переменила массу любовников, ни имен, ни лиц которых не помню. Все, ради того, чтобы вырвать из головы эту навязчивую идею, этот бред, ставший просто угрожающим. Этот ужас длился полгода. Я уже не помню, сколько лиц совершенно чужих мне людей, прошло передо мной это время. Но мне еще до сих пор припоминают мои приятели, помогавшие мне забываться, как я пила стаканами ерша, вызывая всеобщее

восхищение завзятых пьяниц, как я танцевала восточные танцы до упаду. Никто не понимал, почему я так бешусь, просто все находили, что я «чертовски компанейская девушка».

Весной, когда в «ФЭКС»е шли съемки, был перерыв в занятиях. Я была мало занята, а потому забрала сына и переехала с ним к матери на Скачки. Я просто сжигала себя на солнце, выискивала кропотливые занятия, чтобы отвлечься. Между прочим, начала работать в «Ленинградской правде» в театральном отделе. Я давала рецензии о новых кинофильмах[301], для чего приходилось ежедневно просматривать 1–2 фильма, переписывала свою работу на машинке и отвозила в город на велосипеде. Велосипед был мужской, я ездила в брюках и в пиджаке.

Я получила из Ташкента большую посылку – 6 ящиков фруктов. Мы их ели сырыми, делали компоты, мороженое, держали их в леднике, но все-таки много испортилось. Ко дню моих именин, 24 июля[302], приехал Н.П. Он появился на Скачках сияющий, загорелый и сильно располневший. Он в первый раз увидел моего сына, остался им очень доволен и заявил, что послезавтра мы уезжаем в Ташкент. Он даже не спрашивал, согласна ли я с ним ехать, но сам проявлял такую радость и такую уверенность, что у меня не хватило духу ему противоречить.

Мои именины справляли торжественно, пригласив массу знакомых, устроили крюшон, свертели мороженое, танцевали. Я позвала и моего фэксовского друга, с которым к этому времени сумела выровнять и упростить отношения ценой многих уступок с обеих сторон. Он мне признался, что терпеть меня не мог, что ему невыносимо было сознавать себя виновником таких страданий, но что теперь он полон лучших чувств в отношении меня и что я могу считать его своим искренним другом. Я приняла это, как оно есть, хотя это была горькая награда за столько месяцев испорченной были. Я позвала его потому, что Н.П. мог ему объяснить, каким путем можно поступить в авиацию. Часам к двум ночи все разошлись по домам, остались Н.П. и мой приятель. Я заставила Н.П. лечь на диван, а тот

устроился на большом столе, ему надо было проводить какой-то физкультурный парад и встать в 6 ч. утра. Я ушла к себе в комнату[303], в которую надо было проходить через мамину. Н.П. был пьян, когда я с ним прощалась, и выражал мне неудовольствие, почему я его не беру к себе. Я настояла на том, чтобы он лег, и действительно, полчаса было тихо. Через открытые окна я слышала все, что делалось в зале. Слышала, как он ходил, как он разговаривал с моим сыном, приятелем, а тот уговаривал его лечь. Я несколько раз выходила посмотреть, что там происходит. Оказывается, Н.П. пытался улечься на столе с моим приятелем. Я несколько раз упрашивала его вернуться на место, он слушался, потом опять шел мешать заснуть моему другу. Я увидела, что за это время он много пил и, видимо, сделался настоящим алкоголиком. Я была рада сделать это открытие теперь же, пока не поздно, и хотя чувствовала в этом большую долю своей вины, ответственность перед ребенком за возможное будущее спасала меня от всяких сожалений.

Я ушла к себе, но не спала, а прислушивалась к тому, что делается в доме. Я снова слышала возню в зале, потом шаги по лестнице и в саду, потом всё стихло. Я пролежала без сна до утра, пошла разбудить моего друга – он уже не спал. Рассказал мне со смехом, как Н.П. жаловался ему на меня, что у меня нет сердца, что вот уже 4 года, как он ждет меня, что он больше не может и уходит. И действительно, я больше его не видела. Он уехал в тот же вечер, не попрощавшись со мной, и хорошо сделал. Лишние разговоры, лишние слезы, «кому это нужно», как говорилось у нас в «ФЭКС»е.

С осенним возвращением в город наступил период бодрости и самостоятельности, усиленной работы, хотя не особенно успешной. Наши молодые режиссеры были очень смелы и убеждены в своих начинаниях, были очень требовательны к ученикам и имели много врагов среди кинематографистов. Действительно, они вели себя довольно вызывающе. Посетители наших вечеринок могли читать такие лозунги: «Спасение искусства – в штанах эксцентрика». Потом слова гимна «ФЭКС»а звучали так: «Мы всё искус-

ство кроем матом. Мы всем экранам шлем ультиматум». В уборной «ФЭКС»а висел портрет Веры Холодной. Два слова об этих вечеринках. Они устраивались с целью поднять наши фонды, а также, чтобы приручить немного зубров от кинематографии к нашим не совсем обычным методам работы и способам развлекаться. Для того чтобы показать нашу физкультурную тренировку, мы устраивали парады с пирамидами, для того, чтобы показать свой вкус кинофильма, мы демонстрировали на этих вечеринках не выпущенные в прокат запрещенные фильмы Сесил де Милла[304] и, наконец, несколько раундов фокса[305] между столиков в баре. Само собой разумеется, танцы под импровизированный джаз. Наши девушки в брюках заставляли померкнуть патентованных звезд, бывавших у нас в гостях.

Все это нравилось мне, было для меня ново, но мои режиссеры не хотели со мной заниматься, отсылая меня к старикам Ивановскому и Весковскому[306], говоря, что я слишком для них красива и слишком женственна, чтобы сниматься в комедиях. Это меня огорчало, но, увидев себя на экране, в комедии «Мишки против Юденича»[307], пришла к убеждению, что это действительно так. В конце 1925 г. я оставила «ФЭКС» и перешла сниматься на фабрику «Совкино»[308]. Здесь я бывала занята преимущественно в исторических картинах, и была вполне на своем месте. Мне очень шли стильные прически, я прекрасно двигалась в этих платьях с кринолинами, отлично ездила верхом в амазонках, спускавшихся до земли, но ни разу мне не пришлось сниматься в платочке и босой. Так и значилось в картотеке под моими фотографиями: «типаж – светская красавица». Так и не пришлось мне никогда сниматься в комедиях, о чем я страстно мечтала.

1926 год начался довольно знаменательным знакомством с одним 16-летним милым лентяем[309]. Это было на какой-то захудалой вечеринке на Петроградской стороне, куда меня затащили против моей воли в 1-м часу ночи, хотя я собиралась попасть в совсем другое место. Я через час туда и уехала совершенно одна, наотрез отказавшись от всяких проводов. Единственное, что я помню – это моло-

дого зубоскала, с флажком спортивного клуба в петличке, пившего за здоровье моего сына, игравшего на скрипке и таскавшего меня на руках по всем комнатам без всякого на то согласия с моей стороны. Помню, что он был разочарован моим внезапным отъездом и очень настаивал на том, чтобы проводить, но я так устремлялась в другое место, где мне казалось интереснее, под предлогом, что спешу домой, что, кажется, даже хозяйка обиделась.

Я совершенно забыла о существовании этого резвого юноши, старавшегося казаться солидным, ходившего в бобровой шубе и имевшего все замашки настоящего жуира[310]. Поздней осенью, так же совершенно неожиданно, но уже с бóльшим удовольствием я встретила его на другой, более интересной вечеринке. Я была занята ее хозяином, редчайшим авантюристом, неким кн[язем] Виктором Оболенским, недавно приехавшим из Москвы и поражавшим всех кругом своей ослепительной внешностью, потрясающим хвастовством и неутомимым сердцеедством. Он так восхитительно лгал и позировал, что я звала гостей смотреть на него, чем доставляла всем огромное удовольствие. Но все же я несколько раз потанцевала и поболтала с Борей и, хотя также отказалась от проводов домой, дала свой телефон, прося им не злоупотреблять. Моя просьба была уважена: он мне позвонил только за несколько дней перед Новым годом и буквально вырвал обещание встречать Новый год в большом обществе совершенно незнакомых мне людей. В эти годы было очень принято собираться у малознакомых или совершенно незнакомых людей, и часто получалось очень удачно. У меня были совершенно другие планы: я собиралась быть дома, пригласить двух-трех приятелей, устроить для них маленький ужин с глинтвейном, но из лени бросила эту затею и согласилась поехать с Борисом на Литейный, в незнакомый еврейский дом, где должно было быть 100 человек приглашенных.

Когда он приехал за мной, я еще была в ванне, и ему пришлось порядочно подождать, пока я соберусь. Он расхаживал по моей комнате, с почтением созерцая картины Макса[311], которыми были увешены стены. Встреча Нового

года была банальная: полтораста незнакомых друг другу людей поднимали бокалы шампанского, провозглашая всё те же затрепанные тосты: за присутствующих дам, за хозяйку, за тайные желания каждого и т. д. в этом роде. Взрывались воздушные шарики, перекликались через стол и чувствовали себя свободно. С ужином скоро покончили и перешли в другие комнаты танцевать. Среди присутствующих было много хорошо одетых евреев и евреек нэпманского типа, державшихся очень развязно. После ужина еще продолжали появляться в передней новые фигуры, дамы в «национальных» костюмах и кавалеры с сияющими лицами. Я чувствовала себя довольно глупо, впервые попав в такое нелепое и многочисленное общество нуворишей. Если бы не был бы Борис, я сбежала бы очень скоро. Но он чувствовал себя как рыба в воде среди этих акцентирующих потомков Израиля. Его прекрасная манера танцевать, его парижский костюм и манера говорить взрослым дерзости с невинным видом – были очень забавны. Мы расстались часов в 9 утра с очень хорошим настроением, не сговариваясь о дальнейших встречах, которые подразумевались сами собой. С моей стороны с большой легкостью и удовольствием, с его стороны с некоторым опасением.

Лето 1926 года, проведенное мной с моим сыном на даче у А.Ф. в Детском Селе[312], было сплошным кошмаром. Он настоял на своем праве иметь ребенка у себя, и я очень много раз в течение этого лета сожалела, что не отказалась. Ребенок был в сравнительно хороших внешних условиях. Внешне я – тоже. Но я была так связана в своих передвижениях, хотя бы по Детскому Селу, что не могла без ведома А.Ф. выйти даже в парк. Поэтому я избрала своим главным местопребыванием – площадку среди ягодных кустов, защищавших ее от посторонних взоров, где я проводила многие часы, лежа на солнце, читая или вышивая. Мои немногочисленные поездки в город также контролировались, и хотя мои друзья все были в отсутствии, и в моей личной жизни не оставалось ничего кроме переписки; последняя была тоже под цензурой, как и стихи, отрывки с которых мне насмешливо цитировались за обедом. Но все это еще

было сносно. Я могла не замечать А.Ф., бродившего за мной, как тень, но когда он начал снова беситься, я не выдержала. Я хотела взять с собой ребенка и уехать. Но ребенка он мне не дал; на его стороне были все окружающие, так или иначе связанные с ним материально, и мне пришлось уехать одной. Я до поздней осени ездила в Детское навещать моего сына, который, как мне казалось, одичал в мое отсутствие и неважно выглядел. Одновременно А.Ф. писал мне длинные, трогательные письма с предложением вернуться, в которых проскальзывали поучительные нотки и чувствовалось сознание превосходства. Ребенок вернулся после некоторых переговоров, и я уехала в экспедицию Кинофабрики в Туркестан.

Мимолетные впечатления от окрестностей Ташкента сводились к немногому: женщины в парандже с лицами, часто обезображенными «пендинками»[313] от плохой воды; жара, во время которой все замирает и прячется, немногочисленные развалины мечетей... И ковры, старые, которым цены нет, и новые, которые очень охотно покупаются всеми приезжими. Каждый уважающий себя кинематографист счел своим долгом обзавестись полудюжиной пестрых легких халатов, чтобы потом раздаривать приятельницам. Мы больше пожирали виноград, чем работали, передвигали рабочие часы на ближайшие к рассвету и, в сущности, не видели ни дня, ни вечера. Среди наших спутников были веселые и славные ребята, но я была отнюдь не романтически настроена, и мне было скучно. Чужое веселье, когда не можешь в нём принять участие, раздражает. Я возвращаюсь одна, запасшись хорошим количеством фруктов, которые там, действительно, чудные.

Мое возвращение отнюдь не было радостным – А.Ф. проводил у моей матери часы, уговаривая ее повлиять на меня в смысле переселения обратно, грозил отобрать ребенка, и кончилось все это разрывом дипломатических сношений между ним и ею. Изредка еще получались письма самых различных настроений, но с тех пор они считают друг друга злейшими врагами. Мои отношения с матерью тоже сильно испортились из-за ее постоянного вмешатель-

ства в мою личную жизнь. Я замыкалась и молчала. Между съемочными днями бывали иногда большие промежутки. Я бездельничала, ходила в кино без всякого удовольствия, потому что занятии в «ФЭКС»е окончательно отучили меня от способности воспринимать непосредственно. Я холодно разлагала виденное на составные части, как приучили нас делать наши режиссеры, и точно разбиралась в приемах. Иногда устраивала у себя вечера с чтением стихов, музыкой и каким-нибудь изысканным ужином, который готовила собственноручно. Борис бывал у меня в числе других, но не иначе, с тех пор, как сделал попытку, наскоро признавшись в любви, целоваться в маминой комнате. Это было очень глупо и некстати с его стороны, вызвало замечание мамы, что мои гости ошибаются, вероятно, думая, что попали в бардак. Я перенесла свой «штаб» в другое место, на Караванную, где можно было танцевать до утра, без того, чтобы приходили мешать; если хотелось выпить, можно было и это, не рискуя быть высмеянным кем бы то ни было. Но и это надоело, в конце концов. Компания расстроилась, все разбрелись по своим углам. Хозяин нашего логовища говорил, провожая выносимые из квартиры зеркала: «Всё пропито и проето».

Мое вынужденное возвращение к домашнему очагу повлекло за собой появление упрямого Бориса, который, несмотря на мои частые просьбы ко мне не приходить, кротко появлялся почти каждый вечер с милой улыбкой и извинениями. У него это получалось так просто и хорошо, что на пару дней я терпела его присутствие, потом опять просила говорить ему, что меня нет дома, уходила с черного хода, заставляя ждать в передней и т. д. Не могу сказать, чтобы его навязчивость была невыносимой, он ничего не просил, не ныл, он только хотел меня видеть, даже не говорить. Он был всегда хорошо настроен, очень мило острил, но никто из моих приятелей терпеть его не мог, и в угоду им я часто запрещала ему эти посещения. Это же обстоятельство заставило меня назло им в конце концов разрешить Борису посещать меня изредка отдельно от них и провожать. Иногда мы встречались в городе, предвари-

тельно провисев час на телефоне, чтобы условиться о месте и часе встречи. Он скрывал от своих родственников свои похождения, и поэтому наши разговоры происходили на шифрованном языке. Места наших встреч определялись приблизительно так: угол Литейного и Невского – «там, где болтают ногами», потому что однажды я ждала его там и болтала ногами; время определялось путем сложения маленьких цифр, а если кто-нибудь входил в комнату, и он не мог говорить открыто, то нёс околесицу и потом заключал: «вода!», – т. е. все это можно пропустить мимо ушей. Это было забавно и мило. Мы бегали по спортивным клубам, по маленьким погребкам с джазом, по дансингам и нигде не скучали. У этого юнца была удивительная способность из ничего делать что-то. Все же он оставался «седьмым спутником»[314], не играя серьезной роли в моих мыслях. Я с легкостью заменяла его другими, более предприимчивыми или казавшимися занимательнее, молодыми людьми. Нередко, приехав специально с Петроградской стороны, он провожал меня к любовнику или на вечер, куда его не приглашали. Он знал это, но ни разу не пожаловался и не выразил неудовольствия. Он, как котенок, которого берут за шиворот и выбрасывают за дверь, снова возвращался и занимал свое место у печки. Иногда мои приятели возмущались подобным обращением, удивляясь тому, как этот молодой скрипач может терпеть, чтобы его бросали, как вещь. Но, несмотря на это, он знал лучше них всех и свое место в моей жизни и то место, которое собирался занять впоследствии. Ради того, чтобы быть всегда готовым появиться около меня, он оставил службу и перестал готовиться к поступлению в университет. Его родители приходили в отчаяние, доискиваясь причины такого поведения. Он объяснял всё своей природной ленью, проявляя и здесь громадную выдержку и поддерживая у них эту иллюзию. Большого труда стоило уговорить его держать экзамены весной 1927 года.

Вообще начало двадцать седьмого года принесло мне ряд различных потрясений, более или менее сильных. А.Ф., который перестал у нас бывать, затеял судебное дело после

моего отказа отдать ему ребенка на лето. Он начал с того, что настаивал на своем праве получить сына на летние месяцы, а кончил тем, что требовал переезда сына к нему, заявляя, что я дурная мать и что я ужасно себя веду[315]. В народном суде, где разбиралось дело «об отобрании ребенка», присутствовали свидетели с обеих сторон: с его – дачевладельцы в количестве трех, и с моей – двое жильцов нашей квартиры – Кусов и M-lle Гуро и M-me Каратыгина[316], вдова композитора, мамина приятельница, бывавшая у нас и А.Ф. при различных обстоятельствах.

После троекратного откладывания по желанию А.Ф. под предлогами то отсутствия нужных свидетелей[317], то из-за необходимости достать документы, и, наконец, только 4-й раз разбор дела состоялся. Защитница А.Ф. была женщина-адвокат[318], отчаянно на меня нападавшая, которую суд после 10-ти замечаний чуть не отставил за неподобающее поведение. Она кричала: «Посмотрите на нее, на эти крашеные волосы, на эту актерскую физиономию, на эти шелковые чулки!» При ее упоминании о волосах, я демонстративно сняла шляпу, и вся зала видела к ее стыду, что волосы у меня вовсе не крашены[319]. С моей стороны выступал мой старый приятель Сережа Г. Он вел себя спокойно и прилично, но задавал очень ехидные вопросы, чем приводил в большую ярость как защитницу, так и истца. Одной из свидетельниц А.Ф. была пожилая дама, мамаша некого детскосельского юнца, который лазил на крышу смотреть, как я загораю. Мой защитник спросил, продавала ли я билеты, чтобы созерцать меня в это время. Судьи очень смеялись и посадили мамашу на место.

В качестве последнего орудия борьбы была вытащена переписка. А.Ф. показал письма моей матери, в которых не было ничего, кроме просьбы оставить меня в покое. Но то, что разыскал мой защитник, было значительно серьезнее: это были проповеди А.Ф. против евреев, против советской власти, против самого ребенка, появление которого он считал и продолжал считать большим несчастием. В результате долгих и язвительных споров между адвокатами, суд, выяснив положение дела и слегка допросив свидетелей, уда-

лился на совещание. Через 1/4 часа они вынесли решение, поразившее всех, а в особенности А.Ф.: он получил разрешение бывать у сына два раза в неделю – в моем присутствии.

Я не стала ждать, чтобы он апеллировал, уехала сначала в Сестрорецк, забрав сына, а потом, собравшись солидно, в Феодосию, откуда намеревалась проехать в Коктебель и прожить там, пока хватит денег[320]. Но все вышло иначе[321].

Когда поезд подходил к Феодосии, в вагоне стали появляться Крымкурсо[322], записывая пассажиров для переезда по побережью в автобусах. Это отбило у меня всякую охоту перебираться в Коктебель таким способом. Билета я не взяла. Но, когда, бродя до Феодосии, я увидела пароход и узнала, что он уходит в 12 ч[асов] дня, это решило все – я купила билет и проводила багаж на палубу до Новороссийска. Вот промелькнул Коктебель в тумане – он от меня не уйдет, вот Керченские берега растянулись плавной панорамой выжженных холмов.

Аська играет на палубе, залезает на тент и бегает по нему к ужасу пассажиров. Вечером Керчь. «Франц Беринг» настоящий каботажник, для него находятся грузы и пассажиры во всех портах[323]. Пароход встал на якорь в двух километрах от берега. Я поехала на катере. Типичный южный городок. Три кино, полсотни кофеен с потрясающими названиями, «Асфальт», нарядные дома затейливой архитектуры, хорошая набережная, на которую выходит по вечерам всё население. В кино картина с Мэри Пикфорд, в кафе играют в домино, среди расписанных кавказскими пейзажами (так в тексте. – *И. И.*). Подобие джаза, в котором флейта, играющая хроматические гаммы, занимает не последнее место, играет вперемешку европейские и азиатские пьесы. Местные жители, ленивые, толстые, нетемпераментные ни в торговле, ни в игре. Грузчики татары портят тюки своим дилетантизмом. Я купила сладких пирожков в кондитерской Собокара. По набережной среди красивых, зубоскалящих женщин, засыпая от усталости, вернулась на пароход. С утра вдоль берега – горы, покрытые дубовым лесом, постепенно всё выше и выше. Встала в 6 часов утра, печёт солнце, но на ветру так легко, раскладываю плед на палубе и греюсь.

Следующий выход на берег был в Новороссийске, откуда я телефонировала домой и вернулась до срока на теплоход, не выдержав скуки и пыли, наполняющей тот город. Несколько часов в Сочи, пестрые шали продавцов под деревьями, густая пыльная зелень, величественные отели на набережной. Под цветущими олеандрами, мимозами и лимонами незрелый виноград, запах кипарисной и кедровой смолы. Обед в тени пальм и платанов и лавры повсюду. Скорее прохладно, норд-ост, а по нашим понятиям – волнение. Всех оставшихся на пароходе застала лежащими по каютам. Солнце село в 6.40, посидела на палубе до звёзд, да чуть под ними и не уснула.

Ночью стояли в Новом Афоне, монастырь которого, превращенный в гостиницу, мигал двадцатью четырьмя фонарями (я сосчитала). В 6.30 утра стали в Сухуми. Мы с трудом разыскали подходящую кофейню любезностью и самоотречением других хозяев, не имевших всего, что нам было нужно. В ботаническом саду пустынно, по улицам разъезжают настоящие горцы в бурках, верхом на крошечных клячонках, с громадными чалмами из башлыков. После Адлера видны снеговые горы, на берег понижается Очемчир[324], самое малярийное место. За обедом Аську укачало до рвоты, пришлось уложить. Мы дольше всех на пароходе. Теперь кругом черные лица, гортанный говор и масса цветов. Разговоры о малярии предупреждают желание застрять в Батуме, пожалуй, поеду в Тифлис, в Пятигорск, застряну где-нибудь без денег и буду отчаянно телеграфировать: «Стреляюсь немедля телеграфом триста».

Аська дружит с капитаном и юнгой, не разбирая ранга, кормит чаек и дельфинов, и целый день слышен его смех. В потийском порту масса иностранных судов, грузящих марганец. Я очень позабавилась под проливным дождем с пристани, где бродят свиньи; конкой, величиной с купе в железнодорожном вагоне, поехала в город. Плоское место, похожее на Новую Деревню, в хорошем духане кахетинское и шашлык, оркестр играет допотопный марш. Над всеми звуками хор лягушек.

В 10 ч[асов] 30-го июля сошли в Батуме. Через час поедем в Махинджаури, может быть, там уютнее, чем здесь. +22°С, парит, небо в тучах, как купол потолка в мраморной бане «Фантазия», откуда мы только что вышли. Махинджаури – зеленое местечко, сплошь заросшее голубыми гортензиями, каждый цветок которой величиной с голову. Зеленый мыс, где мы бродили три дня, приезжая из Батума на авто, громадный ботанический сад, хорошо культивированный, где представлена флора почти всего мира[325]. Насладившись бессолнечными днями, во время которых с меня сошел загар, приобретенный в Сестрорецке, мы уехали вечерним поездом в Тифлис, принявший нас радушно и широко. Батумские уличные шашлычные, где на вертикальном вертеле жарились громадные плоские куски мяса и желающим отрезали наружные обжаренные кусочки, сменились тенистыми садиками тифлисских духанов, где вокруг фонтанов, полных живой форели, готовой быть зажаренной живьем, мраморные столики и прохлада. Встретила ленингр[адских] актеров оперетты, была на спектакле «В трех соснах» и потом в лучшем духане, где с одним сценаристом Ленингр[адской] фабрики пили белое вино с лимонадом и ели знаменитое «сацхали» – форель, зажаренную живьем, которую едят целиком руками, начиная с хвоста. Наутро для пробы серные ванны в старом городе, позже – фуникулер, вид на вечерний город, залитый огнями, ужин наверху на открытой площадке.

В гостинице «Ориент» чисто и неуютно. 8.30 утра. Тронулись автомобилем по Военно-грузинской дороге[326]. Сначала с трудом пробираясь среди возов, потом, после Загэса[327], маленькой электростанции, гордости тифлисцев, мимо Мцхеты, бывшей столицы Грузии, мимо белого духана последнего «Кинто»[328] Захара Захаровича, о котором рассказывали необыкновенные вещи. Выжженная степь, гладкая, как асфальт, дорога. С одной остановкой, через 5 часов мы были во Владикавказе, на лету посмотрев все красоты Дарьяльского ущелья и Казбека, при такой быстрой езде не произведших должного впечатления. Владикавказ – плоская пыльная дыра, где пришлось застрять, – с Росто-

вом 4 дня не было сообщения – размыло путь, с ночевкой в Беслане, где пересадка на Минеральные Воды, добрались в Пятигорск, откуда производили в течение трех дней вылазки в Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и т. д.

В пансионе «Цветник» чисто, прохладно, но мыться надо ходить через дорогу, есть – тоже. Вещи, отосланные в Днепропетровск из Тифлиса (я таскала с собой багаж, предназначенный для месяца жизни в Коктебеле), вероятно уже дошли, можно ехать дальше. Ася удивительный ребенок – ест всё, что дают, засыпает, когда и где уложат, весел, здоров, прирожденный путешественник. Только надо отдохнуть все же перед возвращением в Ленинград. Для этой цели Днепропетровск – неожиданно подходящее место. Поздно вечером мы приезжаем туда, и утро в новом городе – новая страница.

Дни после отъезда из Минеральных Вод были самыми трудными днями. Переезд, длившийся сутки, – самый тяжёлый. Грязь, пыль, пьяные, грубые проводники, скверные буфеты. Три ночи в Екатеринославе[329], все в разных местах, одно хуже другого. Только пара дней, проведенных на прекрасном песчаном пляже у Днепра, отчасти искупили наши мытарства. Мы брали с собой спелые дыни и мед и, сидя на берегу голышом, грелись и ели. Течение так быстро, что плыть против него невозможно – сносит. Можно перейти вброд на островки, заросшие кустами. Город красив с реки, на горе белые церкви и дома в темной зелени. Слышится украинская речь, и надписи на украинской «мови». В кино идут «Дети на базаре» и «Триумф женщины»[330].

Сижу без денег и без вещей, которые ещё не прибыли из Тифлиса, но все-таки строю планы поездок вверх по Днепру и в окрестности. Но меня останавливают панические слухи о малярии и отсутствии регулярного сообщения. Я сделала попытку пожить в романтической белой мазанке на обрыве Днепра, с трудом уговорив хозяйку, еще напуганную недавними вселениями, но сбежала оттуда, как только встало солнце: всю ночь меня ели клопы, и в открытое окно всю ночь мычала корова, собиравшаяся телиться. К счастью, при мне был только маленький саквояж, кото-

рый я отнесла в гостиницу, сунув приветливой хозяйке за роскошный ночлег рублевку.

Утомившись всеми дрязгами, я в день получения багажа сорвалась и уехала в Ленинград[331]. После южной духоты и пыли приятно было дышать все более прохладным воздухом, иногда запахом свежего сена, иногда болотистым торфяным дымом. Я везла на север, несмотря ни на что, большой запас сил и спокойствия.

Из Днепропетровска я вернулась в Ленинград и сразу же снова уехала под Лугу в имение Скреблово, где режиссер Сабинский снимал картину «Могила Панбурлея»[332]. Там я провела несколько дней, солнца было мало, снимали редко, мы больше гуляли, купались и катались верхом. Для съемки нам приводили лошадей с ближайшего конного завода, один из операторов, бывший офицер, давал нам уроки верховой езды по всем правилам. В главной роли снимался Боронихин[333], совершенно безнадёжный случай, это была его последняя картина, после нее он попал в психиатрическую лечебницу и там умер. Человек с замечательным лицом, имевший столько прекрасных ролей, он ещё сохранял вполне цветущий вид, но надо было видеть, с каким трудом он подымался по лестнице, а тем более на лошадь, что ему полагалось по роли. Сабинский нянчился с ним, но опасался, что картину кончить не придется, герой закатывал истерики, падал в обмороки, дни уходили, приближалась осень, солнце всё реже удавалось поймать.

Вернувшись в Ленинград, я сразу же попала в другую картину – «Кастусь Калиновский»[334], съемки в Павловске, в Детском, у Пантелеймоновской церкви, у Михайловского театра и т. д. Спешно шились кринолины, амазонки, я предпочитала сниматься в собственных костюмах, фабричные часто повторялись, а собственные очень ценились. Опять верховые прогулки, галоп по паркам с развевающимися перьями, бешеная мазурка в Камероновской галерее, расстрел на площади и т. д.

Урывками между съемок встречалась с Борисом, ходила танцевать. На приемном экзамене в Университет он провалился, мне удалось уговорить его поступить в Строи-

тельный техникум, пообещав, что я поступлю тоже. Однажды случайно я встретила Толю Королькова, о котором до меня доходили лишь отрывочные сведения, что он радист, плавает в подводном флоте, потом – в торговом, что он опасный человек, ловелас и пьяница. Я, конечно, верила, но, увидев, разуверилась. Я потребовала в тот же вечер собраться в «Севзапсоюзе»[335], где по инициативе частных лиц устраивались неплохие концерты и дансинги. Он послушно явился во втором часу ночи, слегка навеселе, очень мило танцевал, я на радостях изрядно выпила, и мы возвращались вместе домой в 6 ч. утра. С тех пор он бывал у меня каждый день, мы очень сдружились, и все время до его отъезда старались, так или иначе, проводить вместе. Это были чудесные часы полной откровенности, нежнейшей дружбы и взаимного понимания.

Борису нравился Анатолий, он восхищался им, но Толя просил в те дни, когда он бывает у меня, устраивать так, чтобы он не встречался с Борисом. В конце концов Толе пришлось уехать на своем теплоходе, и я осталась ждать его писем. Я сама писала ему длиннейшие письма, каких до сих пор никому не посылала. Его ответы были очаровательны и талантливы. Путевые заметки, очерки, характеристики – все простым и очень точным языком. Я читала эти письма с Борисом, и он восхвалял Анатолия до небес. Я привожу отрывки из его писем и моих стихов, относящихся к тому времени[336]. Они наилучшим образом объяснят сущность наших отношений.

1928 г. – год интенсивной переписки с Анатолием и его периодические появления, год занятий в строительном техникуме вместе с Борисом, изредка – съемки. Первый детский сад для Аси, куда он ходил через Таврический в белом пуховом костюмчике, такой розовый и приветливый. Но опять появился А.Ф., стал приходить к ним на занятия, вмешиваться в программу и в еду. Мне пришлось взять Асю оттуда, хотя он очень мило начал болтать по-немецки, и перевести его в другую группу. На этот раз я уже не сообщила его адреса А.Ф. и, как он ни злился, доступ туда был ему невозможен. Осенью я хлопотала о зачисле-

нии Аси в казенный очаг[337], в нашем же доме, но вакансий не было – мне отказали. Когда А.Ф. не добился разрешения бывать в детской группе, куда я перевела Асю, он подал жалобу в Отдел о несовершеннолетних. Оттуда прислали инспектора для расследования. Она сразу выяснила положение дела и встала на мою защиту. Чтобы прекратить дальнейшие выражения неудовольствия со стороны А.Ф., она отдала распоряжение принять его сверх нормы. Я была очень довольна таким разрешением вопроса. Воспитательницей в Асиной группе оказалась моя одноклассница по гимназии Олечка Дидерихс[338], милая, толстая тетя Оля, как ее называли дети. Она обожала Аську, возилась с ним больше, чем я сама, – я могла быть спокойна. Он проводил там с 9-ти утра до 5-ти вечера, его трижды кормили и водили гулять.

Они занимались ритмической гимнастикой, пением, ручным трудом, лепкой, рисованием. За едой сами себя обслуживали: один был дежурный, один санитар, проверявший чистоту рук, носов, ушей, один дежурил по столовой и разносил тарелки. Ася был очень доволен, делал всем мишкам прививки, которые ему самому пришлось делать, и с гордостью рассказывал, что он совсем не боится.

Я была спокойна и могла снова передвигаться по собственному усмотрению, не стесняясь расстояниями. Тут подвернулась экспедиция в Красноярск, куда я и махнула на 1/2 месяца. Стояли морозы, в нетопленой гостинице, актеры размещались по 5–6 человек в номере. Поездки за город в леса, где производились съемки, были похожи на полярные экспедиции. Перевозили в закрытых возках с жаровнями внутри, закутанных выше головы в огромные бараньи тулупы. Репетиции происходили в избе. Все до точности предусматривалось заранее, только снимать на несколько минут выходили в лес. Ловили короткий полуденный свет и ехали обратно в город, где маленькие бревенчатые дома чередовались с бесконечными заборами. Было так тихо, так много снега и так морозно, что наши ребята, грубоватые и всегда веселые, притихли под влиянием этой торжественной зимы.

Мы ходили друг к другу в гости, поочередно устраивая угощение, с собой были гитары, находились цыганки, а патефон помрежа[339] хрипел без передышки. Было довольно трудно заниматься «водопроводом и канализацией»[340] под весь этот шум. Я начала было чертить коровник, но как только кончила, на него поставили чайник, снятый с примуса. Я оставила свои попытки.

По возвращении я попала в самую гущу экзаменов – бедный Борис только что срезался по математике и возлагал все надежды на меня в смысле чертежей и рисунков. Мы разделили работу: я, не разгибая спины, чертила и за себя и за него, а он читал мне вслух все теоретические предметы. Конечно, все зачеты мы сдавали в самый последний срок. Но это было ничего, если бы я могла без раздражения выносить феноменальную лень Бориса. Я несколько раз отказывалась заниматься с ним вместе, потому, что на уговоры начать заниматься уходило больше половины времени. Иногда приходили 2–3 товарища за советом или помощью, иногда мы сами ходили к более опытным смотреть чертеж, переписать лекции.

Весна и лето 1928 г. были никакие. Я зубрила расчеты железобетона, не видела света, за тем исключением, когда, бросив всё, мы брали лодку и отправлялись на взморье, гребли километров по 20, купались, и, вернувшись обгорелые и голодные, заваливались спать. Таких дней было очень немного. Асю только к концу лета удалось отправить в Лесной недели на две.

В сентябре появился Анатолий. Первое время мы всюду ходили втроем – танцевать, выпивать и гулять, пока он не взмолился, и я временно запретила Борису появляться. Это было довольно трудно, потому что оба они по-разному были мне дороги, и мне нравилось видеть их обоих сразу. Борис ничего не имел против Анатолия, но тот очень мягко и настойчиво выразил желание видеть меня одну. Он долго оставался в Ленинграде, наша дружба, поддержанная перепиской, возросла за это время, было решено, что мы встретимся на Черном море, когда бы они туда [ни] пришли. Уезжал в очень спокойном и радостном настроении.

Мы рассчитали, что они придут на Черное море в конце января, а пока мне оставалось заниматься и собираться в дорогу. Борис, который знал все эти планы, не пытался мне мешать, стойко вынося все уничижительные прозвища, которыми я его награждала[341]. Я познакомила Толю и Бориса с моими приятельницами Наталией Львовной Брун[342] и Еленой Владимировной Масловской, с которой встретилась в 1927-м г. после 10-летнего перерыва. Лелю я повела в гости к некоему дяде Яше, гостеприимному пожилому лишенцу[343], у которого устраивались очень милые понедельники. Побывав там пару раз со мной, она стала заходить туда сама и так освоилась и понравилась, что превзошла меня. К дяде Яше я приводила всех, кого не лень: Анатолия и Бориса и еще 1/2 дюжины молодых людей и дам. Можно было прийти туда в 3 часа ночи и, увидев в щелку между штор розовый свет и услышав музыку, – смело звонить – там всегда были рады меня видеть, в каком бы составе я ни явилась.

Было еще одно место, куда я являлась не раньше часу ночи – «Владимирский клуб»[344]. Я ходила туда отнюдь не играть, там была эстрада, и пианистом был мой большой приятель по Караванной, Шулька Либерман[345]. Я торчала за кулисами, смотрела, как гримируются партерные акробаты, и как балетные пары зашивают друг на друге разлезающееся трико. В час начиналась первая программа, я садилась за столик под эстрадой и смотрела снизу на поучительное зрелище – чего не надо делать. Через 1/2 часа мой приятель освобождался, и мы шли с ним бродить по игорным залам, где, истощенные азартом, люди проигрывали, растрачивали, теряли надежду. Там было несколько типов, достойных наблюдения. Напр[имер], толстый ресторатор из Батума, державший сначала буфет в Саду Отдыха, потом погребок, на Стремянной и ставший наконец поваром какого-то заурядного ресторана. Мы пили у него настоящий бенедиктин в 6 ч[асов] утра, кто-то декламировал, потом играли на разбитом пианино, потом опять что-то пили. В 1-м часу дня я ехала домой на извозчике страшно веселая и пьяная; когда низкие санки задержива-

лись на перекрестках и прохожие заглядывали в лицо – мне было стыдно.

В «Влад[имирском] Клубе» были еще несколько замечательных личностей, напр[имер]: заслуженная проститутка по прозванию «Машка-драма». Она отличалась необыкновенной наглостью и простотой нрава: в ресторанном зале были зеленые беседки, в которые она, чтобы далеко не ходить, приглашала своих клиентов, а иногда свою приятельницу «Пашку-Балалайку» на подмогу, за ту же цену. Бывали там и более молодые, и блестящие постоянные посетительницы бара – «Танька-Кипяток», «Тамара Черная» и много «Лёль».

Я только один раз попробовала играть, приехав в скверном настроении, и так неудачно, что собрала вокруг себя толпу, 15 раз подряд я проигрывала, убедившись на этом примере, что мне везет в других отношениях. Но т. к. эти ночные похождения отзывались на моих занятиях и возмущали Бориса, которого я никогда с собой не брала, я пускалась в них очень редко и только с досады. Если от Толи не было долго писем или в них описывалось слишком много кутежей, я прибегала к этой крайней мере для приведения в порядок своих чувств и мыслей.

Новый год, 1929-й, я встречала вдвоем с Борисом в моей комнате при топящейся печке. Я приготовила холодный ужин и вино, и мы мирно болтали часов до трёх, после чего он по обыкновению поплелся домой на Петроградскую. Я просидела еще часа два, глядя на угли, потом, не раздеваясь, свернулась на диване и заснула.

В середине января стали приходить от Толи письма и телеграммы, подготовлявшие мой отъезд. Сначала я получила поздравительное письмо из Салоников, потом телеграмму с моря, потом письмо со справкой о том, куда и к кому я еду на случай, если мы не встретимся в Одессе. Вышло так, что мы действительно не встретились. С большим трудом мне удалось вырваться из Ленинграда, потому что мамаша воспротивилась почему-то этой поездке. В своей активности она уговорила Кусова занять у меня деньги, которые я приготовила для этой поездки. Брать у Бориса мне

не хотелось, занимать было не у кого, да я никогда к этому не прибегала, в день отъезда собрала понемногу от Лели Масловской и еще у кого-то.

У нас в это время гостил С.Н. Унковский[346], старый моряк, всегда уговаривавший меня выйти замуж за моряка. Этот громадный розовый дядя с детскими голубыми глазами и добродушной улыбкой появлялся у нас аккуратно каждый год в феврале месяце. Обычно он жил в Севастополе, где была его семья, и откуда он командировался на съезд метеорологов и УБКО. Он имел большой чин, нечто вроде советского адмирала по Управлению береговой охраны. Его мать[347], талантливая скрипачка, большая мамина приятельница по теософическому обществу и музыке, привела его однажды к нам в 1915 году, и с тех пор ему так понравилось, что каждый раз, как он бывал в городе, проводил у нас хоть один вечер. Он прелестно пел и был очаровательным собеседником. Он мне очень нравился и казался моложе всех моих приятелей, хотя его детям было, вероятно, столько же лет. Он взялся проводить меня на вокзал, взял мне билет за 10 минут до отхода поезда и уговаривал выйти замуж за Толю, которого он знал, шутливо грозя, что если я этого не сделаю, он сам разведется, омолодится и женится на мне.

В Одессе я «Калинина» не застала. Он пошел сначала в Новороссийск, и неизвестно было, когда придет в Одессу и сколько простоит. Дул непрерывный норд-ост, Одесский порт замерз, я три дня просидела в гостинице, еле высовывая нос на улицу. Наконец, набравшись решимости, оставила чемодан в гостинице и с одним несессером пустилась в путь. Я взяла билет на теплоход до Новороссийска, забралась в теплую каюту и с полсуток отогревалась после адского холода Одессы. Из порта мы выходили в темноте, и было слышно, как шуршат льдины об обшивку. Когда я отважилась вылезти наверх, теплоход подходил к Севастополю. Было менее холодно, солнечно, 6 ч[асов] стоянки, я отправилась трамваем в Балаклаву. Зимний вид виноградников и фруктовых деревьев, бурая трава, не покрытая снегом – только бухта, как синий глаз, сияла.

Оказалось, что не я одна выходила с теплохода, вернувшись на борт, за ужином я узнала одного из спутников по трамваю. Завязался разговор, но к нему присоединились другие, нашлись общие знакомые, общие темы, кончилось это вторым ужином и танцами в салоне. Танцевать было трудно, потому что порядочно качало, но было тем смешнее. Утром качка продолжалась. Пассажиры, и без того немногочисленные, не выходили из кают, только небольшая группа собралась в курительной. Смотрели на воду, от которой шёл густой пар, на туманный берег, иногда совсем исчезавший, потом вдруг появлялось яркое солнце и пронизывали высокие стеклянные валы, катившиеся с шумом.

К вечеру начался шторм. Где-то недалеко от Ялты мы спасали сорвавшийся с якоря рыбачий парусник. Я видела в дверь, как им бросали конец, но измученные продрогшие люди никак не могли его схватить. Прожектор с теплохода освещал маленькую скорлупку, прыгавшую на волнах, иногда совсем исчезавшую: всё это было похоже на бурю из фильма, если бы не крики женщины, бывшей с ними. Их взяли на буксир и отвели в Ялту. Наутро волнение продолжалось, к чаю и к обеду никто не показывался. Феодосийский порт тоже замерз впервые за много лет. Я все-таки сошла на берег, ходила по пустому городу, купила связку винных ягод.

Утром мы были в Новороссийске. Еще не выходя из порта, я начала спрашивать, где «Калинин», и получала самые разноречивые сведения. Одни говорили, что он давно ушел, другие, что он стоит под цементным заводом и грузится, третьи – что он в нефтяной гавани, куда далеко. Но он оказался совсем рядом под элеватором. Не взяв пропуска, я пошла разыскивать Толю. Поднялась на спардек[348], подошла к радиорубке и в иллюминаторе, как в рамке, увидела его удивленную физиономию. Он уже перестал меня ждать. Через несколько часов «Калинин» двинулся в Одессу. Анатолий повел меня сначала в ванную, где я долго плескалась, потом к обеду в кают-компанию, где собрались капитан, помощники и механики с женами и детьми, был

большой съезд на время их пребывания в Черном море. Все были милые и весёлые, обед прекрасный, и я отдыхала от своих злоключений.

После обеда мы на «Калинине» уехали в Одессу. Сразу после чая мы ушли с Толей к нему в каюту и не могли наговориться и наглядеться друг на друга. Вечером мы слушали радио из Бухареста, из Вены, из Константинополя. На юге так ясно слышно, не то что в городе, где мешает каждый проезжающий трамвай, где врывается вой соседей, настраивающих свой приемник. Особенно запомнилось турецкое пение, мужской и женский голоса тянули в унисон что-то заунывное, греша против всех правил Ленинградской консерватории. Из Вены передавали оперетку, а после полуночи – телеграммы на всех языках. Потом послышалось: «Внимание, говорит Эльбрус». Передавали бюллетень погоды. Среди ночи Толя несколько раз вставал, и я слышала, как он передавал чьи-то телеграммы.

Переход от Новороссийска до Одессы прямиком был очень короткий. Я не успела осмотреться, как мы уже были на месте, а говорили, что отход будет скоро, и я в этот же день уехала в Ленинград, волнуясь, что с Асей что-нибудь случится. Толя проводил меня на поезд, он был очень опечален моей поспешностью. Оказывается, они пробыли в Одессе еще около двух недель. Толя писал мне, что в это время были сильные штормы. Погибло много судов, каждый день он принимал сигналы о помощи, он строил в своих письмах планы моего вторичного приезда на Черное море, но он не знал, что через несколько дней по возвращении я переехала к Борису.

Это произошло при самых прозаических обстоятельствах. Еще до отъезда, а особенно по возвращении мои отношения с матерью стали совершенно невыносимыми. Она читала мне нотации, придиралась ко всяким мелочам, нагружала на меня всякие хозяйственные заботы, хотя у нас была прислуга, она иногда ни с того ни с сего заставляла меня выводить собак, чего я терпеть не могла, с тех пор как перестала ими интересоваться. Однажды она чуть не вытолкала меня за дверь вместе с собаками, и когда я все-таки

отказалась их выводить, стала бранить меня самыми обидными словами.

Я спокойно сложила маленький чемодан и ушла из дому, предоставив ей две недели безрезультатно меня разыскивать. Борис так удачно отвечал по телефону, что он ничего не знает, что мать ему поверила. Я пришла вместе с ним поздно вечером, мы на цыпочках шли через квартиру, полную спящих людей, и в первый раз улеглись спать вместе. Наутро он повел меня представлять папе и маме. Мама меня побранила, что я не переехала раньше, а папа предложил немедленно выпить вместе с ним.

К обеду собралось несметное количество родственников, пришедших посмотреть на Борину жену. Среди них было две 80-летние бабушки, одна – большая и светская, говорившая по-немецки, другая – маленькая и простая, родившая Бориного папу где-то на огороде. Было много кузенов и кузин, которых я путала между собой. Подавали прекрасную рыбу, мясо с черносливом, сладкий суп и какие-то блинчики с изюмом. Мать Бориса готовила сама, ела только кошер[349], все готовилось в разных посудах, если я влезала в кухню, после меня по пятницам отмаливалась посуда, которую я пачкала мясом или сметаной. Тогда я решила появиться в Таврической и выразила желание взять с собой немного мебели. Не то чтобы я собиралась там долго оставаться, но нам удобнее было заниматься с Борисом, и перемена обстановки действовала на меня благотворно.

Теперь мы вместе ходили в техникум, вместе готовились к зачетам, я меньше уставала, да и он также, не делая ежедневных концов через весь город. Мамаша его была со мной очаровательна, приносила мне в постель теплое молоко, баловала меня, чем только возможно, купала меня, стирала мне белье, убирала нашу комнату и дежурила по вечерам наше возвращение. Я ей платила тем же, старалась делать маленькие подарки, а главное влиять на Бориса. Он действительно стал лучше заниматься, и еврейское семейство сияло от счастья.

Но меня мучили угрызения совести. Во-первых, из-за Аськи, которого я все-таки мало видала; во-вторых, из-за

Толи, которому я написала довольно сухое письмо, в котором излагались факты без объяснений и причин. Я представляла себе его огорчение, мне было очень больно. Но все равно выйти замуж за него было невозможно, а ради того, чтобы видеть дважды в год, превращать остальную свою жизнь в ожидание я не чувствовала себя в силах. Борис попрежнему был мил и тактичен, весел и ленив. Эта лень чуть не послужила к нашему разрыву.

В мае, соскучившись по Аське, я забрала его на дачу[350], прожила с ним безвыездно два месяца, ходила босиком, грелась на солнце, пила молоко и играла в песочек со своим сыном. Среди лета произошло маленькое событие: через открытое окно с ночного столика украли часы, портмоне и шкатулку с разными мелочами[351]. Я проснулась, когда вор соскакивал на землю, и заорала на него страшным голосом: «Ишь, сволочь!» и схватилась за большой глиняный горшок, приготовленный для молока, чтобы запустить ему в голову. Но он успел отбежать, и я пожалела горшок. Я запомнила некоторые его приметы и пошла заявить в милицию. Очень скоро нашли не одного, а трех воров[352]. Когда начала портиться погода, вместо меня поселилась мама, а я вернулась в город.

Борис приезжал ко мне все время не чаще раза в неделю, часа на два, на три. Мы с ним гуляли в сумерках, и он уезжал обратно – ему негде было ночевать. В это время он взял какую-то маленькую работу на постройке и был занят и зол. Оставив вместо себя мамашу, я тоже начала работать помощником производителя работ в строительной конторе. В моем ведении находился жакт, состоявший из 6-ти домов на Васильевском Острове. Там велись крупные ремонтные работы, перекладывались печи, перебирались полы, перекрывались крыши, дома еле стояли, из одного этажа проваливались в другой.

В моем распоряжении было человек 40 рабочих различных квалификаций, преимущественно сезонники, но не было материалов. Для того, чтобы достать пару кулей извести, приходилось ездить по всему городу из конца в конец по складам, уговаривать на товарных станциях, ругаться с ломовыми и в случае удачи ехать через весь город на кулях.

В мои обязанности входило приходить раньше всех, записывать, кто, когда явился, без конца ходить из дома в дом и подгонять ленивых поденщиков, увольнять безнадежно ленивых, следить, чтобы не крали материалы, доставать хлебные талоны, расплачиваться с рабочими и поставщиками, вести все счета и многое другое по способностям.

Инженер появлялся не чаще раза в неделю, мне приходилось самостоятельно разрешать многие вопросы. Самым неприятным было иметь дело с членами правления жакта, всюду совавшими свой нос и старавшимися обсчитать при обмере. А скандалы с жильцами, которых выселяли из проваливавшихся комнат! Они готовы были скорее провалиться соседям на голову, чем переселиться на несколько дней из своих прокопчённых примусами комнат.

С 8-ми утра я была на месте, в резиновом макинтоше и с портфелем, набитым счетами и расписками. Иногда мне приходилось ездить в банк, иногда – в правление артели, но чаще всего я ходила по рынкам и железным лавкам, выискивая то штукатурных гвоздей, то медных скобок. Дранки для штукатурки приходилось добывать в самых неожиданных местах, напр[имер] в кооперативе, где я покупала корзины из-под клюквы, которые превращали кустарным способом в дранку.

Много хлопот мне доставляли ломовые извозчики и кровельщики. Если привозили какой-нибудь материал, и меня не оказывалось, чтобы расплатиться с извозчиком, он заламывал страшную цену за простой, и я, вернувшись, заставала его, окруженного перепуганными правленцами, не знающими, что с ним делать. При моём появлении эффект был всегда один и тот же: он так поражался моим солидным и уверенным видом, что переставал ругать и забывал требовать за простой, давал расписку и, уезжая, еще благодарил за что-то. Кровельщики, работавшие сдельно, не появлялись по нескольку дней, потом вдруг приходили больше чем нужно, требовали авансов, крали железо и олифу. Но я раскрывала все их проделки, потому что не боялась лазить по крышам. Мне нравилось слушать, как поёт листовое железо, когда его режут.

Я бывала занята иногда настолько поздно, что не успевала съездить на Таврическую повидать Асю. И чем дальше, тем позднее я освобождалась, начали сдавать частями работу, производились обмеры, заседали комиссии, работали в две смены, я приходила иногда в 1-м часу ночи. Простуженная, голодная, злая и усталая как собака. Я не была в состоянии разговаривать и заваливалась спать[353]. Борис тоже очень уставал, хотя шел к 10 и в 5 уже возвращался. Без меня он совсем перестал заниматься, а я сердилась. Я бывала свободна только в воскресенье, если мне удавалось освободиться в 7–8 часов, это было хорошо. Мы шли в кино, в гости или звали кого-нибудь к себе.

Однажды в такой свободный вечер мы были приглашены к дядюшке Бориса, жившему напротив. Для этого случая я облачилась в закрытое черное платье и приготовилась скучать, не пойти было нельзя. Но совершенно неожиданно там нашелся человек, занимавший меня целый вечер и веселивший всех. Это был дальний родственник Бориса, Саша Каган[354], парень живой как ртуть, очень неглупый, мило игравший на рояле и танцевавший с увлечением. Он жалел, что не мог одновременно играть и танцевать, и выпивать. Короче говоря, он мне так понравился, что я охотно дала ему наш телефон, и была рада услышать через несколько дней о его желании меня видеть. Мне некогда было его принимать или прогуливать, и я шутя велела ему приехать на место моей работы. Потом, совершенно об этом забыв, уехала куда-то по делам, и он прождал меня несколько часов под дождем, о чем и доложил по телефону.

Следующий раз все случилось удачнее: мы с Лелей Масловской собирались к нашим общим знакомым, которых она не видела много лет, и я пригласила Сашу пойти с нами. Борис, который сразу почуял что-то неладное, был оставлен дома. Мы мило провели вечер без вина за чаем, потом немного танцевали, потом разыгрывали импровизированные сценки с переодеванием, хозяева были актеры. Разошлись к последнему трамваю. Меня провожал Саша, проявивший в этот вечер много компанейских черт.

Я чувствовала себя с ним весело и уютно, моложе и красивее, а мне это было тогда необходимо.

Наша жизнь с Борисом принимала затяжной характер. Он выводил меня из терпения своей ленью, не знавшей никаких пределов, своей неряшливостью и равнодушием ко многим вопросам, казавшимся мне существенными. Я была слишком занята, чтобы влиять на него постоянно, между нами происходили только краткие, но довольно выразительные разговоры. Я ему пригрозила, что, если он не будет заниматься, как следует, я уеду и никогда его больше не пущу. Эти угрозы действовали, но недолго, я сама не могла оставить работу до ее окончания, не занималась и не следила даже за курсом, но Борис, бывавший в техникуме и могший мне помочь, ничего не сделал. Такое отношение вызвало во мне просто враждебное чувство.

Я все чаще ночевала на Таврической, бывала там свободные вечера, принимала там своих знакомых, хотя комнату мою за время моего отсутствия заняли, и у меня не было своего угла[355]. Бывал у меня и Саша, занимавший постепенно все больше места в моих мыслях и заставлявший быть настороже всех своих слов и поступков.

Еще Новый год встречали мы с Борисом где-то в трамвае по пути в филармонию, куда не попали, я чувствовала себя очень плохо, но все же хотела видеть людей и не спать. На другой день я поехала на Таврическую, почувствовала себя так плохо, что слегла и там и осталась. Сначала у меня была сильнейшая ангина, потом грипп бросился на почки, потом начался ревматизм в нескольких суставах и т. д. Я пролежала два месяца и очень страдала. Из-за отравления токсинами я не могла ничего есть в течение двух недель, я пила только воду с лимоном, фруктовые сиропы, иногда немного молока. Мама тоже свалилась, у нее был фурункул на затылке. Мы обе лежали и страдали, как в 1920 году при воспалении легких. Ко мне приходили Саша и Борис, трогательно ухаживали, бегали за лекарствами и врачами, выискивали, что я хотела есть.

Борис иногда устраивал мне сцены за то, что я принимаю его кузена, но я ему совершенно определённо заявила,

что больше на Петроградскую не вернусь, и чтобы он молчал, пока его принимают. И он действительно молчал, только иногда напивался и приходил уверять, что он очень хорош. Я в душе с ним соглашалась, но мои симпатии были на стороне Саши. Теперь он не проявлял ни показной веселости, ни компанистских замашек, но был очень серьезен, рассказывал мне о своих планах поездки в Америку, которые были почти осуществлены, и предлагал мне уехать с ним. Я не мешала ему мечтать таким образом, но, конечно, ехать никуда не собиралась. Тем не менее его влияние на меня было совершенно необычно.

Я начала стыдиться своего безобразного отношения к людям, стала мягче с матерью и добрее к Борису. Саша, этот ремесленник, неудачник, лишенец, был совершеннейшим человеческим существом, осторожные попытки которого перевоспитать меня оставили неизгладимый след. Он прилагал все усилия, чтобы выровнять мою беспорядочную жизнь, захватившую меня, как только я поправилась. Он был наблюдателен, чуток и подозрителен ко всем изменениям моих настроений. Этот человек, не имевший своей площади, живший в проходной комнате чужой квартиры, все же имел влияние на многих. Вся его многочисленная семья делала только то, что решил Саша. Он хотел почти насильно ввести меня в свой дом, это единственно, что ему не удалось. Жить вместе было совершенно немыслимо, несмотря на все симпатии и необыкновенное взаимное влечение.

Мы не видались тогда по месяцам, только ведя по телефону длинные и нежные разговоры. Я отказывалась от всего ради этой дружбы, остававшейся дружбой, несмотря на любовь. Но, к сожалению, он слишком ревновал меня налево и направо без всяких оснований, а особенно к женщинам. Мою приятельницу Наталью Львовну он прямо не выносил и подозревал ее в сожительстве со мной[356]. Я только что познакомилась с одной артисткой эстрады и ждала ее первого звонка по телефону. Саша был у меня в это время и по моему голосу и виду он каким-то верхним чутьем угадал, кто она и какие имеет намерения, хотя я ни слова ему не говорила[357]. Он так изводил меня иногда незаслу-

женными упрёками и делал из своих фантастических наблюдений такие чудовищные выводы, что я, испугавшись, поспешила свести на нет все свои знакомства.

Ася уехал с очагом на дачу, я очень беспокоилась, как бы он не заболел, и действительно получила телеграмму, что у него корь. Я помчалась к Асе, которого не видела уже недели две с последнего приема, и нашла его в лазарете, откуда должна была перевести его в Центральный (в Сиверской)[358]. Его вывели, слабого, со следами сыпи на лице, с какими-то особенно томными глазами после жара. Я закутала его одеялом и повезла на извозчике через весь дачный поселок. Оставила ему больших апельсинов, несколько плиток шоколада, которым он обрадовался очень, их так плохо кормили последнее время, а родным не позволяли ничего приносить. Его приняли в детский заразный барак, меня даже не пустили его проводить, и я уехала с тяжелым сердцем. Еще недели две он оставался там, пока меня не вызвали телеграммой, извещавшей, что я могу его взять. Я попросила одного моего приятеля приготовить автомобиль к нашему приезду и поехала за ним. Он был так слаб и так похудел, что еле держался на ногах. А главное, его простудили, и у него сделалось воспаление на обоих средних ушах. В лазарете не было ушного специалиста, и поэтому мне разрешили взять его домой.

На вокзале в Ленинграде нас ждал А.Ф., выражавший явное удовольствие по поводу болезни ребенка: «Ага, я Вам уже говорил, что он заболеет, что его нельзя отпускать с очагом!» Мне нечего было возражать, и мы молча повезли его по городу в автомобиле. В тот же вечер я вызвала врача, который уже знал Асю, вырезал ему гланды. Действительно, положение было очень неважное, обе барабанные перепонки были прорваны, и все-таки грозила опасность трепанации черепа.

Я не отходила от ребенка ни днем, ни ночью, в первые две ночи я просидела в кресле около Аси, не выпуская его горячих ручек. Он так жалобно плакал и стонал, смотрел такими испуганными глазами, что я сама часто начинала плакать вместе с ним, и он меня утешал и спрашивал, что

у меня болит. Ему пришлось сделать два прокола, после чего все пошло на улучшение. Жар спал, он начал понемногу слышать. Врач приходил каждый день, потом через день, потом, когда Ася встал и окреп настолько, что можно было его выводить, я сама повела его в последний раз к врачу, и он отпустил нас на все четыре стороны. (Он, между прочим, сделал мне предложение.) Лето уже кончалось, настали хорошие дни, и я решила вывезти Асю сама хоть на несколько дней за город.

Как-то летом мы были с Сашей в одном замечательном месте, где жили его знакомые. Это была последняя станция по Ириновской ветке Финляндской дороги – только что открывшийся дачный поселок «Стандартстроя»[359]. Мне удалось получить внаймы маленький отдельный домик, внеся небольшой пай. Весь дом был не больше железнодорожного вагона, видом и формой напоминал его: красный, обшитый вагонкой снаружи, с низкой, толевой крышей, всего маленькая прихожая, служившая умывальной и кухней, и комната, достаточно просторная, чтобы вместить до семи кроватей. Но нам нужно было только две, стол и несколько стульев, полка для посуды и жестяной рукомойник. Воду я носила из озера, на берегу которого был разбросан поселок. Сухое, песчаное место, сосны, чудные прогулки с неожиданными холмистыми видами.

Теперь пограничная полоса расширилась за пределы этого поселка, и все эти новые дачи пустуют. Тогда же в них жили пайщики «Стандартстроя», которые платили за такой домик 30 р[ублей] в месяц. Самым большим удобством этого земного рая была столовая в двух минутах ходьбы от моей дачи, в ней с утра до вечера можно было получить за недорогую плату все, что угодно. Молоко, простоквашу, домашние пироги, большой выбор мясных блюд, несколько супов, салаты, сладкое в любое время в любом количестве.

Мне почти не приходилось хозяйничать, разве только утром сварить Асе овсянку или перед сном согреть молока. Он бегал босиком, лазил в озеро, ходил в гости к соседним мальчикам и приходил только есть и спать. Сначала

я удерживала его, но потом предоставила ему полную свободу, видя, что вреда в этом нет, наоборот, у него появился аппетит и он очень окреп. Ко мне приезжали из города иногда Саша, с которым я там и распрощалась навсегда (он умер в декабре 1930 года); иногда Саша Хрыпов[360], муж Натальи Львовны, появлялся из рейса, а постоянно жил рядом в гостинице брат Доры Слепян, Юля[361], приехавший специально для того, чтобы провести несколько дней недалеко от меня. Мы познакомились при забавных обстоятельствах, и он решил, что для продолжения этого знакомства полезно будет, если он проживёт несколько дней где-нибудь поблизости.

С Сашей Хрыповым стало неладно, когда он навестил меня как специалист после моей зимней болезни с осложнениями на почки. Незадолго перед этим я его устроила корабельным врачом в «Совторгфлот»[362], и он делал свои первые рейсы на пассажирском теплоходе, увлекался галстуками и носками, покупал всякую ерунду и рассказывал потрясающие вещи о заграницах. Его жена, Наталья Львовна, тоже сияла в ожидании шелковых чулок и прочих благ. Но после того врачебного визита (в январе 1930 г.) она стала мне приносить вести о том, что ее Саша прожужжал ей все уши похвалами Лютику (мне), я отшучивалась, пока в мае мне не стало ясно, что он не шутит. До тех пор я встречалась с ним всего несколько раз и при самой безразличной, ни к чему не обязывающей обстановке. Наташа знала об этом и от него и от меня и ничего против не имела. Но, когда я увидела, что ее семейная жизнь под угрозой этих глупостей, я наотрез отказалась принимать Сашу. Эффект получался совершенно неожиданный: она стала приезжать ко мне с письмами от него и уговорами принять его. «Согревшись твоим теплом, он частицу этого тепла приносит мне», – она сказала. Как я ее ни уверяла, что ее Саша мне совершенно не нужен, что у меня есть мой собственный Саша, которого я обожаю, и который меня заполняет, она говорила: «Но моему Саше ты нужна, но что тебе стоит, прими его сегодня!» И я соглашалась. Влетал ее Саша, сияющий, и, не теряя времени, начинал

сразу раздеваться. Очень аккуратно и методически снимал свои лакированные ботинки, шелковые носочки и прочие прелести. Я вполглаза наблюдала за всем этим, отнюдь не в восторге от предстоящих мне потрясающих переживаний. Когда он приходил немного в себя, я начинала издали разговор. Я уговаривала его лучше обращаться с Нитой, бросить все эти глупости и так далее. Он ничего не возражал, только клялся в любви ко мне, но результат моих уговоров получался как раз обратный. Он обвинял Ниту в том, что она хочет очернить его в моих глазах, хочет разлучить нас, а что он жить без меня не может. Мне скоро надоела эта трехсторонняя благотворительность, и я наотрез отказалась его принимать.

Он ушел в рейс, как будто примирившись с женой. Через месяц он вернулся; она была в Луге у своих родственников[363] и должна была вернуться одновременно с ним. Мы встретили Сашу где-то в городе, он был очень весел и спокоен, гуляли, потом ужинали на «Крыше»[364], там встретили одного общего знакомого, Юзю Кринкина[365], секретаря НКИД[366] в Ленинграде и председателя «Ленарка»[367] (кино). Саша писал изредка сценарии (один даже поставили), бывал в «Ленарке» на всех закрытых просмотрах и считал себя большим специалистом по кино. После поездок за границу стал писать рецензии и о картинах, виденных им там, и выступал на собрании «Ленарка» с большим апломбом.

Разговор затянулся, мы вышли вместе в светлую ночь и решили пойти к Саше, у которого были дома вино и возможность продолжать разговор. Там мы застали недавно приехавшую Ниту; сидели часов до пяти. Потом закрыли занавески и решили поспать немного. Кринкина уложили на кожаном диване с высокой спинкой, к которой была придвинута кровать, оставшаяся для нас троих. В другой комнате спали брат и сестра Наташи, и она сама выразила готовность пойти туда и лечь вместе с Ниной, но я категорически воспротивилась, и мы легли втроем, я к стенке, потом Наташа, потом Саша, совершенно откровенно выражавший желание обнять не ее, а меня. Спать, конечно, никому не пришлось. Только иногда из-за спинки дивана

доносилось кряхтение Кринкина и вздохи: «Ох, Господи! Грехи наши тяжкие».

На даче[368] он появился неожиданно. Я гуляла на берегу озера с Юлей, и Аська бегал где-то поблизости, вдруг он примчался и сообщил, что приехал Саша. Я цеплялась за Юлю, но он деликатно ушел к себе в гостиницу, предоставив меня на съедение Саше. Первый вечер обошелся довольно мирно, в 8 ч[асов], как всегда, я уложила Асю, потом мы пошли бродить, пока не стемнело, и я не промерзла, пришлось вернуться домой. Он пытался остаться ночевать, но я его выпроводила к последнему поезду, сказав совершенно ясно, что он может успокоиться, я больше никогда с ним не буду.

Он уехал в мрачном настроении. Я надеялась, что он больше не появится. Но через день он опять приехал, уже слегка пьяный, привез с собой еще две бутылки и целую пачку исписанной бумаги, которую я отказалась читать (с тех пор он писал мне только на машинке). Он сел за стол, пил и писал и читал мне вслух написанное. Это были какие-то сказки, действующими лицами которых были я, он, Нита, обращенные ко мне дикие уверения и мольбы о взаимности. Мне надоело слушать эту галиматью (которую он впоследствии обработал для Мюзик-холла), и я ушла в гостиницу к Юле, где мы превесело ужинали. Вернувшись, я застала доктора в том же положении, только выпившим все вино с духами, исписавшим кипы бумаги и намеревавшимся мне это прочесть. Я вовремя его остановила. Тогда с ним сделалось что-то ужасное, он бился головой об стенку, обливался слезами, выгрыз из руки кусок кожи, валялся по полу, жег рану на руке папиросой и, что хуже всего, опоздал на последний поезд. Мне предстояло провести ночь в этом приятном обществе. Я хотела отвести его в гостиницу к Юле, я сама предпочла бы уйти туда, но он меня не пустил, и я спокойно легла в свою постель. Он сначала сидел за столом и писал, потом прилег сверху, вскочил, забегал по комнате и потом чуть не изнасиловал меня, потом рыдал, прося прощения, и т. д. всю ночь. Я так устала, что уснула под аккомпанемент его рыданий. Он уехал с первым поездом, ему надо было быть на п[аро]х[оде].

Я решила, что больше он не появится. Нет, он приехал в тот же вечер, еще более пьяный и с бутылками. Я принялась его бранить, уговаривала бросить все эти глупости, мешающие мне хорошо к нему относиться. Наутро он должен был уйти в рейс, я боялась, чтобы он не опоздал на поезд, и выпроводила его заранее. Было начало сентября, холодная, совершенно темная ночь, ветер, заставлявший стонать деревья, я одна в маленькой даче при свете керосиновой лампы, готовой погаснуть, а этот сумасшедший бродит вокруг дома и заглядывает в окна. Я дрожала от страха, что он опоздает на поезд, но Юля, обеспокоенный моими рассказами о поведении Саши, бродил поблизости и видел, как он на ходу вскочил в последний вагон. Через несколько дней холод вынудил меня уехать с дачи.

Еще летом, ужиная как-то с одним приятелем[369] на «Крыше», я обратила внимание на молодого человека неопределенной национальности, но несомненно моряка по профессии, который много раз приходил приглашать меня танцевать. Я неизменно отказывалась, потому что танцевала только со своим спутником, что не помешало этому незнакомому юноше подойти перед нашим уходом и произнести длинный комплимент моим танцам, «которых я могла бы не стыдиться нигде». Я пожала плечами и сухо поблагодарила, и мы уехали.

Другой раз повторилась та же история. На этот раз, уговаривая меня потанцевать, смуглый юноша успел ввернуть несколько слов из своей биографии. Мой спутник выражал нетерпение и неудовольствие по поводу этого непрошенного собеседника. Но неожиданно разговор оживился обнаружением многих общих знакомых. До сих пор он говорил на каком-то странном диалекте с английским акцентом и оборотами речи, например: «40 минут после одного», а тут, упомянув имя Зои Троицкой, своей бывшей жены, перешел на чистейший русский язык и кончил тем, что покорил моего сурового спутника своими морскими рассказами.

Тут к нам присоединился Саша Хрыпов, который жаждал танцевать со мной, и утащил меня в зал. Когда мы собирались уходить, к нам, пошатываясь, подошел наш

новый знакомый и представился, Ржевский, Лев Александрович[370]. Мой приятель дал ему свою карточку с номером телефона, прибавив: «Позвоните, мы с Ольгой Александровной будем очень рады». В продолжение целого месяца Л.А. так и думал, что я M-me Форст и живу на Калашниковской набережной[371], он звонил туда несколько раз, но меня не оказывалось дома. А в тот вечер, когда я была с Сашей и Кринкиным, он только что пришел из рейса, загорелый и веселый, как чижик. Пока Саша и Кринкин разговаривали на высокие сценарные темы, я отважилась потанцевать с Л.А., который был там с знаменитой кокоткой, выставив ее кавалера за дверь. Эту девушку он ценил очень высоко, говоря, что она – настоящий клад для моряков. Она действительно имела хорошие манеры, со вкусом и уместно одевалась, была неизменно весела и жизнерадостна – чего большего желать одинокому страннику, проводящему в городе 4 дня в месяц? Все это было мне сообщено тут же, я очень дружелюбно отнеслась к этой болтовне. Но все это привело к совершенно неожиданным результатам. Через час он уверял меня, что я ему «безумно нравлюсь», через два часа, что он меня любит. Провожая меня к зеркалу, он неожиданно схватил меня и поцеловал. Я почему-то не сердилась. Уж очень все это было стремительно и непосредственно. Я сообщила ему настоящий свой телефон, потому что он пожаловался, что никогда не застаёт меня дома.

На следующий день я уезжала на дачу, а он в рейс. Он позвонил мне утром, но мне некогда было ни принять его, ни болтать долго с ним по телефону. Я предложила ему 5-ти минутное rendez-vous[372] между трамваем и парикмахерской. Шел дождь, я пришла под большим зонтиком, мы просидели четверть часа в маленьком кафе, пока не подошла моя очередь причесываться. Он болтал всякую ерунду, не давая мне вставить и пару слов, и так сиял, что это настроение отчасти передалось и мне.

Он уехал на свой п[аро]х[од] «Герцен», где он был вторым помощником, а я пошла причесываться, чтобы вечером понравиться Юле, очень придирчивому к моей

внешности. Дело в том, что он был 5 раз женат и все на очень красивых женщинах, понятно, что он старался приблизить меня к их совершенству.

Следующий звонок Льва Александровича был в день моего возвращения с дачи, 13 сентября. Он только что вернулся из рейса и хотел непременно меня видеть. О моем возвращении еще никто не знал, поэтому вечер у меня был свободен, я согласилась идти с ним в Михайловский театр на «Бокаччио». Мы сидели на виду у всех и очень мало интересовались сценой. Я никак не ожидала, что буду так рада видеть этого немного навязчивого и дерзкого юношу, но сидя рядом с ним, я забыла обо всех бывавших постоянно около меня беспокойных претендентах на мое сердце или постель.

В антрактах мы болтали и засиживались в фойе и очень удивились, что спектакль так быстро кончился. Оттуда мы перешли поблизости на Михайловскую и говорили уже без помехи за вином. Он неожиданно сказал мне: «Знаете что, будьте моей женой», – и я так же неожиданно для себя ответила: «Хорошо, давайте попробуем». Не знаю, что заставило меня так легко решиться на этот эксперимент, все-таки $6^1/_2$ лет я крепко держалась, хотя получала десятки значительно более выгодных во всех отношениях предложений.

Л.А. высказывал такую уверенность, что нам будет хорошо вместе, что это передалось и мне, я настроилась на такой лад. Действительно, мне было очень весело и легко, как никогда. Он проводил меня домой и никак не мог уйти. Я забрала его с собой, мы сидели в кухне и болтали, пока не начали вставать наши (я спала у Аси, своей комнаты у меня не было, за время моего пребывания на Петроградской ее заняли). Л.А. уехал на п[аро]х[оде], а я легла спать. Известие о том, что я собираюсь замуж, как громом, поразило всех моих приятелей.

Саша Хрыпов разошелся с Нитой, чтобы на мне жениться[373]. Форст каждый день в течение целого лета присылал мне букеты с трогательными записками, Саша Каган, хотя и не бывал, все же сообщал о своих новых

удачах, связывая их с возможностью «нашего» отъезда в Америку. Я ничего не говорю о Борисе, он уехал в Сталинград с тем, чтобы завоевать наискорейшим образом положение, достойное меня. И вдруг какой-то проходимец, какой-то паршивый штурман, неизвестно откуда взявшийся, отнимает у них «их» Ольгу Александровну. Это невозможно было терпеть. Чтобы не подвергать меня слишком сильному искушению – отказаться от моих легкомысленных намерений, Лев А. увёз меня в Мурманск, где жила его мать[374], где у него был свой домик, где природа и море были ему близки.

Он плавал с 12-ти лет, убежав из дому. Мать считала его расстрелянным. Кому-то было нужно поддерживать эти слухи. Мы провели в Мурманске 2 недели, почти нигде не бывая. У нас было о чем поговорить. Я занималась игрушечным хозяйством в бревенчатом домике на горе. Там нас застала зима, мягкая зима океанского побережья. Я писала немного, он рисовал меня, мы бродили по пустынным холмам, иногда ходили в гости на тральщики и к его старым друзьям. Еще раз неожиданно я почувствовала себя совершенно на месте в этом доме с этим человеком.

Я вернулась в Ленинград, называясь: О.А. Ржевской, мы записались в Мурманске по приезде, я уступила его желанию и переменила фамилию, хотя это казалось мне смешным. Но ему так хотелось, чтобы я носила его фамилию. В Ленинграде у нас не было ничего. Он никогда не имел квартиры, переходя с п[аро]х[од] на п[аро]х[од], у меня тоже не было своего угла. Мы решили пока остаться у мамы, превратив нашу крошечную кухню в каюту, что и принялись немедленно осуществлять. Там разобрали плиту, оклеили обоями, соорудили подобие дивана из матрасов и чувствовали себя очень уютно. Лев перешёл в резерв, и почти 3 месяца мы прожили, не расставаясь.

Так продолжалось до конца декабря, когда Лев получил назначение, которого добивался: гнать п[аро]х[од] из Ленинграда во Владивосток. Он никогда не был на Дальнем Востоке, и я не имела ничего против того, чтобы пожить там некоторое время. С Ленинградом меня ничего

не связывало. Саша умер при ужасных обстоятельствах. Борис, писавший мне из Сталинграда и не дождавшийся ответа, приехал сам, чтобы увезти меня с собой. Я встретила его в передней и предложила пойти познакомиться с моим мужем. Он скоро уехал, огорченный, сказав, что я могу в любое время приехать и жить, сколько мне захочется. Это было, конечно, очень мило, но совершенно меня не занимало.

Лев должен был уйти в рейс накануне Нового года, но отход отложили, и Новый год (1931) мы встречали вместе. Мы ненадолго поехали в «Европейскую»[375], сговорившись с Форстом. Там было невозможно много народа, между прочим, Зоя[376] со своим мужем, которые нашли, что мы оба очень похудели, вероятно, от того что «слишком друг друга любим». Танцевать было невозможно, мы прошли в один круг и уехали домой, чтобы быть вместе последние часы. Я знала, что через $1^1/_2$–2 месяца мы снова встретимся на Черном море и пробудем там вместе довольно долго, но все-таки, зная себя, я не надеялась сохранить такие же чувства, тем более, что характер их был слишком реальный. Мне жалко было Льва, который плакал как ребенок, уходя по моему капризу в такой далёкий рейс. Было несомненно, что если он не любил меня, когда мы поженились, то любит теперь, как только можно любить на земле. Я сама в эти последние дни любила его без памяти.

Наконец пришло время его отъезда, последние поцелуи, последние обещания и сразу наступила тишина и пустота. Я получала письма, то восторженные, то грустные, и, наконец, ревнивые, на которые я отвечала вызывающей телеграммой: «Не пиши глупости». Дело в том, что письма мои он получил с большим опозданием и представлял себе всякие ужасы. Но я жила очень замкнуто, довольно плохо себя чувствовала и редко выходила. Я сделала только несколько поездок на лыжах, чтобы немного укрепить нервы. Но стояли такие морозы, что трудно было часто выехать.

В это время мне пришла в голову мысль немного поинтересоваться моей соседкой по дому, которую я помнила еще маленькой девочкой с косичкой, которая делала мне книксены при встречах, а я была уже замужней дамой.

Это дочь одной из владелиц дома, где мы жили, Наташа Далматова[377], [она] была к тому времени второй раз замужем, имела ребёнка от первого брака[378] и работала где-то на фабрике. У нее была очаровательная внешность и голос, как у птички. Незадолго до отъезда я пригласила ее в театр, собрав для этого подходящую компанию. Были Форст, Анатолий, еще один молодой инженер, очень милый, и сестра композитора Поля Марселя – Эстер[379], с которой Ната подружилась тут же в театре. С тех пор она часто забегала ко мне, звонила по всяким пустякам, мы проводили часами в болтовне у меня или у нее.

Ее муж[380], талантливый, но чудовищный ленивый художник-архитектор, снимал нас во всех видах довольно удачно[381]. Иногда мы выходили вместе куда-нибудь, например к родителям Николая, у которых устраивали большие вечеринки. Незадолго до отъезда мы были вместе в «Европейской», не собираясь засиживаться. С нами был Толмачев[382], сценарист Союзкино, остроумный юноша, но страшный сплетник.

Было довольно скучно. Играли все те же, 1000 раз слышанные вещи, «Рамону» и др. Все те же надоевшие лица завсегдатаев «Европейской», смешные пары, танцующие с ужимками, словом, пора было уходить. Вдруг Николай обнаружил на той стороне нечто примечательное. «Посмотрите на этого молодого еврея, какие у него замечательные ресницы!» Я возразила: «Не только ресницы». И вечер сразу наполнился большим содержанием.

Наталья Александровна танцевала с «Ресничками», как мы его прозвали, и пыталась говорить с ним по-французски. Оказалось, что он достаточно хорошо знает русский, чтобы рассказать кое-что о себе. Он только что приехал на должность секретаря норвежского консульства[383], и Наталья Александровна была его первой русской знакомой. Потом он пересел недалеко от нас, и я могла лучше видеть его лицо с выражением, которое редко встречается у нас.

Накануне моего отъезда мне устроили проводы. В том же составе мы пошли опять в «Европейскую». Мы опять встретили «Реснички». Он сидел на другой стороне

зала, мы все были очень рады его видеть. Я решила, что надо его позвать к нам за стол, и знаками, совершенно не стесняясь окружающих, показала, что мы хотим, чтобы он пересел к нам. Немного погодя он действительно явился, сунул нам по очереди руку и не отказался от мороженого. Потом мы танцевали немного и решили позвать его с собой к Толмачеву сейчас же.

Я взяла на себя рискованную роль пригласить его пойти с нами, не боясь, что он подумает о нас. Он довольно легко согласился, и мы вышли вместе, впятером и пошли на Троицкую[384], где жил Толмачев. У него было довольно пыльная комната с туркестанскими тканями на стенах и диванах, мало света и много блох. Мы решили разыграть «театр для себя», переоделись в цветные халаты, причем мне достался совершенно прозрачный, который я надела на голое тело, окончательно убедив нашего гостя, что он попал черт знает куда. Мы сидели с ногами на диване, пили сладкое вино из плоских чашек, проливая половину, пили на брудершафт все со всеми, пока Николай не начал засыпать.

Наш гость, хватавшийся поочередно то за меня, то за Наталью Александровну, ушел в полном недоумении. Оставшиеся, кроме Николая, который спал как убитый, стали немедленно ссориться. Наталья А., тоже переодевшаяся с некоторым опозданием, хотя это была ее идея, накинулась на меня, что мы испортили всё впечатление, на которое она рассчитывала. Она злилась на своего мужа, который ревновал ее ко всем, но на этот раз, когда должен был бы вмешаться, спал и храпел, как извозчик. Я огрызнулась и легла спать. Я проснулась, когда все уже ушли, Толмачев уже встал, пошла под душ, не спеша, привела себя в порядок, и мы вместе вышли, он спешил на фабрику.

В этот вечер я уехала в Одессу, без особого желания, поручив беречь и не потерять из виду «Реснички», которые были мне почему-то дороги. Я написала из Москвы две открытки, одну Толмачеву с просьбой о том же, другую в «Европейскую», в № I (ход между лифтами), где «Реснички» остановились. В виде воспоминания я увезла с собой наполовину опустошённую коробку конфет с портретом

норвежского короля на крышке[384a], которую он захватил с собой, выходя с нами из «Европейской».

В Одессе я мужа не застала. Мне было очень трудно устроиться в гостиницу, все было полно, пускали только по командировкам. Но мне посчастливилось встретить капитана, который должен был вести п[аро]х[од], на котором служил мой муж, из Черного моря на Дальний Восток. Мне дали номер в «Бристоле», и я провела несколько дней в ожидании «Шмидта» в обществе капитана Сиднева и его друзей, тоже дальневосточных капитанов, приехавших в Одессу за судами.

Он водил меня гулять, причем учил медленно ходить, что мне никак не удавалось; водил меня обедать и кормил конфетами. Я вышивала у него в комнате, в то время как к нему приходили старые моряки и вели разговоры о своих делах. Он так привязался ко мне, что выражал пожелание, чтобы «Шмидт» совсем не пришёл, а я досадовала, что рано приехала: в Ленинграде остались «Реснички». Наконец, как-то вечером, гуляя с почтенным капитаном по бульвару Ришелье, он указал на судно, ставшее на рейде: «Вот и “Шмидт”, только места нет у стенки, ему придется постоять пару дней».

Я старалась разглядеть что-нибудь в сумерках, там копошились какие-то люди, но с досадой бросила это занятие и ушла спать. Спалось неважно. Утром я растолкала сонного капитана, заставила пойти со мной на площадку, где обычно стояли подзорные трубы. Но день был туманный, труб не было. Неожиданно со «Шмидта» раздался гудок, вызывающий лоцмана. К нему подошел катер ГПУ таможенных, и поднялось на борт несколько человек. Капитан сказал, что дело затяжное, их не скоро поставят к стенке. Но я уговорила его пойти все-таки в Управление узнать, где их поставят. Он сказал, что это бессмысленно, но все-таки пошел.

Ничего не добившись, мы спускались по лестнице конторы, как вдруг навстречу нам появился Левушка, загорелый и поправившийся. Посреди лестницы мы расцеловались на глазах у капитана и всего честного народа.

Лев поблагодарил капитана, и мы ушли в гостиницу. Оказывается, он набрал каких-то поручений на берег и приехал с 1-м таможенным катером, попросту сбежал. Четыре дня он не появлялся на п[аро]х[од], чем вызвал выговор, потом взял отпуск, до отхода из Черного моря, потому что на «Шмидте» в каюте он помещался не один, и я не могла с ним уехать.

Он получил свой билет для проезда на любом т[еп-ло]х[оде] Черного моря, и мы выехали на «Крыме», получив 5-ти местную каюту на двоих. Мы взяли с собой немного вещей и очень уютно расположились в просторной каюте. Мы готовили себе какао и лимонад, ходили голышом по вечерам и чувствовали себя прекрасно.

Во всех портах мы ходили гулять, всюду он встречал знакомых моряков, вечером мы ходили в кино, помещавшееся в столовой 3-го класса. Потом мы брали ванну и укладывались спать. Когда мы пришли в Батум, он был весь под снегом. К полудню потекли ручьи, а наутро я уже грелась на солнце и купалась в море. Забавный вид имел бульвар с пальмами, покрытыми снегом. Цвели магнолии и олеандры, в садах распускались ирисы. «Шмидт» пришёл в то же утро, что и «Крым», хотя вышел на два дня позже. Мы наведались на него и пообедали с двумя капитанами, старым и новым, и целым сонмом помощников и механиков.

Накануне в Поти мы навестили Анатолия на «Калинине». Пока «Крым» стоял, мы успели побывать в городе и поужинать в гнусной шашлычной. Нас было четверо, на «Калинине» служил помощником приятель Льва. Он все уговаривал Льва по старой памяти выпить, но я ему категорически запрещала. Вино было отвратительное, кислое, пахло козлом, потому что наливалось из нового меха, нам подали «сациви» из курицы, которые невозможно было есть. Я была страшно зла на все это, особенно на приятеля Льва.

Когда мы вернулись, я заперлась в каюте и не желала выходить, демонстративно поцеловала Анатолия при прощании и легла спать. Лев был немножко пьян и устроил мне сцену. Мы в первый раз сильно поссорились, и я чуть не уехала утром из Батума обратно. Но он поклялся, что

больше этого никогда не будет, признался, что вел себя глупо, приревновав к Анатолию, хотя, признаться, не без основания. Анатолий, встретив нас на «Калинине», бросился вперед в свою каюту, сорвал висевшие над койкой мои портреты и сунул их в ящик, чтобы Лев не видел, где они висят.

В Батуме мы пробыли несколько дней, много гуляли, много говорили, потом, выпив перед отъездом с капитаном, уехали на «Ленине» в Сухум. Ну, и п[аро]х[од] этот «Ленин». Он принадлежал раньше частной компании и был очень неблагоустроен. Когда п[аро]х[од] остановился в Сухуме, Лев сошел на берег, чтобы найти нам комнату, и вернулся через $^{1}/_{2}$ часа за мной.

Он снял маленькую, беленькую комнату у гречанки, рукодельницы. Там мы провели 3 дня, лазая по горам, собирая цветы, греясь на солнце. Цвели мимозы, и я пела «Как в марте хорош Сухум, ай, ай, ай, когда в нем цветут мимозы». В день нашего отъезда разразился шторм с дождём, «Грузия» опоздала часов на 6, дождь лил непрерывно, волны перекатывались через набережную, т[епло]х[од] не мог пристать. Он стал на якоре и ждал, когда сможет принять пассажиров. Мы тоже ждали под дождем, слоняясь с чемоданом по ближайшим кафе.

В 1-м часу ночи, наконец, решились подойти к стенке и начать посадку. Меня сунули в каюту к четырем другим женщинам, все остальное было занято, а Льва – в такую же к мужчинам. Наутро, когда суета улеглась, нам удалось получить такую же самостоятельную каюту, как на «Крыме», даже под тем же номером. Порядочно качало, мы сидели наверху и выходили часто на палубу, Лев учил меня ходить, чтобы не терять равновесие. Мы единственные с большим аппетитом обедали и старались поменьше сталкиваться в коридорах с пассажирами, которых поголовно укачало. На лестницах и на полу лежали беспомощные люди, не в состоянии подняться. Это было отвратительно. Но я всё-таки вечером принимала ванну, хотя $^{1}/_{2}$ воды выплеснулась на пол.

В Феодосии мы сошли на берег и побывали в кино, чтобы посмотреть Льва А. в картине «Рубикон»[385], потом

обозревали город. Как в 1919 году, никого не было на улицах, лавки стояли заколоченными, нигде ничего не продавалось. Мы зашли в чайную, где висели антиалкогольные плакаты, подавали чай без сахару и вместо пирожных нечто совершенно несъедобное и непитательное. Было несколько пивных, в которых в качестве закуски были крутые яйца; в единственной чебуречной с весьма высокими ценами тоже были только яйца. Мы вернулись ужинать на п[аро]х[од], недоумевая, чем же живёт население Феодосии, да и всего Крыма.

В Севастополе мы сошли ненадолго, зашли к С.Н. Унковскому, нас встретила его жена и сообщила, что Сергей Николаевич уже 1/2 года сидит и только в последнее время ему разрешена передача[386]. Мы съездили на поклон Балаклаве, купили банку консервов из дельфина, которые пытались есть, но неудачно. Лев острил по этому поводу: «Крым едет к социализму на упряжке из куриц и дельфинов».

В Одессе было еще холодно, ветрено и шёл снег. До отхода «Шмидта» мы провели несколько дней очень хорошо, были два раза в театре, причём, представление шло на украинской «мови», и мы помирали со смеху, слушая, как французский король из балета выражается на чистейшем полтавском наречии. В Одессе замечательное правило не выпускать зрителей раньше окончания действия. Мы не могли высидеть, и, чтобы уйти, Лев притворился, что его тошнит. Весь зал смотрел на нас больше, чем на сцену, нас всё-таки выпустили. Я привезла с собой либретто, написанные по-украински, и они доставили много удовольствия моим знакомым в Ленинграде. Были несколько раз в ресторанах, превратившихся в последнее время в кабаки, за исключением «Лондонской», где было пусто и страшно дорого, даже по сравнению с Ленинградом.

Последние дни перед отходом «Шмидта» из Одессы Льву уже пришлось работать, и я приходила к нему помогать. Я сидела в его каюте и переписывала на машинке разные бумажки, иногда путала, но это было ничего, Лев дорожил моим присутствием. Всё свободное время мы были неразлучны, никогда ни с одним человеком я не чувствовала

себя так близко. Мы очень сроднились за этот месяц, что провели на Черном море. Наконец был назначен день отхода, для меня достали билет на поезд на тот же день, и мы почти одновременно двинулись в разные стороны – я в Ленинград, а он – в Константинополь.

На этот раз мы не плакали, расставаясь, мы должны были встретиться через сорок дней во Владивостоке, и у нас была уверенность в том, что это будет, хотя на моем пути стояло много трудностей. Мне предстояло, на основании договора с Дальневосточной конторой Совфлота[387], получить подъемные и дорожные, сумму довольно большую, без которой я не могла бы двинуться в такой путь с ребёнком и багажом. Я уезжала из Одессы совсем простуженная и в поезде расхворалась еще больше.

Несколько дней в Ленинграде я пролежала с жаром – эти переходы от мороза к жаре и обратно повлияли на меня, очевидно. Потом я начала хлопоты сверху. Сначала ничего не удавалось, т. к. они не обязаны были расплачиваться за Дальневосточную контору. Начался обмен телеграммами, в результате которого я через две недели получила все суммы, на которые претендовала, и даже больше.

Между делом я была на открытии навигации 31 г[ода], бывшей 7-го мая, и надеялась в числе представителей встретить «Реснички». Так и случилось. Я увидела его недалеко от трибуны, но была разочарована – он меня, кажется, не узнал, хотя очень любезно раскланялся. Он уже забыл! А я нет, но мне удалось перекинуться с ним несколькими словами на катере, куда мы вместе попали, для осмотра порта.

Я была единственной женщиной на катере и смущалась. У меня было также приглашение на торжественный обед на борту «Феликса Дзержинского», но я уехала в концерт в филармонию, о чем потом очень сожалела.

Прошло несколько дней, выяснился день моего отъезда, были сделаны все приготовления, но у меня прошло всякое желание уезжать. Я думала, как мне увидеть еще это милое лицо, ставшее для меня значительным. Однажды я решилась найти его, хотя бы по телефону. На другой день

должен был быть концерт моей матери в Доме искусств[388], и я под этим предлогом хотела его повидать.

Я нашла все телефоны, звонила всюду, но нигде его не оказалось. Я уже собралась ложиться спать, как вдруг с черного хода позвонили, и моя мать говорила с кем-то неприятным резким тоном. Я вскочила. Мне послышался знакомый акцент. Я побежала узнать, в чем дело – оказалось, что это Христиан, желает меня навестить в двенадцатом часу ночи. Я понимаю, почему моя мать была так возмущена: позже восьми вечера неудобно ходить в гости, по ее представлениям. В такой час можно прийти только в бардак. Я накинула пальто и вышла проводить Христиана, чтобы не обидеть отказом в приёме. Он только что был у Нат. Ал., и это она дала ему эту блестящую идею – пойти ко мне так поздно.

Мы шли вокруг Таврического сада, он был немного пьян и возбужден, вероятно, отказами Нат. Ал., и хотел, чтобы я поехала к нему сейчас же. Мне было очень грустно, потому что я его не интересовала сама по себе. Мне была совершенно ясна картина его мыслей и представлений. В них не было ничего для меня лестного. Но я сказала ему, что завтра, если он хочет, мы можем провести вечер вместе, начав с концерта моей матери. Он уехал в трамвае, а я тихонько побрела домой, еще чувствуя на губах его нетерпеливые поцелуи, относившиеся не ко мне, а так, вообще, на сегодня – к любой проститутке с улицы. Я почти не спала, волновалась и горевала, но не могла с собой справиться.

Вечером мы встретились на углу Невского и пошли на концерт, хотя моя мать категорически отказалась дать для него билет. Я достала билет сама, и мы слушали испанскую музыку, которую я очень любила[389]. Потом мы вышли и не знали, что делать. Мы прошлись пешком до его квартиры на Английской набережной[390] и вошли. Довольно вяло, видимо, удовлетворившись накануне, он взял меня при свете свеч. Но все-таки, несмотря на его явную неохоту быть более нежным или дать себе труд создать мне хоть иллюзию увлечения, я испытала настоящее блаженство, целуя при свете свеч его худощавые плечи и милые глаза,

уже принесшие мне столько огорчений. Я, сжавшись на диване, слышала, как он шуршал презервативом, как он поставил греться воду, для того, чтобы «после» вымыться. Все это было оскорбительным, никогда не испытанным, но я нашла в себе достаточно любви, чтобы вынести. Потом я лежала рядом с ним, притаившись, чтобы не разбудить его, и не спала всю ночь. Я была в ужасе от всего, что со мной произошло, но я уже любила этого сухого, методического человека, бессознательно оскорблявшего меня всем своим поведением.

Мой отъезд должен был состояться 17-го мая, билеты уже были, запасы на дорогу и первое время нам покупались ежедневно. Вечером 16-го я снова встретилась с Христианом, мне было необходимо сказать ему о себе и о моем чувстве к нему; я готова была остаться, не уехать, хотя обещание связывало меня – что я привезла бы с собой моему мужу? Но если даже я уеду, мне необходимо освободиться от этой тяжести, давившей меня невыносимо.

Мы встретились опять на углу Литейного и Невского, и пошли к Лёле Масловской[391], которую я предупредила по телефону. Ее муж[392] был дома и сидел молча в кресле, очень редко вставляя слово, мы болтали, Лёле, видимо, понравился Христиан, и они нашли много общих тем. Потом мы втроем пошли гулять на набережную, и зашли к нему ненадолго. Говорили о литературе и об искусстве, об архитектуре и истории. Все эти темы были близки нам всем, мы были почти достойными друг друга собеседниками. Мы проводили Лелю до дома, зайдя предварительно в какой-то ресторанчик, чтобы купить на ужин ее мужу какой-то рыбы (магазины были уже закрыты).

Потом мы оказались вдвоем с Христианом, и я сообщила ему, что влюблена в него, как девчонка. В первый раз в жизни он слышал подобное признание и не знал, как на него реагировать. Он никак не мог принять этого всерьез, но все же хотел выслушать все, что я могу ему сказать. По дороге к нему на извозчике я в нескольких словах рассказала ему свою биографию, потом, когда мы сидели у него, я со слезами и большим волненьем объяснила ему, когда

и почему я так быстро и так сильно увлеклась им. Он был очень серьёзен и внимателен.

Я почувствовала большое облегчение оттого, что могла высказаться, я ничего не ждала, я ничего не хотела, только побыть с ним несколько часов и проститься, быть может, навсегда. Я так остро переживала этот момент, так благодарна была ему за эти проблески человеческого отношения, которых никак не ожидала. Я вложила всю горячность своего увлечения в ласки, которыми осыпала его, и он сам был теперь ближе, нежнее и человечнее. Это было потрясающее счастье, после которого можно было умереть без сожаления или пережить долгую и скучную жизнь, согреваясь одним воспоминанием о нем. Я спала урывками, просыпаясь с блаженной улыбкой; видела его во сне, как будто мы не расставались.

За эту ночь я прожила целый век непрерывной радости. Утром я чувствовала, что мы были уже друзьями. Еще не было окончательно сломлено его недоверие, слишком необычным и стремительным показалось западному человеку моё поведение, но все же он был, несомненно, хорошо ко мне расположен. Мы встали рано, потому что его комнаты помещались за канцелярией, через которую надо было проходить, и в 9 ч[асов] там появлялись посторонние.

Мы вышли на набережную в чудесное голубое утро. Мне надо было еще сделать несколько покупок в дорогу, и мы вместе пошли на рынок, потом сидели в Екатерининском сквере, греясь на солнце, в ожидании, пока откроются магазины. Мы говорили о многом, не помню уже о чем, но все приобретало для меня какое-то особое значение. Наконец он довел меня до трамвая – надо было все-таки явиться домой – и поцеловал мне руку на прощанье. Я завещала ему встречаться с Еленой Владимировной (Лелей), и он обещал это исполнить.

На вокзал пришла меня провожать Леля, и я просила ее поберечь мое сокровище[393]. Она обещала. Мы остались в купе с Асей, который поедал шоколад, принесённый Лелей. Он во второй раз уже отправлялся в такое дальнее путешествие, теперь уже более сознательно – ему было

7 с половиной лет. В Москве, где надо было пересаживаться, нас ожидал ряд трудностей. Мне удалось получить все же плацкарту по чужой броне, оставшейся неиспользованной, за 5 минут до отхода поезда.

В вагоне, куда мы прибежали вслед за мчавшимися галопом носильщиками, была странная компания: краснофлотец и красный командир с гармоникой. В других отделениях была самая разношерстная публика. Но наши попутчики оказались очень милы, в большинстве, возились с Асей, делали множество мелких услуг, однако при первой возможности мы перебралась в отдельное двухместное купе, в котором и доехали. В дальнем поезде, идущем 12 суток, складывается довольно своеобразный быт. Не говоря о том, что в конце концов все становятся знакомыми, все делятся на группы по вкусам, образованию, положению. И здесь ходили друг к другу в гости, где играли в карты и выпивали, где просто болтали и пели хором, в редких случаях флиртовали. К концу пути Ася подружился накрепко с двумя молодыми инженерами, ехавшими в дальнюю экспедицию, и приводил их болтать ко мне. У нас, конечно, нашлись общие знакомые в Ленинграде. Без этого никак нельзя. Мир так тесен, что в определенных кругах все знают друг друга.

В Хабаровске, на последних сутках нашего пути села молодая дама[394] с десятилетним мальчиком. Ася с ним моментально подружился. Уже подъезжая к Владивостоку[395], я стояла в коридоре и смотрела из окна на дачные местности, в которых, быть может, мне предстояло жить. Хабаровская дама тоже вышла, и мы разговорились. Она сказала о себе, что едет к мужу, что он большой инженер и вечно в разъездах, что в Хабаровске у нее прекрасная квартира, что она очень скучает, не имея подходящей компании. Я в свою очередь сообщила ей, что не знаю, застану ли своего мужа на месте, что он должен, по моим расчетам, прийти на днях со своим «Шмидтом», что во Владивостоке у меня нет ни души знакомых и что квартира, обещанная по договору, еще только в проекте. Она предложила вскользь, что если мне понадобится, ее муж, постоянно бывающий во Владивостоке, сможет мне помочь. Мы подъ-

ехали к вокзалу. Нас никто не встретил. Ее встретил красивый солидный муж, к которому мальчик бросился на шею. Потом я потеряла их из виду.

Мы пошли сдавать вещи на хранение, там стояла большая очередь, поезд опоздал на сутки с лишним – в пути впереди нас было 3 крушения! Был девятый час, уже темнело, у нас не было даже в проекте ночлега. У багажной кассы мы встретили Асиных приятелей инженеров, бывших в том же положении, что и мы. Они очень мило предложили поискать вместе с нами. Сначала мы обошли все гостиницы, начиная с первоклассных и кончая страшными трущобами в темных кривых переулках. Навстречу нам попадались группы пьяных китайцев, распевавших песни. Накрапывал дождь, Ася просил есть и спать. В 11 часов мы пошли все вместе в «Золотой Рог» – самый шикарный во Владивостоке ресторан, и Ася в первый раз ужинал так поздно. Играла музыка, ему очень понравилось. Но надо было предпринимать что-нибудь.

Была уже ночь, дождик усиливался, а наше положение оставалось все то же. Наконец нашим приятелям удалось найти себе ночлег в каком-то общежитии, но мне туда устроиться было невозможно. Я решила пойти к начальнику Совторгфлота. Мы подняли его с постели, и он в большом затруднении все же позвонил к своему помощнику, чтобы тот принял нас у себя на сегодня. Мы были рады и этому.

Распрощавшись с нашими любезными попутчиками, мы пошли искать дом, в котором жил помощник начальника, в полной уверенности, что через 5 минут будем лежать в постели. Но оказалось, что найти Береговую улицу[396] не так просто. Ася изнемогал от усталости, он умолял меня присесть где-нибудь и заснуть. Мы плутали по непролазной грязи под проливным дождем в совершенно незнакомом городе, еле освещенном фонарями. Мы обращались к прохожим, но никто не мог нам объяснить, мы спрашивали милиционеров, но они нас даже не понимали. Десять раз прошли мы по тому же кварталу, заходя даже в дома, где видели свет, но никто не мог нам сказать, – где этот поте-

рявшийся дом, хотя адрес был написан на бумаге твердой рукой начальника Совторгфлота.

В отчаянии мы вышли опять на главную улицу. Через несколько минут нам встретился ночной извозчик-китаец, знавший, где это – Береговая, 44, и отвезший нас за 10 рублей не дальше одного квартала. Было два часа ночи, когда мы дозвонились к сонному и недовольному помощнику. Оказывается, к нему часто совали на ночь таких бездомных, как мы. Он провел нас в большую комнату, где кто-то спал за ситцевой занавеской, и указал на узкую железную кровать, где мы должны были провести остаток ночи. С утра я отправилась выяснить, когда придет «Шмидт» и каким образом нам получить квартиру. «Шмидт» ожидался 4-го июня, а было только 29 мая, квартиру нам обещали, но для этого надо было кого-то выселить, прямо на улицу, как это здесь делалось.

Мы бродили по городу, который при дневном освещении выглядел уже не так неприветливо. На первых же шагах мы встретили хабаровскую даму с мальчиком и мужем. Мы пошли вместе в кафе, я ей рассказала о своих злоключениях, и она немедленно решила, что мы поселимся вместе с ними в гостинице. Она была так проста и доброжелательна, что мне не трудно было согласиться, хотя я прекрасно понимала, что она давно не видела своего мужа, которого обожала, и я их стесню. Но я не высказывала этих соображений. Мы пошли вместе с ними в «Золотой Рог». Принесли еще одну кровать, и мы с Асей расположились, как дома. Вера Григорьевна, как ее звали, была женщина в полном смысле этого слова, мы с ней легко разговорились, и она почувствовала ко мне такое доверие, что через несколько дней сообщила мне один большой секрет, которого никто не знал ни в Москве, ни в Хабаровске.

Мы проводили вместе дни и вечера, мальчиков отправляли гулять вдвоем, а сами болтали за шитьем, позже, когда возвращался ее муж, мы все вместе шли обедать. Вечером укладывали мальчиков вместе и уходили втроем гулять, если позволяла погода, потом ужинали и возвращались в номер. Укладывались спать в темноте, потому что не

было ширмы, я старалась возможно скорее заснуть, чтобы не мешать этим влюбленным супругам.

Между тем я каждый день ходила торопить из-за своей квартиры, но всё подвигалось очень медленно, благодаря целому сцеплению обстоятельств. Наш переезд со дня на день откладывался. Но как-то в кафе я встретила одного приятеля Льва, с которым познакомилась на Черном море. Мы вышли вместе с ним, он хотел проводить меня в контору, навести справки о «Шмидте». Вдруг нас кто-то окликнул: «Алло!» И мы очутились лицом к лицу с Львом А., который уже 3 часа ходил по городу, разыскивая меня.

Мы пошли в гостиницу, где я его познакомила с Полянскими, мы поручили Асю их попечению, а сами отправились на т[епло]х[од]. Я там и осталась. В первый же вечер мы поссорились очень крепко. Я упрекала его за то, что он затащил меня в такую даль, хотя эта поездка была моей выдумкой. Утром я ушла злая-презлая и решила, что немедленно развожусь и уезжаю. Вечером Полянские пошли в театр, и я осталась одна стеречь детей. Явился Лев А., и ему удалось уговорить меня остаться еще на некоторое время. Мы помирились и пошли на п[аро]х[од] в довольно мирном настроении. Его появление в конторе Совторгфлота нисколько не ускорило наш переезд, так что мне пришлось самой еще раз явиться и нажать на начальника порта.

День нашего переезда совпал с днем отъезда Полянских в Хабаровск. Я распрощалась с Верой Григорьевной, надарив ей всяких игрушек, мы сговорились провести лето где-нибудь вместе на даче, обменялись адресами и простились. Секрет, который она мне сообщила, заключался в том, что Вовочка не был сыном П[олянского], хотя сам этого не знал, он был ребенком от ее первого брака и был только усыновлен. Но они так любили друг друга, как редко любят кровные родственники.

Наш новый «особняк» состоял из одной комнаты с дверью на улицу[397]. Он был на краю города, хотя всего в пяти минутах ходьбы от центра, и смотрел своим окном во всю стену на зеленую сопку, на которой паслись козы и коровы. В нем была плита с духовкой, а в качестве мебли-

ровки – деревянные козлы вместо кровати, стол и скамейка. Асю устроили на чемоданах. На следующий день я отправилась в рынок, купила пару табуреток, ведра, тазы, рукомойник и начала устраиваться. Я сама носила воду из колодца, находившегося довольно далеко, потом я нашла бабу, которая приходила через несколько дней мыть пол и брала стирку.

Позже, у соседей-японцев, уезжавших на родину, я купила ширму, этажерку и несколько полок. Постепенно удалось устроиться довольно уютно, но шли дожди, и стала протекать крыша. Дверь разбухла и стала плохо закрываться, сырость была такая, что зацвели мои платья. Мы топили каждый день, я сама готовила, и нам очень пригодились консервы и крупы, привезенные из Ленинграда.

Рынок во Владивостоке весь в руках китайцев. Если что-нибудь появляется в «кооперативах», они моментально скупают все без остатка, а потом, когда этого товара нет в городе, перепродают на рынке в 10 раз дороже. Такая необходимая вещь как керосин, стоившая в Ленинграде 7 копеек за литр, продавалась по три рубля за бутылку, и то надо было целый день потратить, чтобы найти. Карточек у нас не было, и мы покупали хлеб по 7 рублей за форму весом 2 кило. Мяса не было вовсе, зато можно было получить много крабов, рыбы (камбалы), трепангов, медуз и прочей дряни. Хорошо, что было много молока и достаточно зелени. Кофе, какао, сахар у нас были, и я устраивала довольно разнообразные завтраки. Обедать мы ходили в первое время в «Золотой Рог», ужинали в кафе.

Стояли бесконечно серые погоды, и каждый вечер наша сопка обволакивалась туманом. «Шмидт» стал в ремонт, готовясь в колымский рейс с зимовкой, и Лев перешел на другое судно, делавшее рейсы на Сахалин. [Судно] старой невской постройки, совершенно не приспособленное для перевозки тысячи палубных пассажиров, без спасательных средств и непригодное для тяжеловесных единиц груза. Все эти правила были нарушены одним махом: везли тысячу рабочих для японской нефтяной Концессии[398], две недели проживших под открытым небом табором у вокзала. Кроме того,

[везли] большие части машин, огромные бочки с дегтем, баллоны с кислородом и солому для корма скота на Сахалине.

Я присутствовала при погрузках и посадке. Творилось нечто подобное постройке вавилонской башни. Грузчики-китайцы держались совершенно независимо. Чуть что, они бросали работу и уходили. Если их ругали, они говорили: «зювинизма» (chauvinisme) и шли жаловаться. За неумение с ними обращаться были сняты с работы много старых заслуженных капитанов. При посадке люди с тюками давили друг друга, сталкивали с набережной в воду, стремясь занять лучшие места на палубе. Там же поставили, в довершение ко всему, несколько коров, принадлежавших сахалинскому ГПУ. Мой муж, впервые попавший в такую обстановку, привыкший плавать до сих пор на чинных лайнерах Ленинград–Лондон, был очень смущен, но все же держался на высоте положения 2-го помощника. Не дожидаясь конца погрузки, я с ним попрощалась и побрела под дождем домой – Ася спал один.

Без Льва наш образ жизни несколько изменился. Мы уже не ходили по ресторанам и кафе, я приспособилась готовить все дома, получила карточки и по ним наш месячный паёк. Наша жизнь стала размереннее и проще, мы много гуляли, загорали, когда удавалось, и я энергично настаивала на предоставлении нам более удобной квартиры. Управляющий домами СТФ'а[399] жил в одном с нами дворе, и я забегала к нему часто, чтобы принудить его к действию. Оставаться дольше в той же комнате становилось неприятно. Этот домик много раз до нас обкрадывали, и мы боялись далеко уходить, потому что дверь плохо закрывалась.

Однажды, зачитавшись при свече, я долго не спала. Свеча уже погасла. И я лежала и смотрела в окно. Одну ставню у нас украли, и часть окна была не защищена с улицы. В сером рассвете я увидела чью-то голову, заглядывавшую в комнату. Потом тень скользнула к двери, и кто-то попробовал ее открыть. Она подалась, потому что не была закрыта, ее можно было закрывать только снаружи, колотя ногами и камнями, пока она не станет на место, чтобы повернуть ключ. Внутренняя стеклянная дверь была за-

крыта только на крючок, который вылетал при первом сотрясении. Я сообразила все это, и мне ничего не оставалось, как встать и пойти навстречу ночным гостям. Я взяла маленький цилиндрический фонарик и пошла к двери. В это время наружная уже была открыта настежь, и две фигуры стояли на пороге. Мое появление с блестящим предметом в руках и мой голос: «Эй, Коля, Петя, Миша, вставайте, разбойники пришли!» – заставил их удирать через сопку как зайцев.

Наутро я потребовала немедленного переезда в другое помещение. Прислали лошадь, я погрузила свое имущество, получила ордер на комнату в другом совторгфлотском доме, и мы двинулись к новой неизвестности. Это была большая комната во 2-м этаже, в квартире, где жили два молодых инженера, никогда не бывавших дома, с просторной кухней, кладовой, ванной. Когда топилась плита, вода нагревалась, и можно было каждый день купаться. К инженерам приходила убирать старушка, которую я приспособила помогать и мне.

В новой комнате с видом на весь залив Золотой Рог, откуда я могла видеть все приходы и отходы п[аро]х[од]ов[400], я устроилась очень уютно, с той мебелью, которую имела. По утрам аккуратно приходили молочница и зеленщик, и мне очень редко приходилось ходить в рынок, только возобновлять запас яиц или искать ягоды, которых появилось довольно много. Остальное время, благодаря улучшившейся погоде, мы проводили на горе, с которой был виден весь город и порт, где мы ходили голышом, или на берегу моря, тоже бывшего в нескольких шагах от дома.

Мы жили теперь на Эггершельде, части города, мысом вдававшейся в море в виде холмистой косы[401]. Шириной в две улицы, эта часть была прежде сильно укреплена. На самых высоких точках были старые бастионы и погреба. Там мы проводили полдня на солнце, Ася строил из камней крепости, а я читала, лежа на траве, иногда глядя на горизонт, где показывались беспрестанно дымки приближавшихся п[аро]х[од]ов. Весь порт был как на ладони, и я могла изучить передвижение судов, все приёмы швартовки

и отхода. Иногда мы наряжались (весь день мы ходили приблизительно голышом), отправлялись в город на почту, за письмами и телеграммами. Я уже давно обменивалась «молниями» с Верой Григорьевной, желая выехать с ней на дачу, но и «молнии» здесь сверкали так медленно, что прошло 3 недели с отъезда Льва, и он должен был скоро вернуться, а наша дачная встреча не состоялась.

Стали приходить телеграммы от Льва из Охи (Сахалин), извещавшие о его затруднительном положении в смысле невозможности выбраться. Я недоумевала и не знала что делать, когда он, наконец, приедет. Мне начал надоедать мой затворнический образ жизни. Общество одного Аси – это хорошо, но не вечно же. Полтора месяца полнейшего одиночества даже мне, никогда не искавшей общества, показались целой вечностью.

Однажды только к нам зашел японец, у которого я покупала ширмы, с большим букетом цветов «со значением» – он уезжал на следующий день в Японию и пришёл проститься. Он очень нравился Асе, который называл его «Ёмурочка», сокращая Иемура-сан. Мы обещали пойти на пристань проводить его. Наутро мы присутствовали при отходе большого японского парохода и при прощании уезжающих и остающихся японцев. Это было похоже на театр, Аська веселился до неприличия, я, впрочем, тоже.

Еще одним развлекательным эпизодом была встреча в портовом районе. Я уложила Аську и зашла в кафе поесть мороженого; было очень жарко и душно. Я возвращалась не спеша домой, не глядя по сторонам и не слушая замечаний, несшихся мне навстречу и вслед (я научилась их не замечать, особенно здесь). Но вдруг какой-то человек загородил мне дорогу. Не глядя на него, я ступила в сторону, он опять оказался передо мной. Я подняла глаза и увидела загорелого парня в светлом костюме, глядевшего прямо на меня. Я хотела пройти дальше, но он явно не желал меня пропустить. Меня всегда злили такие шутки, но тут в лице этого нахала мне показалось что-то, заставившее меня улыбнуться.

Это дало ему возможность заговорить, он пошел рядом и начал городить разный вздор о моей внешности, о том,

что целый день искал случая ко мне подойти: на почте, на вокзале, в порту и т. д. Но что мне было легко прочесть по его лицу и по глазам, жадно оглядывавшим меня в темной улице, он был первый день на берегу после долгого рейса. Я ему сказала об этом. Он возразил, что я очень наблюдательна, но что в данном случае его восхищение относится именно ко мне. Я пожала плечами, мне нечего было отвечать на эти преувеличенные комплименты, и просила оставить меня в покое. Мы уже свернули в ту улицу, где был наш дом, и я вовсе не хотела давать пищу местным кумушкам.

Но мой провожатый не выражал ни малейшего желания оставить меня одну, и мне пришлось свернуть в боковую улицу, чтобы не вести его к своему дому. К тому же кое-что из его болтовни и в нем самом забавляло меня, и я вовсе не собиралась звать на помощь милиционера, как делала в подобных случаях всегда в Ленинграде. Мы шли по каким-то закоулкам и болтали; я уже прошла мимо своего дома по параллельной улице и теперь возвращалась к центру уже по третьей. Я устала от этой непредвиденной маршировки и, чтобы положить ей конец, пошла на хитрость. Я согласилась зайти опять в кафе и поесть мороженого, но с условием, что потом он оставит меня в покое.

Я солгала, что дома меня ждет муж и, вероятно, беспокоится моим поздним возвращением. Он все же добивался моего согласия увидеться завтра днем, и я, чтобы поиздеваться, дала ему адрес известного публичного дома в китайском квартале, который случайно подслушала на улице у пьяных матросов, шедших однажды впереди меня и обсуждавших различные качества тамошних «девочек». Я встала и, кивнув разочарованному франту, почти бегом бросилась домой. Через пару дней я встретила его днем, идя с Асей по главной улице, и сделала вид, что не заметила. А потом приехал Лев, и, ходя с ним, я уже была уверена, что он ко мне не подойдёт, хотя и стремится.

Лев появился неожиданно, когда перестала его ждать. Мне позвонили по телефону из старого дома и сообщили о его приезде: «Ждите гостей», – сказала дворничиха. Явился Лев, а за ним его телеграммы, опоздавшие недели на две.

Он остался очень доволен новой комнатой и моим стараньем сделать ее возможно уютнее при отсутствии средств.

Первые дни все было очень мило, он сделал Аське парусную лодку по всем правилам: с рулем и полотняными парусами, с жестяным килем, и Аська торчал целые дни на Амурском заливе и пускал свой парусник, собирая вокруг себя толпы ребятишек, сгоравших от зависти. Иногда мы ездили в дачную местность на 19-ю версту, где был прекрасный пляж, лодки и яхты. Мы грелись на солнце, купались, я пыталась учить Аську плавать, но он трусил ужасно и орал, совершенно не слушая моих указаний. Мне становилось стыдно за моего сына за такое позорное поведение, и я бросала свои попытки. Мы отправлялись в лодке по Амурскому заливу, и Аська пускал свой парусник так далеко, что он исчезал из виду, тогда мы налегали на весла и догоняли его. Потом вместе шли обедать в ресторанчик на пляже, где были прохладные веранды и музыка.

Но так было первые дни. Потом Лев стал заботиться свыше меры о служебных делах, поздно приходил домой, часами рассказывал о своих планах, которых я не понимала или которым не сочувствовала. Я утомлялась и сердилась и заявила наконец, что буду собираться к отъезду. Он принял это к сведению и со своей стороны стал что-то предпринимать в этом направлении. Временно он перевелся на пароход, стоявший в ремонте, на который не обязательно было ходить каждый день, и пользовался свободным временем для изыскания возможностей уехать на законном основании. Я продавала свои летние платья и ненужные тазы и рукомойники через прислугу, а он добился, не знаю, каким чудом назначения в командировку в Ленинград за пароходом для Владивостока.

Сотни людей приезжают ежемесячно во Владивосток, стремятся выехать, мучаются с квартирами, но уезжает очень небольшой процент. Когда я сказала нашим инженерам в квартире, что собираюсь уезжать, они решили, что я шучу. Сами они уже были здесь три года и потеряли всякую надежду на отъезд. Между тем выяснилось, что мы поедем вместе с капитаном и механиком, и Лев уже собирался

брать билеты и строил планы этого совместного путешествия. Я ему категорически заявила, что не желаю быть свидетельницей их попоек в вагоне-ресторане, и потребовала, чтобы мы ехали одни, без них. Лев ответил неопределенно и ушел, разозлив меня.

Он дежурил сутки на своем пароходе. А я в тот же вечер сложила чемоданы, заказала носильщику взять билеты до Ленинграда и в четыре часа ночи, в сопровождении сонного Аськи и двух носильщиков-китайцев, двинулась из дома, оставив Льву записку, и уехала, не повидав его, злая на все его поведение последних дней, на эту неопределённость и нерешительность, предоставив ему свободу ехать или оставаться.

Была невыносимая жара. Целый день в вагоне трудно было шевелиться. Так продолжалось до Байкала. Когда мы ехали на Восток в мае, озеро было все во льду, теперь в августе там уже были заморозки. У нас были довольно приятные спутники: какой-то переутомленный инженер, старый путейский профессор и женщина-партийка, заведовавшая столовой в Хабаровске.

В Красноярске я вышла погулять по платформе и, когда возвращалась, встретила у своего вагона рассыльную с телеграфа, которая спросила меня, не знаю ли я в нашем вагоне Ржевскую. Я ответила, что это я и есть, и она передала мне телеграмму от Льва, в которой он умолял сделать остановку и продолжать путь вместе: он ехал следующим поездом. Ему хорошо было писать: сделай остановку, но мне с вещами и ребенком это казалось довольно трудным. Город от вокзала далеко, гостиницы, я знала, переполнены, а ночевать на вокзале мне совсем не улыбалось.

Я вошла в вагон, не зная, что делать: до отхода оставалось 10 минут, вещи были разбросаны, Ася спал. В это время в купе вошел какой-то человек и начал устраиваться на свободном месте. Я рассказываю своим попутчикам о создавшемся положении, вдруг вновь прибывший вмешивается и говорит: «Если хотите остаться, оставайтесь – там на платформе моя жена, она приехала меня проводить. Она – врач, у нее есть постоянный номер в гостинице, сегодня она

не будет ночевать в городе, а поедет на дачу – комната свободна. Кроме того, у вокзала стоит извозчик, который может вас отвезти, хотите?» Я побежала познакомиться с его женой, потом наскоро запихала вещи в чемоданы, мне помогли их вытащить на платформу, в последний момент выволокла сонного Аську, который упирался и не желал выходить, не понимая, зачем поезд уходит, а мы остаемся. Забыла только японские туфли под диваном, какая досада!

Мы поехали через пыльный город, вдоль бесконечных дощатых заборов, почерневших от времени, и крошечных домишек с одним окном на улицу. В гостинице было прохладно и тихо. Я уложила сына, помылась основательно, переоделась и пошла на телеграф известить Льва о нашей остановке. Утром я ходила с докторшей на базар, покупала для нее банки для варенья (она оказалась украинкой и страстной хозяйкой), а для себя помидоры и огурцы, чтобы делать салат в дороге. Пришлось запастись еще коекакой провизией, имея в виду Льва, которого надо было кормить (мы ехали в скором, в котором не было вагона-ресторана). Освежившись и отдохнув, к вечеру мы отблагодарили нашу хозяйку и отправились на вокзал поджидать поезд, который здорово опаздывал.

Наконец появился поезд и Лев, выскочивший прямо на меня с площадки. Он благодарил и сиял, и я была рада, что подождала его. Всю вторую половину дороги он был исключительно внимателен и мил, стараясь искупить свое поведение последних дней во Владивостоке. На станции Буй[402] нам пришлось пересаживаться и провести много неприятных часов на грязном вокзале. Хорошо еще, что было солнце, и мы могли греться в последний раз в этом году.

Наш приезд в Ленинград состоялся в очень грустный дождливый день. Прямо из поезда я перешла на извозчика с крытым верхом и дрожала от холода, пока тот трусил по мостовой до нашего дома (из упрямства я уложила пальто в чемодан и не хотела его доставать). Дома нас встретили возгласами: «Слава богу, явились, а мы думали, что вы застряли где-нибудь». Оказывается, Лев переполошил мою мать бесчисленными телеграммами с дороги, сначала ко

мне, вроде: «Киська, что ты наделала», – потом к ней и, наконец, последняя: «Едем вместе будем 27». Мать ничего не понимала и строила всевозможные предположения самого различного характера.

Лев заявил о своем намерении провести зиму на берегу и учиться. Я не возражала, но настаивала на перемене квартиры. То, что мы прожили 4 месяца в комнате, где помещался диван, два маленьких кресла и столик, было просто чудом, которое я объяснила нашей тогдашней взаимной привязанностью; теперь же оставаться на тех же семи метрах, да еще в квартире столь же тесной после раздела, где было две собаки, плохо воспитанные вдобавок, два вечно коптящих примуса перед дверью и неважные отношения с мамашей, – просто надо было быть врагом себе. Но поиски другой комнаты были очень затруднены тем обстоятельством, что ни Лев, ни я не имела собственной «жилплощади», а занимали излишек моей матери, имевшей на него право как научный работник.

До сих пор вопрос о комнате меня не занимал. До переезда к Борису у меня была своя комната, которой я лишилась потому, что ее пришлось отдать из-за моего долгого отсутствия. Когда я вернулась, комната была мне не нужна – сначала я была у мамы, потом мне поставили кушетку к Асе, я имела свои ящики для вещей, свои крючки в шкафу для платьев, и мне было этого довольно. Когда же по возвращении из Мурманска передо мной и Львом встал вопрос о помещении, нам обоим было все равно, где, какая комнатка, лишь бы быть вместе.

Превращение кухни в комнату состоялось без особых размышлений, просто заявили о своем желании убрать плиту, и правление дома очень скоро прислало печника, чтобы ее разобрать. Так мы очутились в нашей каютке, где всё было сделано мной самой. Теперь же, когда мне снова предстояло провести со Львом осень и зиму, я задумалась – прошел почти год с нашего знакомства, и мне казалось, что пора расширить рамки нашего быта. Все эти вопросы встали передо мной сразу же по приезде и нисколько не улучшили моего настроения.

Вечером, чтобы развлечься немного, мы пошли на «Крышу», выпить кофе и потанцевать. Первым, кого я увидела, был Х[ристиан] с хорошенькой дамой весьма знакомого вида и с толстым розовым иностранцем. Он подошёл ко мне и пригласил танцевать, не спросив Льва, чем удивил его и вызвал вопрос о причине такого поведения. Пришлось объяснить, что я дала согласие заранее и что я знаю этого человека, когда, откуда и т. д. Мне было ясно, что Марина Б.[403], его дама, занимает его чрезвычайно; очевидно, они связаны чем-то. Любовью? Возможно. Оба они так красивы, так подходят внешне друг другу.

Я уехала домой с очень грустным чувством. Я чувствовала себя ненужной, старой, отжившей. Я завидовала этой глупенькой грузинке, которой Х[ристиан] оказывал явные знаки внимания, быть может целовал теперь с бóльшим увлечением, чем некогда меня. Я все лето втайне еще надеялась, что застану моего друга свободным и смогу встречаться с ним иногда, так – посмотреть, поговорить, чисто по-дружески, но в первый же вечер по возвращении я оставила эту мысль. Мне было грустно, но почти не больно. Я сознавала, где мое настоящее место, на что я могу ещё рассчитывать, и кому я нужна. И то, что я нужна была Аське, Льву, казалось мне достаточным, чтобы жить. «Моя личная жизнь кончилась, если она была когда-нибудь», – думала я.

Я стала искать работу, чтобы улучшить наше хозяйство, мне предлагали разные должности и между прочим – кельнерши во вновь открывавшемся кафе при гостинице «Астория»[404]. Мне сказали, что известят, когда надо будет показаться дирекции, ожидаемой из Москвы, и я действительно получила открытку с приглашением явиться. Это были настоящие смотрины, какая-то ярмарка невест. Стадо хорошеньких девушек загнали сначала в общую ожидальню, а оттуда вызывали по одной в кабинет директора. Там сидела целая комиссия. Каждую расспрашивали о возрасте, прежней работе, интересовались, не боится ли она предстоящих трудностей. В результате этих смотрин было забраковано большинство. Оставшиеся 10–12 были действительно лучшими. Я оказалась среди них.

Я не относилась серьезно к возможности работать в кафе, но раз все так легко сложилось, решила попробовать. Эта работа привлекала меня только тем, что оставляла совершенно свободной голову, не будучи сама по себе слишком трудной физически[405]. Я думала, что если я могу дома по пять раз в день не только подавать, но и готовить и мыть посуду, то здесь мне придется только подавать, при этом в приятной обстановке и без забот о своем питании. Асю я устроила на пансион к соседям[406], Лев ел на службе. Но первый же день оказался настолько тяжел и неприятен, что, придя домой ночью, я плакала навзрыд, уткнувшись в плечо Льву, и он, ради которого я это все делала, уговаривал меня бросить «Асторию». Но первый день так и остался самым тяжелым. Нас собрали в 12, только в 3 произошла последняя примерка, а открытие состоялось в 8. Перед этим нам пришлось помогать заканчивать уборку зала, носить цветы по столикам, перетирать ножи и хрусталь. Наконец, заиграла музыка, и стали появляться первые посетители. В меню стояло множество вещей, и пока ресторан не был еще открыт, в кафе можно было есть с 9 утра до 3-х ночи.

Моими первыми клиентами были два немца, набравшие блинов и всякой всячины рублей на 50 и оставили на чай... двугривенный. Это было очень характерно и противно. Я сама никогда не оставляла меньше 15–20% счета, хотя бы шла потом домой пешком. Я считала, что это безобразно заставлять человека бегать по 20 раз по всяким пустякам, а потом дать ему двадцать копеек – лучше ничего. Несколько девушек ушли в первый вечер, одна даже в первые же часы. Она вывернула блюдо с котлетами кому-то на колени, но еще в кухне. И так расстроилась, что ушла. Я не делала ошибок более крупных, чем, например, положить вилку зубцами вниз или повернуть ручку кофейной чашки влево, а не вправо. Моя большая ресторанная практика помогла мне правильно выбирать рюмки для разных вин и красиво раскладывать гарнир на тарелке.

Наше ближайшее начальство – три сумасшедших старца, как я называла их первое время, оказались очень

милыми, особенно заведующий рестораном, барон В.[407], бывший наш посланник в Испании. Это был просто очаровательный человек, в которого я просто влюбилась, как и все, впрочем, несмотря на его 70 с лишним лет. Мое скромное знание языков[408] пригодилось первое время, когда бывало довольно много иностранцев. Особенно немецкий. Немцы просиживали целые вечера за пивом, иногда за одной бутылкой. Англичане и американцы бывали, преимущественно по утрам, и не желали есть яиц месячной давности, хотя других в «Астории» не было, и быть не могло – эти яйца, брак экспортных, совершали длинное путешествие, прежде чем достигли «Астории». «Мы заткнём за пояс “Европейскую”», – хвастались директора, в действительности хвастаться было нечем, а наоборот часто приходилось краснеть, когда гости отсылали назад в кухню недостаточно горячий кофе или прокисшие сливки.

Первые дни все были заняты каждый день и буквально валились с ног, потом переменили расписание – стали ходить через день в две смены по 14–17 часов, но это было не лучше. Без привычки к такой работе, целый день на ногах в нервном напряжении, чтобы все успеть, все заметить, я так уставала, что весь свой свободный день пролеживала. О хозяйстве не могло быть и речи. Льва, если он не приходил вечером пить кофе и ждать меня, чтобы отвести домой, я не видела вовсе. Много денег и много тортов – вот все, ради чего я работала. Ежедневные обиды – мои и других, – накоплялись. Большинство кельнерш были из хороших семей, по крайней мере первое время, ни одной профессионалки, поэтому роль прислуги они так и принимали как «роль» – 5 или 6 из них снимались в кино, и это облегчало им их самочувствие.

Каждый день бывали маленькие развлечения, приходили знакомые то к одним, то к другим. У меня каждый день был кто-нибудь. Одни удивлялись, увидев меня здесь, другие приходили специально, чтобы посмотреть, как я работаю. Все эти люди вызывали самые различные чувства своим появлением. Особенно неприятно было встречать людей с кинофабрики или моих партнеров из «Европей-

ской». Хороших знакомых, как Лелю Масловскую, приходившую с мужем[409], или друзей Льва я приветствовала как своих спасителей, особенно если было много народа, я их сажала за свой столик и ничего не давала целый вечер, если бывала занята. Приходил Анатолий, всегда навеселе, один раз, к сожалению, без меня, он так накачался, что заснул за столом, и когда его подняли – свалился во весь рост. Рассказывали, что его несли 6 официантов и кричали: «Да здравствует Красный флот!» (Анатолий был в форме.) Его отнесли в номер к знакомым инженерам, и он пришел в себя только на следующий день.

Была среди наших девушек пара очень неприятных, которых вскоре убрали, чтобы они не портили общего впечатления. Одна из них, еврейка, бывшая замужем за итальянцем и знавшая немного испанский и итальянский языки, была просто ужасна. Она держала в страхе всех своей наглостью и безобразными выходками. Она перехватывала заказы, заманивала от самых дверей посетителей, не смущаясь тем, что не справлялась с работой, хватала чужие подносы, чужую посуду и т. д. В довершение всего она уезжала из «Астории» с разными хахалями, каждый день с другим. С трудом и шумом удалось ее убрать. Она, видите ли, была комсомолкой и имела голос в месткоме, где чернила всех, направо и налево, лишь бы выгородить себя. Когда она всё-таки ушла с рёвом и угрозами, все вздохнули легче.

Не выходя из состояния утомления, я жила так, пока не заболела слегка гриппом, но пришлось вызвать врача «квартирной помощи» и лечь в постель. Женщина-врач оказалась чрезмерно добросовестной – держала меня две недели на бюллетене и в конце лечения дала направление в туберкулезный диспансер, которым я не воспользовалась. Я лежала несколько дней в мрачном настроении, одна, кашляя, как собака. Потом я встала, выходила, но мой суровый врач не отпускала меня на работу. Когда же я вышла впервые – там были новые лица, взамен нескольких прежних.

Одна из девушек, появившихся в мое отсутствие, была Лида Джунковская[410], институтка, на год меня старше, впо-

следствии танцовщица кордебалета Мариинского театра, карточки которой в большом количестве я нашла у Льва и которой он демонстративно начинал звонить, если мы ссорились. Я связала эти два понятия, только когда ее увидела, и поговорила с ней. Но теперь от хорошенькой Лидии Степановны осталась одна тень. Она мнила себя еще очень молодой, но все же мне трудно было смотреть на нее без жалости. Она была совершенно нервнобольна, вдобавок поминутно принималась плакать, нимало не стесняясь публики, то смеялась безудержно – типичная истеричка. Она вышла замуж за инженера, который был в это время под судом и получил 10 лет, а она 3 года условно за соучастие в растрате. Ее жалование целиком поступало в казну. Когда ее уволили «за непригодностью» (она действительно работала очень небрежно), она очутилась в очень тяжелом положении. На ее руках были дочь, одного возраста с Асей, и мать. Весь ее облик являл для меня нечто очень поучительное, как какие-нибудь год-два превращают цветущую, хорошенькую женщину в «козью смерть». Даже Лев, когда видел ее в «Астории», приходя за мной, не мог смотреть на нее, свой бывший объект большого внимания, без сожаления.

Потянулись дни, наполненные беготней, без мыслей, улыбок, записок, комплиментов и обидных минут. Однажды пришел Лев и Хр[истиан] с M-me Бергстр[ем][411], своей хозяйкой, Лев сел в одном конце, а Хр[истиан] поближе к буфету. M-me Б[ергстрем] спросила черный кофе. Х[ристиан] поздоровался со Львом за руку (я их познакомила у Лёли), а мне руки не подал. Конечно, я поняла, что он сделал это для меня, нам каждый день делались замечания за то, что наши знакомые, приходя, целуют нам ручки, но все же... Мне было нестерпимо обидно. Лев заметил мое волнение, но не понял причины. Он ушёл за свой столик и оттуда сигнализировал мне, чтобы я подошла, но я не могла показать ему мое расстроенное лицо, и он так и ушел, рассердившись. Я еле могла заставить себя подойти получить по счету от M-me Б[ергстрем].

Леля Масловская дала мне щекотливое поручение к Х[ристиану]: передать ему, чтобы он перестал у них

бывать – ее муж внезапно воспротивился этим посещениям[412], длившимся все лето. А тут вдруг он категорически запретил ей его принимать[413]. Наговорил ей кучу грубостей и не объяснил причин. Х[ристиан] за Лелей не ухаживал, и, по ее и по его утверждениям, они ездили в музеи, гуляли, катались, но ничего больше. Быть может, Андрей, уполномоченный А. К. О., имевший постоянные дела с Норвегией, не хотел, как официальное лицо, портить своих отношений с ГПУ[414], а, может быть, запоздалая ревность проснулась. Леля, как послушная жена, обещала ему послушаться, и мне было поручено сообщить об этом Х[ристиану].

Я вызвала его по телефону, и мы провели с ним полчаса в каком-то гнусном кафе на Невском, после чего он проводил меня домой по грязным улицам пешком. О Леле говорили немного, он обещал выполнить нехотя ее просьбу, но порывался поговорить с Андреем. Я ему отсоветовала. Мы заключили снова дружественный союз на новых основаниях. Я могла быть спокойна, наконец, любуясь его ресницами через столик при свете низкой лампы. В доказательство своего доверия он мне тут же показал письмо какой-то девушки и спросил совета, что ответить. Письмо, написанное довольно безграмотно и с явно шарлатанскими намерениями. Я ответила, что он найдёт более правильным по собственному чутью – я не бралась судить, не зная дела. Быть беспристрастной было бы невозможно.

Я пообещала Х[ристиану] на пути к дому, что мы как-нибудь вытащим Лелю в театр или ресторан и что он еще сможет с ней встречаться. Но при первой же попытке она показала полную беспомощность перед своим мужем. Мы сговорились вчетвером идти в Этнографический театр смотреть обряд русской крестьянской свадьбы. Посмотрели, померзли в холодном театре, потом решили пойти пить кофе на «Крышу». Нет! Ни за что, – моя Леля даже не пошла домой пешком, а поехала одну остановку в трамвае, так она боялась встретить на улице кого-нибудь.

Х[ристиан] проводил ее до трамвая, дальше она не позволила, а мы со Львом поднялись на «Крышу», взяв

с Х[ристиана] слово, что он придёт тоже. И тут составилась за нашим столиком странная компания: Лев, Х[ристиан], Саша Хрыпов и Анатолий, который тоже должен был быть в театре, но не смог. Я танцевала по очереди с ними и шепнула Х[ристиану]: какое это странное ощущение видеть всех зараз за одним столом. Впрочем, это со мной бывало и раньше довольно часто. Ощущение не из приятных.

Саша незадолго перед этим принес мне в «Асторию» поэму, посвященную мне, – «После смерти», и ждал ответа, я не помню, что я ему отвечала. Мне было не до него. Анатолий тут же на глазах напился, присаживаясь поминутно к столику каких-то моряков. Мы скоро ушли втроем с Х[ристианом]. Он проводил нас до Садовой и простился, выразив пожелание встречаться еще в том же составе. Анатолий писал Нат[алье] Александровне, лежавшей в это время в больнице с воспалением брюшины: «Наконец, удостоился видеть вашего Х...» Так и не состоялось больше встречи в «той же компании».

Много раз я уговаривала Лелю, соблазняла её безопасностью и удобством различных комбинаций, но она каждый раз уклонялась под разными предлогами. Это было очень досадно. Единственная приятельница, которой я доверяла в полной мере, – была чрезмерно осторожна[415].

Время приближалось к Новому году. «Астория» готовилась к грандиозной встрече, я готовилась к скромной встрече со Львом дома или в «Европейской». Я купила шампанского, фруктов, заказала торт в «Астории», припасла коньяку и лимонов для «Тодди»[416]. Но, оказалось, что под Новый год я буду занята. В первый раз в жизни я встречала Новый год не так, как хотела. Я открывала бутылки с шампанским и наливала в чужие бокалы. Правда, мои гости были очень милы, они пили за мое здоровье, но я стояла перед ними в белой блузке и кружевном передничке и ждала приказаний.

Я работала до 7 утра. Было невероятное количество народа, танцевать было невозможно, в 3-х залах «Астории» творилось что-то, не поддающееся описанию. Лев, как паинька, брал ванну, когда я позвонила домой, чтобы его

поздравить. А в 7 часов вечера я снова должна была быть на месте и работать до 3-х. Это меня, наконец, разозлило.

1-го был последний вечер, когда я вышла на работу[417]. Второе января 1932 года было последним днем моей фактической семейной жизни. С этого дня, вернее с этой ночи, когда я вернулась от своих московских приятелей, все полетело к черту. Слегка навеселе и в самом добродушном расположении духа я вернулась домой часов в 10 вечера. Заглянула в нашу комнату – темно и тихо. Я разделась в передней и вернулась в одной рубашке, чтобы сразу лечь спать – я наутро должна была дежурить. Навстречу поднимается Лев; я сразу поняла, что он пьян. Он выпил коньяк, бывший у нас про запас для «Тодди».

Слово за слово, мы договорились черт знает до чего. Он стал одеваться под градом мелких предметов, которые я в него запускала, не сходя с места. Потом вышел в переднюю надеть пальто и заявил заплетающимся языком, что уходит, совсем уходит. Меня разозлила его расплывшаяся физиономия, его пьяные слезы, весь этот вид беспозвоночного созданья. Я схватила его за галстук и швырнула к окну, он своей головой продавил стекло. Я разбила ему в кровь нос и глаз и вытолкала за дверь. Тяжело дыша и смеясь, я присела на диван и тут впервые почувствовала, что нам, в сущности, нечего вместе делать, что прожить целую жизнь нам вместе невозможно, а ждать, чтобы все шло своим порядком, т. е. все хуже и хуже – чего ради?

Лев вернулся с лестницы и заявил, что не в состоянии идти, свалился и тут же заснул. Я провозилась с ним целую ночь, его рвало, у него болела голова, я меняла ему компрессы, раздела и уложила. Через пару часов он пришел в себя и спросил, что случилось? К моему сожалению, он ничего не помнил с момента, как пошел одеваться в переднюю. Только распухший нос и громадный кровоподтёк на белке глаза говорили ему о том, что произошло. Потом он опять погрузился в беспамятство, и я сидела около него и на досуге подводила итоги нашей совместной жизни. Результатом этих размышлений было то, что я в первый раз не вышла на работу, известив по телефону, что отказываюсь

от службы по личным причинам. Один из «сумасшедших старцев», с которым я говорила, выразил глубокое сожаление по этому поводу.

С этой поры всё пошло по-новому. Я бросилась всеми помыслами к моему ребенку, который скучал, почти не видя меня. Занялась домом, покупкой дров, большой уборкой и т. д. Лев продолжал существовать тут же у меня под боком, но я перестала с ним считаться и не замечала его присутствия. Мои заботы о нём сводились к чашке кофе утром, ужину – вечером. Свои приходы и уходы я перестала согласовывать с его свободным временем. Когда он, провожая меня в переднюю, спрашивая, когда я вернусь, я пожимала плечами и отвечала: когда захочется.

Иногда не ночевала дома, а у Доры или Лёли. Тогда он висел на телефоне и вызванивал меня по всем знакомым. Понемногу мое пребывание дома становилось всё мучительнее. Слезы, упрёки, иногда насилие, в тех случаях, когда я против его желания стремилась уйти из дому. Раньше у меня не было от него секретов. Я говорила, куда иду, зачем, скоро ли вернусь. Теперь я замкнулась совершенно, чувствовала себя несчастной и бездомной. Около этого времени, встретив Х[ристиана], я согласилась снова встречаться с ним. Я чувствовала себя в силах быть ровной, спокойной, не доставлять ему неприятностей своей экспансивностью, которая его пугала.

Итак, на совершенно новых началах мы виделись снова. Теперь эти встречи в тихом шведском консульстве были моим отдыхом, моей радостью. Ради них я готова была на все. Я уходила из дому, несмотря на слёзные мольбы Льва, и чем дальше я отдалялась от дома, тем большей радостью переполнялась. Несколько раз мне случалось опаздывать или даже не попадать на свидания из-за преследований Льва. И я стала стараться уходить из дома до его возвращения. Х[ристиан], мысли о нем, и наши встречи заполнили постепенно все. Сначала мне казалось, что Х[ристиан] так же сух и холоден, как раньше, но постепенно от раза до раза он стал проявлять ко мне настоящую нежность и внимание совершенно другого порядка, более человечного.

Я была счастлива, как только это мыслимо, когда я была с ним, и в той же мере несчастна, когда была дома. Однажды мы были в театре[418] с Х[ристианом], фру Бергстрем и Ньюстремом[419], и я сказала об этом Льву, когда вернулась. Оказывается, он звонил к шведам, и горничная сообщила ему, что «после обеда “они” уехали в театр». Этот факт слежки окончательно убедил меня, что я должна молчать и хранить при себе свои желания и намерения, чтобы они не сделались предметом обсуждения у меня дома. Мне не хотелось прибегать ко лжи, но иногда я должна была сочинять истории, отвлекающие внимание – мне жаль было бедного мальчишку, он буквально терял рассудок.

Неделями мы не говорили, но каждый раз при случае я уговаривала его уйти в рейс, уехать и т. д. Все возможности плавать он намеренно упускал, и, казалось, издевался надо мной, высиживая дома вечера, замечая часы моих уходов и приходов. Против желания я уходила чаще, чем могла видеть Х[ристиана]. Я бывала у своих приятельниц, лишь бы не сидеть дома. Наши квартирные условия этого не позволяли. Хотя я давно перебралась спать в другую комнату, Лев вламывался всюду со своими разговорами, не стесняясь ни присутствием ребёнка, ни временем дня и ночи. Иногда он напивался пьян.

Однажды, вернувшись от Х[ристиана] около 12 ч[асов] ночи, я застала Льва, ожидающим меня у входной двери. Я хотела пройти мимо, но он втащил меня в свою комнату и начал душить самым серьезным образом. Он был пьян и раздражен, но мне не стоило большого труда оттолкнуть его ногой в живот, так что он отлетел к двери. Он кидался несколько раз, рыча и угрожая. Это было отвратительно и жалко. Потом с ним сделался истерический припадок, он валялся по полу, стучал ногами и кричал на весь дом. Моя мамаша в ужасе стояла под дверью и умоляла прекратить это безобразие. Постепенно он утих, и мне пришлось втащить его на диван и утешать, как маленького. Он был хуже маленького. Аська проснулся и заявил, что все слышит.

Только глубоко ночью я ушла спать, оставив Льва с компрессом на голове, плачущим и просящим прощения.

Я смеялась, правда, тогда, когда он душил меня и ругал последними словами, но теперь мне стало не по себе. Жить под одной крышей с человеком, ненормальным до такой степени, – это уже слишком: «C'est trop pour une personne»[420], как говорит моя мамаша. Но приходилось мириться и ещё и еще тянуть это пребывание в одной квартире, в смежных комнатах. По советским законам ни один человек не может быть выселен среди зимы на улицу. Жалость уживалась во мне с чувством самосохранения. Эта постоянная трепка нервов привела к тому, что начала всё настойчивее являться мысль об отъезде хотя бы временном, ради отдыха, чтобы самой не заразиться этим сумасшествием.

Еще в феврале Х[ристиан] совершенно теоретически интересовался возможностями путешествия по Кавказу. Постепенно эта идея созрела в план поехать вместе на время его отпуска, посмотреть все, что можно. Роль гида мне очень льстила в данном случае, и в этой поездке я усматривала столько возможностей для нашего сближения. А главное – не спешить, не расставаться столько времени. Это все, о чем я смела мечтать. Мне стало казаться, что Х[ристиан] действительно начинает любить меня. Мне было страшно об этом подумать, но все его поведение говорило об этом. Наши длинные беседы, наши вечера, когда мы просиживали часы и часы, не замечая времени, и бродили по городу, который нам обоим нравился. А когда я обнимала его, – это был действительно трепет живого сердца. Он говорил мне, что ожил, что он снова хочет жить и любить меня и работать, сделать что-нибудь для своей маленькой Норвегии. Я была горда и счастлива.

Бывали минуты, когда мне казалось, что возвращается пора безумия, что я снова слишком начинаю увлекаться, что я мучаю моего друга своей чрезмерной страстностью. Но я вовремя брала себя в руки, только сжимала зубы до скрипа, чтобы не проявить как-нибудь своих бурных настроений. Иногда во сне мне казалось, что я громко произношу его имя. Я просыпалась, обнимая подушку[421].

31/8 32

[1] В «*Энциклопедическом словаре*» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона дана довольно краткая справка о Вакселях (См.: *Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1891. Т. V. С. 389).

[2] *Шведскими моряками* являются *предки* Вакселей: Свен (Ксаверий) Лаврентьевич Ваксель (1701–1762) – выходец из Швеции, офицер русского флота. В 1726 г. был принят штурманом на службу на Балтийский флот. С февраля 1733 г. добровольно участвовал во Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции Беринга–Чирикова, открывшей северо-западную Америку и имевшей огромное значение в изучении пограничной части этого континента, а также Сибири. В труднейших условиях были составлены описания побережья Северного Ледовитого океана, собраны сведения о Японии и островах, лежащих между Камчаткой и Аляской. С. Ваксель был произведен в лейтенанты; исполнял обязанности штурмана. К концу 1733 г. прибыл с экспедицией в Тобольск, затем – в Енисейск и Якутск. Под командой А.И. Чирикова (1703–1748) принимал участие в переброске провианта и снаряжения экспедиции из Якутска в Охотск (1737–1741). Осенью 1740 г. старшим офицером на пакетботе «Св. апостол Петр» (почтовое легкое двухмачтовое судно под командой Витуса Беринга) перешел из Охотска в устье р. Большой (на юго-западе Камчатки), затем вокруг мыса Лопатка в Авачинскую губу, где был основан порт Петропавловск. После первой зимовки совершил плавание к северо-западным берегам Америки, во время которого были открыты Аляска, Алеутские и Командорские острова. Принял командование над экипажем «Св. апостол Петр» после смерти Беринга (во время зимовки в землянках от цинги умерло 19 человек). Благодаря распорядительности и настойчивости С. Вакселя из частей разобранного пакетбота было сооружено новое судно – гукор «Св. апостол Петр», на котором уцелевшая часть команды от о. Беринга благополучно добралась до Петропавловска. (*Гукор* – транспортное судно средней величины, на котором могло быть артиллерийское вооружение, до 12 небольших пушек, для самообороны.) После тяжелой зимовки летом 1743 г. С. Ваксель перешел в устье р. Большой (на Кам-

чатку вернулось 40 человек из 71), затем – в Охотск и Енисейск (оставался до 1748 г.). С 1745 г. принял командование над уцелевшими экипажами «Св. апостол Петр» и «Св. апостол Павел», поскольку *А.И. Чириков,* командовавший последним из пакетботов, отбыл в Петербург. *Свен Ваксель* был единственным участником экспедиции Беринга, прошедшим ее от начала до конца. Он вернулся в Петербург только в январе 1749 г., был произведен в капитаны 2-го ранга. Командовал различными кораблями на Балтийском море (с 1751), с конца 1755 г. – в чине капитана 1-го ранга. В 1760–1761 гг., командуя кораблем «Св. Дмитрий Ростовский», участвовал в Кольбергской экспедиции, направленной против Пруссии.

Сын С. Вакселя – Лоренц (Лаврентий) Ксавериевич Ваксель (1729/30–1781), капитан генерал-майорского ранга (1779), участник Второй Камчатской экспедиции. В 1740 г. мальчик был зачислен волонтером в экспедицию Беринга–Чирикова и проделал тот же маршрут, что и отец. В начале 1749 г. служил мичманом унтер-офицерского ранга, из Петербурга был направлен в Архангельск, в 1750 г. – в Кронштадт. Участвовал в Кольбергской операции в чине лейтенанта (1761); произведен в капитаны-лейтенанты (1762); плавал в Балтийском море (до 1768); командовал эскадрой в Азовском море в чине капитана 1-го ранга (1769). Участник Русско-турецкой войны (1768–1774). В 1777–1780 гг. был главным командиром Архангельского порта, организовал экспедицию П.И. Григоркова и Д.А. Доможирова для изучения и описания берегов и островов Белого моря. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (1774).

Два младших сына С. Вакселя – Василий и Савелий Савельевичи (Ксаверьевичи) Ваксели, подполковник и полковник русской армии (См.: Русские мореплаватели. М., 1953. С. 44–56, 481, 488; *Лурье В.М.* Морской биографический словарь. Деятели Российского флота XVIII века. СПб., 2005. С. 47–49). Внуки: Лаврентий Васильевич, Павел Васильевич, Василий Лаврентьевич, и вероятно, Савелий Лаврентьевич, Аполлон Савельевич (мичман флота, был холост), Лев Савельевич (ум. в 1836 г., инженер-полковник, также холост), Николай Савельевич (титулярный советник и кавалер). Правнуки: Лев Савельевич (ок. 1776–1816), естествоиспытатель, энтомолог, археолог, механик, писатель,

Лев Николаевич Ваксель (см. примеч. 9) и другие. *Беринг Витус* Ионссен (Иван Иванович, 1681–1741) – датчанин, капитан-командор русского флота, начальник Первой и Второй Камчатских экспедиций, открывший вместе с А.И. Чириковым северо-западную Америку и ряд островов в северной части Тихого океана.

[3] Свен Ваксель дал название *острову* Беринга (Тихий океан, Командорские о-ва), *открытого* датчанином в 1741 г. Именем С. Вакселя названы мысы в заливе Фаддея (море Лаптевых) и на Командорских островах. Согласно картам XVIII в. северо-западная часть Охотского моря называлась морем Вакселя (ныне Пенжинский залив). Автор рукописи «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга» (203 страницы на немецком языке, в переплете). Для составления этого «простого рассказа моряка», по определению С. Вакселя, он использовал собственные записи из журнала, а также материалы других офицеров экспедиции. Рукопись хранилась в «Царскосельском отделении Собственной Его Императорского Величества библиотеки» (время и место поступления не установлены). О существовании документа стало известно в 1891 г. в связи с использованием оригинальных цветных рисунков С. Вакселя для публикации сведений Академии наук об исчезающих видах морских животных. После ликвидации библиотеки в 1917 г. рукопись находилась в частных руках; в 1922 г. была использована Л.С. Бергом для работы «Открытие Камчатки и экспедиции Беринга». До 1938 г. след рукописи вновь исчез, пока она не была приобретена Государственной публичной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина по объявлению о ее продаже в букинистическом магазине. Впервые опубликована на русском языке в переводе Ю.И. Бронштейна (Л.; М., 1940). Первая публикация на датском языке – 1747 г., английский перевод – 1922 г. Рукопись характеризует С. Вакселя как образованного, мужественного и несколько тщеславного человека. О. Ваксель упоминает о пиратстве предка не без основания. Во время Второй Камчатской экспедиции, ставшей роковой для Беринга, он неоднократно нарушал инструкции Адмиралтейской коллегии и входил в разногласия с капитаном другого корабля той же экспедиции А.И. Чириковым, который не отклонялся от взятого курса. Неточность карт вызвала спровоцированные французом Л. Делилем де ла Кройером, кузеном известного профессора астрономии

Академии наук Ж.-Н. Делиля, поиски мифической «Земли Гамы», якобы находившейся южнее Камчатки, с ее сокровищами. Авантюра сплотила членов корабля, имевших иностранное происхождение, в том числе Беринга и Вакселя. Отсюда мнение о пиратских целях экспедиции.

[4] В 1778 г. дети С. Вакселя были *пожалованы в дворянское достоинство*, герб рода находится в первой части гербовника (см.: Общий гербовник дворянских родов Российской империи. Т. 1. СПб., 1992, репринтное издание. С. 11–112).

[5] *Тема многонационального родства* нашла отражение в стихотворении О. Ваксель «По жилам медленный струится “красный сок”...» (1921).

[6] *Абаза* – дворянский род. Родоначальник – молдавский боярин Илья Андреевич Абаза, принявший русское подданство в 1711 г. и получивший чин полковника. Абаза Аггей Васильевич (1782/3–1852) – крупный помещик, сахарозаводчик; тесть композитора А.Ф. Львова, прапрадед О. Ваксель со стороны отца. А.Ф. Львов-старший (см. примеч. 16) был женат на его дочери – Прасковье Аггеевне (1817–1883). Ее брат Эраст Аггеевич Абаза (ум. 1855) – автор популярного романса на стихи И.С. Тургенева «Утро туманное...».

[7] *Гагарин* Павел Павлович (1789–1872) – князь, государственный деятель, сенатор, член Государственного совета. Принадлежал к младшей ветви рода князей Гагариных, ведших свое происхождение от князей Стародубских – потомков Рюрика (XVII колено). Прапрадед О. Ваксель по линии матери. Его дочь княжна Елена Павловна – детская писательница, переводчик, художник, музыкант; занималась вопросами женского образования; хозяйка общественно-литературного салона в Иркутске, который посещали ссыльные декабристы и петрашевцы. Жена Александра Гавриловича Ротчева (1806–1873), видного общественного деятеля, переводчика, путешественника и публициста (автора «Воспоминаний русского путешественника в Вест-Индии, Калифорнии и Ост-Индии» и памфлета «Правда об Англии»), члена Русско-американской компании (1833/1834), коменданта форта Росс в Калифорнии (1835–1842), прадеда О. Ваксель со стороны матери. Русско-американская компания (1799–1867) – объединение предпринимателей, преследовав-

ших торговые интересы на северо-западном побережье Америки, Алеутских, Курильских и других островах; организация, созданная правительством для закрепления и расширения российских владений на Северо-Американском континенте и Дальнем Востоке. Ликвидирована после продажи американских владений Соединенным Штатам Америки.

[8] Дворянский род Львовых ведет свое начало от выходца из Литвы Марка Демидовича; внесен в часть VI родословной книги. (См. также: *Руммель В.В., Голубцов В.В.* Родословный сборник дворянских фамилий: В 2 т. Т. 1. СПб., 1886; Т. 2. СПб., 1887; *Львова А.П., Бочкарева И.А.* Род Львовых. Новоторжский родословец. Вып. I. Торжок, 2004).

[9] *Пирх фон*, Софья Карловна – *дочь барона* Карла фон Пирха и Софьи Платоновны Платоновой, незаконнорожденной дочери П.А. Зубова, близкого знакомого Ф.П. Львова. Жена Льва Николаевича Ваксeля (1811–1885), прадеда О. Ваксель со стороны отца, рисовальщика-карикатуриста, автора портретов И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, а также руководства для начинающих охотников (СПб., 1856). Зубов Платон Александрович (1767–1822) – генерал-адъютант, шеф Кавалергардского корпуса, инспектор артиллерии; почетный любитель Императорской академии художеств.

[10] *Ваксель Александр Львович* (1839–1907) – генерал, директор Петербургского женского воспитательного дома (Николаевского сиротского дома), действительный статский советник. Потомок С. Вакселя, *дед О. Ваксель* со стороны отца. А. Смольевский так характеризовал родственников своего прадеда: «Дедушкина родня вся была напичкана кастовыми предрассудками. Здесь признавались только военная служба, лошади, охота и любительские занятия искусством. Необходимость общения с людьми низшего круга или какой-нибудь теснимой национальности воспринималось как неизбежное зло. <...> Свысока дедушка относился и к своим двоюродным братьям по матери, детям Федора Алексеевича Львова» (см. примеч. 61) (Восп. А. С. Л. 35).

[11] *Ковно* – ныне Каунас (Литва), губернский город.

[12] Этот эпизод А. Смольевский записал со слов Ю.Ф. Львовой: «Однажды, помню, на Масленицу мы с дедушкой Альсан Санычем и еще с двумя друзьями заехали на розвальнях в гости к ста-

рикам Вакселям. Мы все четверо были наряжены в одинаковые, длинные белые балахоны с красными помпонами, спереди вместо пуговиц, в одинаковые белые шапочки и одинаковые черные лаковые туфли, у всех были одинаковые маски. Нас никак не могли узнать, мы веселились и интриговали. Дедушка дурачился и кокетничал со своим отцом, пищал, шаловливо играл ножкой. *Александр Львович за ним ухаживал.* Он так и не угадал, кто это; меня же, наконец, узнали по кольцам с изумрудами» (Восп. А. С. Л. 24).

[13] Многие семейные предания, в том числе и *скандальные анекдоты* о своем прадеде, А. Смольевский записал по рассказам бабушки во время долгой дороги в эвакуацию в Пермскую (Молотовскую) обл. в 1943 г.

[14] *Ваксель Прасковья Алексеевна* (1844 – ок. 1920) – дочь Алексея Федоровича Львова-старшего, *бабушка О. Ваксель* со стороны отца (см. примеч. 15).

[15] *Львов Алексей Федорович* (старший, 1798–1870) – скрипач-виртуоз, *композитор,* дирижер и общественный деятель, военный инженер. *Дед отчима О. Ваксель*, сын Ф.П. Львова (см. примеч. 40). Получил известность как автор музыки русского гимна «*Боже, Царя храни...*» (1833), а также многих оригинальных произведений для церкви («Иже херувимы», «Вечери Твоея тайныя»), концертов, опер («Ундина», поставлена в СПб. в 1848 г., возобновлена в 1864 г.). Крупнейший представитель отечественного скрипичного искусства первой половины XIX в. Хотя род службы не позволял ему выступать перед широкой аудиторией, руководил хором во время освящения Исаакиевского собора. Положил начало симфоническим концертам в столице; как скрипач прославился своим исполнением в салонах меценатов и на благотворительных вечерах. С 1835 г. в доме Львова, создавшего и возглавившего струнный квартет, проходили еженедельные квартетные собрания. Его игра вызвала восхищение немецких композиторов Ф. Мендельсона и Р. Шумана: «...если в России играют на скрипке так, как играет г. Львов, то нам надлежит ехать туда не их учить, а учиться» (цит. по: *Львова А.П., Бочкарева И.А.* Род Львовых // Новоторжский родословец. Торжок, 2004. С. 98). После несчастного случая – падения с лошади – начал быстро терять слух и последние два десятилетия жизни был лишен возможности заниматься музыкой. Похоронен в Лит-

ве в Пожайслисском (Пожайском) монастыре, там же похоронены его жена и зять. Скрипка А.Ф. Львова упомянута О.Э. Мандельштамом в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» (1935), посвященном О. Ваксель: «И *прадеда скрипкой гордился твой род...*». Уникальный инструмент работы *Маджини*, имевший мягкий звук, похожий на альт, достался в 1816 г. *прадеду О. Ваксель* от отца – Ф.П. Львова. Тот приобрел скрипку в 1804 г. после смерти ее последнего владельца музыканта-виртуоза Дж.М. Джарновики. Музыковед Б.А. Кац приводит рассказ А.Ф. Львова (старшего), опубликованный в 1884 г. П.И. Бартеневым в «Русском архиве». Упомянув историю замены шейки инструмента (деталь скрипки, названная в стихотворении), Алексей Фёдорович посетовал: «Что будет с моей несравненной скрипкой? Я играл на ней более 50 лет!» Издатель от себя добавил: «Эта драгоценность сохраняется у сына А.Ф. Львова, Фёдора Алексеевича» (см. примеч. 61) (цит. по: *Кац Б.А.* Музыкальные ключи к русской поэзии. СПб., 1997. С. 212–214). *Маджини* (Maqqini) Джованни Паоло (1580–1630/ 1632) – знаменитый итальянский мастер смычковых инструментов.

[16] В семье было шестеро детей: сыновья Александр и Аггей с разницей в возрасте в 10 лет и четыре дочери. «*Последний ребенок* Прасковьи Алексеевны Ваксель (р[ожд.] Львовой) – сын Аггей, избалованный, развращенный, значительно менее красивый, чем Александр Александрович, завидовавший старшему брату как наследнику, которому должен достаться майорат и, по рассказам Юлии Федоровны, старавшийся споить брата, запутать его в долгах, всячески скомпрометировать» (коммент. А. С.). *Майорат* – система наследования, при которой имущество переходит нераздельно к одному лицу по принципу старшинства.

[17] Львова Юлия Фёдоровна, Жужа (1873–1950) – *мать О. Ваксель*, дочь Ф.Н. Львова и Е.А. Ротчевой (см. примеч. 19, 18). Оба ее мужа были внуками композитора А.Ф. Львова: первый – по линии отца, другой – по линии матери, – и приходились друг другу двоюродными братьями. В дружеском кругу ее называли «la belle madame re-Lvoff» – «дважды Львова» (из поясн. А. С.).

[18] Львова (урожд. Ротчева) Елена Александровна (1833–1907) – музыкант, переводчик, старшая дочь А.Г. Ротчева и княжны Е.П. Гагариной (см. примеч. 7); *бабушка О. Ваксель со сто-*

роны матери. А.А. Смольевский записал со слов Ю.Ф. Львовой, что его прабабушку звали в семье Татушей – «...от слова “тушканчик”. Она была по тем временам хорошо образованна, знала языки, занималась переводами (после смерти своего мужа, Федора Николаевича, она этим зарабатывала), была неплохой музыкантшей, изящно вышивала, словом – вполне comme il faut, как и полагалось петербургской барышне, а в молодости – в Сибири – принимала участие в любительских спектаклях» (коммент. А. С.). У Ю.Ф. Львовой был старший брат Александр (род. 1863 или 1864 г.) – дядя О. Ваксель. «Он учился в каком-то кадетском корпусе, где воспитатели имели привычку бить воспитанников, чем попало, Ал[ександр] Фед[орович] получил несколько тяжелых ударов по спине, что привело к повреждению позвоночника, и родители вынуждены были забрать его из корпуса. Учился он неважно, имел очень плохой почерк, что сильно мешало ему в его чиновничьей карьере. Никакие специальные уроки по каллиграфии, по словам бабушки, не помогали. Вдобавок он еще и заикался, когда нервничал, был неловок, рассеян. <...> Бабушка еще рассказывала, что он был дважды женат; первая его жена умерла, от второй жены у него была дочка. Он тогда служил в Челябинске, куда забрал с собой и Татушу» (Восп. А. С. Л. 68).

[19] Львов Федор Николаевич (1823–1885) – племянник А.Ф. Львова (старшего), *дедушка О. Ваксель со стороны матери*. Окончил Кадетский корпус с занесением имени на мраморную доску, слушал лекции в Петербургском университете. В 1846 г. – репетитор по химии в Павловском кадетском корпусе. После 1866 г. – *секретарь Русского технического общества*. Его квартира находилась на верхнем этаже здания общества (наб. р. Фонтанки, 10) напротив Летнего сада. Похоронен на Волковском кладбище.

[20] Ю.Ф. Львовой в год смерти отца было *не 10*, а *12 лет*. «Юлия Федоровна родилась в Париже. На развитие ее художественных вкусов, интересов оказал влияние отец и Петр Аркадьевич Кочубей, которые увлекались этнографией и коллекционированием предметов старинного русского декоративного убранства. В 1883 г. Федор Николаевич был парализован, тогда Кочубеи взяли Юлию (ей было около десяти лет) к себе, следили за ее занятиями, оплачивали учителей, летом возили

в свое имение близ Полтавы, и Юлия Федоровна до конца дней пронесла в памяти картины украинского народного быта и любовь к народным песням» (цит. по: *Львова А.П., Бочкарева А.П.* Указ. соч. С. 169). *Кочубей Петр Аркадьевич* (1825–1892) – председатель Русского технического общества; его жена Варвара Алексеевна (урожд. Кушелева-Безбородко, 1829–1894) была крестной матерью Ю.Ф. Львовой. Имение Кочубеев в Полтавской губернии – Згуровка (Згуровский Ключ). «Бабушку водили гулять в Летний сад, где часто, совсем запросто прогуливался и Александр II, милостиво удостаивавший разговором ее отца; однажды видела она там Достоевского: растрепанный, с блуждающими глазами, он шел мимо, одежда его была в беспорядке» (Восп. А. С. Л. 70). *Достоевский Федор Михайлович* (1821–1881) – писатель.

[21] В 1844–1845 гг. у чиновника и литератора М.В. Буташевича-*Петрашевского* (1821–1866) на еженедельные «пятницы» собирались офицеры, чиновники, студенты, художники, литераторы. На собраниях обсуждались различные философские учения; предполагалось организовать подпольную типографию для пропаганды социалистических идей. В результате слежки, организованной чиновником особых поручений Министерства внутренних дел И.П. Липранди, 23 апреля 1849 г. все участники собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека. После обряда приготовления к смертной казни 22 декабря 1849 г. и отмены ее Ф.Н. Львов в числе других петрашевцев был *сослан в Сибирь*. В 1856 г. получил амнистию, оставаясь ссыльнопоселенцем, печатал статьи в сибирских газетах, писал для герценовского «Колокола». Пробыл в ссылке *не 10*, а *12 лет*. В начале 1860-х годов после восстановления в правах служил в Министерстве финансов. *Липранди Иван Петрович* (1790–1880) – генерал-майор, историк.

[22] Писатель Ф.М. *Достоевский* и его брат были петрашевцами. М.М. Достоевский был освобожден от следствия.

[23] На карте Ковенской губернии (Литва) конца XIX – начала XX в. значатся два одноименных города. О. Ваксель, видимо, родилась в *Поневеже*, расположенном в 30 км от Ковно на реке Невяжа (ныне Нявежис). Другой Поневеж (ныне Паневежис) – железнодорожная станция.

[24] По сведениям А. Смольевского, первая *кормилица* О. Ваксель была не полька, а литовка.

[25] *Портрет Ю.Ф. Львовой* до самой смерти А.А. Смольевского висел в его квартире на пр. Науки (ныне – у его наследников). Назвать автора работы он не мог, но вспоминал, что знакомство Юлии Федоровны с портретистом произошло в доме соседей Ваксселей по литовскому имению польских графов Мейштовичей. Также ему запомнилось, что портрет был написан «художницей, ученицей Репина, которая писала портреты членов графского семейства, а затем приехала в Романи и писала бабушкин портрет, живя на всем готовом в качестве почетной гостьи. Портрет вышел очень похожим, но самой бабушке он не очень нравился, а фамилию художницы она, к сожалению, забыла. К Мейштовичам бабушка удирала, когда ей бывало особенно тошно в доме у Ваксселей» (Восп. А. С. Л. 28; см. примеч. 26). Автором портрета, по мнению исследователя репинского творчества Е.В. Кириллиной (СПб.), могла быть, скорее всего, *Верёвкина Вера Васильевна* (Вероника Вильгельмовна, урожденная *Абегг* [*Аббег*], 1872–1960) – художник, ученица И.Е. Репина. Училась в Центральном училище технического рисования (1891–1893, ЦУТР) и в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств (1893–1895). Автор портретов и пейзажей, живописью занималась не систематически. В 1896 г. вышла замуж за Всеволода Владимировича Верёвкина, младшего брата художницы М.В. Верёвкиной. В 1903 г. супруги переехали в Литву в имение в с. Мажелишки близ г. Утена. После развода с мужем жила в Петербурге, Москве, затем в своем литовском имении Пажайслис (около Ковно), в начале 1920-х уехала во Францию. (Использованы сведения искусствоведов Е.В. Кириллиной и Л. Лаучкайте, Вильнюс.) Подробней см.: *Чурилова О.Б.* О двух женских судьбах и портрете, соединившем их. Ю.Ф. Львова и В.В. Верёвкина // Репинские чтения (Сб. НИМРАХ). СПб., 2012.

[26] Ваксель Александр Александрович (1874–1926) – *отец О. Ваксель*, внук композитора А.Ф. Львова по линии матери и рисовальщика Л.Н. Вакселя – по отцовской линии, племянник П.Л. Вакселя (см. примеч. 9, 72). Офицер Кавалергардского полка, предводитель местного дворянства Ковенской губернии. По семейному преданию, унаследовал способности к рисованию, музыкаль-

ный слух, обладал прекрасным тенором. Окончил Пажеский корпус, служил в Кавалергардском полку. Выйдя в отставку, легкомысленно относился к своим обязанностям местного предводителя дворянства Ковенской губернии. Безалаберное ведение дел, кутежи и охота привели к тому, что имение было заложено, а состояние окончательно расстроено. Кроме того, Ваксель в 1900 г. женился по любви на бесприданнице Ю.Ф. Львовой. Правда, занятия музыкой давали Юлии Федоровне возможность подрабатывать и даже оплачивать долги мужа. После развода у супругов сохранялись хорошие отношения. На письменном столе второй жены Вакселя, Марии Матиссен (см. примеч. 70), всегда стояла фотография Ю.Ф. Львовой. В начале Первой мировой войны вернулся в армию, служил в кавалерии, был в плену. После событий 1917 г. поселился в своем литовском имении – усадьбе Наядварис. Зимой 1925/26 г. утонул в Немане (см. примеч. 204).

[27] Ю.Ф. Львова – *музыкант и композитор*. В 1883–1892 гг. обучалась в Петербургской консерватории по классу композиции у А.К. Лядова и А.К. Глазунова, по классу фортепиано – у Чези. Совершенствовалась в Вене у Т. Лешетицкого. С 1889 г. давала частные уроки игры на фортепиано и теории музыки; работала концертмейстером оперных классов, концертировала. Участвовала в фольклорных экспедициях по России (затем СССР), Турции, Испании. Занималась изучением цветомузыки, разрабатывала совместно с В.Г. Каратыгиным (см. примеч. 316) проект цветозвукового рояля-фонофота. Автор многочисленных музыкальных произведений, в том числе на слова Н.С. Гумилева (см. примеч. 230, 233), а также: детской оперы «Мила и Нелли» (1897); сочинений для симфонического оркестра и различных инструментов; песен и музыки к драматическим спектаклям, например «Читра» Р. Тагора (1922), «Пир во время чумы» А.С. Пушкина (1932); обработок песен народов СССР. По свидетельству внука, «в годы нэпа она подписывала свои музыкальные произведения псевдонимом Реджи Фокс, в послевоенные – Гюль» (ИРЛИ. Р. I. Оп. 4. Ед. хр. 244. Л. 4). Об особенностях работы Ю.Ф. Львовой как музыканта А.А. Смольевский пишет: «Сочинять она предпочитала полулежа и без рояля, иногда наигрывала в воздухе на воображаемой клавиатуре или скрипке; за роялем она вносила исправления... кое-что обостряла. Первые наброски она обычно делала

ночью, а у нее была манера ложиться часов в шесть вечера и просыпаться в три-четыре часа утра. Она почти никогда не импровизировала за роялем на людях, но по просьбе друзей могла сочинить тут же пародию на кого угодно – на Рахманинова, на Вагнера, на Чайковского, на Стравинского, на Дебюсси, на Шёнберга, на Альбениса, и все получалось очень похоже, на вещи салонных музыкантов, которых она знала великое множество; удачно передразнивала певцов – от цыганских до оперных примадонн... ...очень забавно изображала восточных певцов – от кавказских до китайских; умела подражать воплям дерущихся котов и крику индюка и т. д., и т. п.; изображала патетическую декламацию французских трагиков – Мунэ-Сюлли, Жюлиа Бартэ, Сары Бернар.

Пела она всегда очень верно и звучно до последних дней своей жизни; голос у нее никогда не качался, пела и на многих языках – французские и итальянские оперные арии, романсы и народные песни, польские, литовские, украинские, пела по-немецки, реже – по-английски, а иногда даже и по-цыгански; русские стихи читала удивительно просто и терпеть не могла патетического завывания; иногда показывала мне, как читали поэты, известные декламаторы и актеры прошлого – Бальмонт, Вячеслав Иванов, Кузмин, Ходотов, Ведринская, Горбунов; изображала пение Вяльцевой и Вари Паниной, Фигнера, разных французских шансонеток» (Восп. А. С. Л. 80–81).

[28] Охотничьи *собаки* – один из постоянных мотивов рисунков прадеда О. Ваксель Л.Н. Вакселя (см. примеч. 9).

[29] Среди прочих историй, записанных А.А. Смольевским по рассказам Ю.Ф. Львовой, сохранился эпизод о ее возвращении из Петербурга в Романи, «где Лютик некоторое время оставалась на попечении Вакселей», зачем-то внушавших ей, что ее мать заболела и не едет к ней. Юлия Федоровна рассказывала: «Лютик вышла навстречу и вместо того, чтобы броситься ко мне, как обычно, церемонно отступила и холодно спросила: “*Вы были больны*? *Вы лежали в кровати*?”... Очень скоро все вошло в прежнюю колею, слава Богу» (коммент. А. С.).

[30] Родители О. Ваксель расстались в декабре 1905 г. *Развод* состоялся позднее. Из воспоминаний А.А. Смольевского следует, что родственники А.А. Вакселя были заинтересованы в его разводе, поскольку относились к невестке недоброжелательно. Она для них

была «дочерью каторжника» и «бедной родственницей», так как отец был петрашевцем и приданого за ней не было. Родители Вакселя рассчитывали поправить семейное положение, удачно женив красавца-сына на богатой девушке. Такой брак давал им надежду выдать замуж четырех дочерей. Вышли замуж лишь две из сестер Вакселя: Мария – за А.А. Богдановича, Прасковья – за В.В. Салова (см. примеч. 71). «Дедушка участвовал в кутежах и попойках, устраиваемых Аггеем, – вспоминал А.А. Смольевский, – влезал в долги, которые бабушка должна была оплачивать неизвестно из каких средств (для этого она даже потихоньку давала уроки музыки, что супруге предводителя дворянства, конечно, не подобало), буянил дома, в пьяном виде становился непохожим на себя, за косу таскал бабушку вокруг стола в столовой, дрался, а протрезвев, валялся в ногах, и молил о прощении, клялся, что это не повторится, но это повторялось, и раз от раза все хуже. Бабушка долго прощала ему, зная и ценя его бесконечную доброту, отзывчивость, обаяние, бескорыстие, готовность помочь в беде (он мог “отдать последнюю рубашку”), долго терпела его безволие, проявления кастовой спеси, неприспособленность и безалаберность ради сохранения семьи, от которой осталась, наконец, одна лишь видимость. “Я больше не могла выносить издевательств и скандалов, забрала Лютика, которой шел третий год, и буквально с последним поездом уехала в Петербург. Начиналась всеобщая декабрьская забастовка 1905 года”. Одной из причин развода было увлечение дедушки какой-то дамой...» (Восп. А. С. Л. 28–29).

[31] Возможно, *Лансере* (в замуж. Даниэль) *Софья* Евгеньевна (род. 1880) – сестра Е.Е. Лансере; однако из воспоминаний ее дяди А.Н. Бенуа следует, что она в 1905–1906 гг. жила за границей (см.: *Бенуа А.* Мои воспоминания. Т. 2. М., 1980. С. 427–428). Другая Лансере – Софья Леонидовна, дворянка, в 1905 г. проживала на ул. Глинки, 15, а несколькими годами позже – на ул. Казанской, 43. Степень родства со Львовыми не выявлена, но А.А. Смольевский упоминал одну из родственниц – Ольгу Лансере, которая «преподнесла Татуше в подарок книгу своих переводов стихов русских поэтов на французский язык» (Восп. А. С. Л. 64).

[32] *Львов Алексей Федорович* (младший, 1872 – не ранее 1943) – офицер 1-го железнодорожного полка, капитан 1-го батальона, *отчим О. Ваксель*. Принимал участие в строительстве

Федоровского городка в Царском Селе и царского павильона (см. примеч. 134, 38); начальник личного вокзала для семьи императора. Внук композитора А.Ф. Львова (старшего), хранил семейные реликвии-портреты, пюпитр деда с гербом рода Львовых. Считался «худородным» (см. примеч. 61), приходился *двоюродным братом отцу О. Ваксель*, следовательно, был ее дядей. Имел прекрасную библиотеку, изучал естественные науки, занимался всемирной историей, историей религии, теософией, народоведением. *Второй муж Ю.Ф. Львовой*, при участии которой и других музыкантов устраивал публичные лекции по истории религии с использованием «волшебного фонаря» (см. примеч. 99) и музыкального сопровождения. В 1918 г. эмигрировал в Америку. Семья до начала Великой Отечественной войны получала от него известия и посылки. А.А. Смольевский сообщил об этом следующее: «Помню название его местожительства к началу 1940-х годов: город Бостон, штат Массачусетс. Там он продолжал занятия теософией, слушал лекции Кришнамурти, а зарабатывал малярным делом. Время от времени Стришка (см. примеч. 33) присылал также доллары или посылки с какими-нибудь полезными... вещами...» (Восп. А. С. Л. 39–40).

33 «Алексей Федорович Львов, *мамин отчим*, – пояснял А.А. Смольевский, – получил в семье прозвище “Стришки”. Он называл девочку “Стрекозой”, она ему отвечала, что он “сам Стрекозёл”. Между ними была большая дружба; в письмах Лютик ему писала: “Будь здоров и пай”, – и подписывалась: “Обезьяна”» (Восп. А. С. Л. 36). Сохранились два письма О. Ваксель отчиму от 1910 и 1914 гг. (МА. Ф. 5. Д. 210).

34 *Кони* Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист, общественный деятель, член Государственного совета, почетный академик Петербургской академии наук (1900), мемуарист. Профессор Петроградского университета (1918–1922). Автор очерков и воспоминаний «На жизненном пути» (1912–1919). С отцом юриста – Федором Алексеевичем Кони (1809–1879, драматургом и театральным деятелем) – дружил А.Г. Ротчев, дед Ю.Ф. Львовой (см. примеч. 7).

35 Ю.Ф. Львова.

36 «*Какой гадкий господин*! *Он похож на обезьяну*! *Пусть он убирается*!» – (фр.). А.А. Смольевский, со слов бабушки, описал

реакцию А.Ф. Кони на выходку пятилетней девочки. Тот «через силу улыбнулся и сказал кисло: «Quelle charmante enfant!» – «*Какой прелестный ребенок*» (фр.). (Восп. А. С. Л. 79).

37 Не исключено, что предпочтение этой «мужской» игрушки куклам связано с подсознательной тягой ребенка, оставшегося без сильной отцовской опеки, к надежному мягкому и доброму существу (предмету). В воспоминаниях неоднократно проскальзывает тема привязанности О. Ваксель к родителям и отчаяние девочки, чувствующей себя брошенной в связи с частыми отлучками матери из дома. На одной из детских фотографий О. Ваксель запечатлена с игрушечным медвежонком (см. также примеч. 43).

38 Царский павильон и железнодорожная ветка, обслуживавшие дворец, были построены в 1895–1909 гг. в 1 км от резиденции Николая II (ныне г. Пушкин, Академический проспект, 35). Шоссейная дорога соединяла павильон с Александровским дворцом. В 1911 г. он сгорел, новый был возведен архитектором В.А. Покровским в 1912 г. в неорусском стиле. Павильон представлял собой одноэтажное сооружение из красного кирпича с шатровой башней над главным входом, увенчанной двуглавым орлом (утрачена в 1930-е годы). Своды и стены вокзала были расписаны М.И. Курилко.

39 *Львов* Алексей Федорович-старший (см. примеч. 15). Окончил Институт путей сообщения (1818, см. примеч. 241), работал в аракчеевских военных поселениях; флигель-адъютант (1826). *Шеф* (какого-либо полка) – почетное звание, присваиваемое членам императорского дома, иностранным монархам, а также заслуженным генералам русской армии. *Конвойцы* – офицеры Собственного Его Величества конвоя.

40 Ошибка мемуариста: А.Ф. Львов был не *основателем*, а третьим директором *придворной певческой капеллы* в 1837–1861 гг., сменив на этом поприще отца – Федора Петровича Львова (1766–1836), прапрадеда О. Ваксель, музыкального деятеля, поэта и писателя (псевдоним – Схимник), принимавшего участие в качестве певца-любителя в литературно-музыкальном кружке своего двоюродного брата Н.А. Львова и ставшего его первым биографом. *Львов Николай Александрович* (1751–1803) – деятель культуры, архитектор и теоретик архитектуры, инженер, худож-

ник, поэт, музыкант, ученый (археолог и геолог). Член Российской академии (1783), почетный член Императорской академии художеств (1786). Представитель классицизма в архитектуре; в поэтическом творчестве (стихи, поэмы, басни, тексты комических опер) был одним из родоначальников сентиментализма и предромантизма. Составил двухтомное нотное «Собрание народных русских песен с их голосами...» (1790). *Российская академия* создана в 1783 г. в Петербурге Екатериной II и княгиней Е.Р. Дашковой как центр по изучению русского языка и словесности. В 1841 г. была преобразована во 2-е Отделение Императорской академии наук.

[41] А.А. Смольевский хранил семейную реликвию – образ Спаса Нерукотворного. Судя по надписи на обороте доски, Федор Петрович и Елизавета Николаевна Львовы благословляли им сына Алексея (см. примеч. 40, 15). *Львова Елизавета Николаевна* (1788–1864) – дочь Н.А. Львова, с 1810 г. вторая жена Ф.П. Львова. В начале 1990-х годов в квартире А.А. Смольевского находился живописный портрет Э.А. Абазы, вероятно переданный владельцем в музей.

[42] Виардо Полина (*Viardot* Pauline, урожд. Garcia, 1821–1910) – выдающаяся французская певица и композитор, исполнительница музыкальных произведений А.Ф. Львова. Ученицей Виардо была одна из любимых сестер композитора – Надежда (в браке Самсонова, 1817–1895), певица и автор романсов.

[43] Образ медвежонка, с которым сравнил О. Ваксель О.Э. Мандельштам, возник в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала...» («Дичок, медвежонок, Миньона...»). Скорее всего, поэт знал о детской привязанности Ольги к плюшевым игрушечным медведям (см.: *Смольевский А.А.* Адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. Февр. С. 168).

[44] *Tub* – широкий плоский таз (для обливания и мытья, фр.).

[45] *Кузьмино* – слобода Большое Кузьмино (северная окраина Царского Села) находилась на расстоянии менее 1 км от квартиры отчима О. Ваксель. Ныне микрорайон г. Пушкина.

[46] *Фёдоров* Александр Михайлович – подполковник железнодорожных войск, командир 2-го батальона, сослуживец отчима О. Ваксель.

[47] Полустанок *Средняя Рогатка* был расположен примерно в 12 км от Петербурга на пересечении железнодорожной ветки с Московским шоссе. Вблизи находился Средне-Рогатский дворец, построенный для Елизаветы Петровны; к 1910-м годам от него остался небольшой каменный дом, занятый фабрикой. За Средней Рогаткой начиналась ветка императорской железной дороги в направлении с. Кузьмино и далее к государеву павильону на северной окраине Царского Села (см. примеч. 38).

[48] *Гатчина первая* находилась примерно там, где сейчас расположена станция Татьянино Варшавской ветки железной дороги. К этому времени относится следующий эпизод, записанный А.А. Смольевским со слов бабушки. «Однажды (это было, очевидно, в Гатчине, а не в Царском [Селе]) начался пожар в соседнем доме. Меня не было, Лютик (ей было лет пять) оставалась одна с няней. Ветер дул в сторону нашего дома, искры так и сыпались. Лютик сняла со стены старую львовскую икону – образ Владимирской Божьей Матери, – и вышла с ней на крыльцо. И точно по волшебству, ветер переменил направление, и огонь не перекинулся на наш дом. Тут, к счастью, приехали пожарные и стали тушить у соседей» (коммент. А. С.).

[49] А.Ф. Львов-младший (см. примеч. 32).

[50] Имеются в виду 1931–1932 гг.

[51] «Вы танцуете, маркиза?» (фр.).

[52] «Лютик рано стала проявлять признаки самостоятельности, – пояснял А.А Смольевский. – В детстве она носила длинные распущенные волосы, завязанные большим бантом. В один прекрасный день она, ни у кого не спрашивая разрешения, отправилась к парикмахеру и довольно коротко обрезала волосы».

[53] *Рысин Михаил* – рядовой 1-го железнодорожного полка, денщик А.Ф. Львова. Был женат на кухарке Львовых Зосе, сестре первой няни О. Ваксель – Маши (примеч. А. С.). Сохранена авторская орфография.

[54] Шуберский Владимир Петрович – инженер путей сообщения в 1895–1906 гг., в 1900-х годах организатор и первый директор Российского товарищества воздухоплавания. *Шуберская* Евдокия (Ду́ша) Михайловна, дочь князя М.И. Хи́лкова, действительного тайного советника, сенатора (примеч. А. С.).

Хилков Михаил Иванович (1834–1909) – государственный деятель, министр путей сообщения в 1895–1905 г.

[55] Ю.Ф. Львова вышла замуж за А.Ф. Львова-младшего в 1908 г. (из поясн. А. С.).

[56] Возможно, Мария Афанасьевна *Петерс*, жена полковника, проживавшая в Гатчине, ул. Николаевская, 19.

[57] *Приорат* – уникальное земляное сооружение, автором которого был Н.А. Львов (см. примеч. 40) – двоюродный прадед отчима О. Ваксель.

[58] Вероятно, *Андро-де-Бюи-Гинглятт* Владимир Евгеньевич – генерал-майор, помощник начальника Дворцового управления Министерства Императорского двора и уделов (Гатчина), товарищ председателя гатчинского отделения братства во имя Пресвятой Богородицы.

[59] Российские императоры – *Павел I* (Павел Петрович, 1754–1801) и его праправнук *Николай II* (Романов Николай Александрович, 1868–1918).

[60] Значковский – *писарь* (примеч. А. С.).

[61] Отец отчима О. Ваксель Федор Алексеевич Львов (1842–1899) вынужден был оставить службу в чине капитана Кавалергардского полка. Причиной тому стала женитьба на балерине Мариинского театра К.И. Канцыревой (см. примеч. 65), бывшей крепостной. Балетоман Львов «уехал хозяйствовать в свое *имение Андреевку* – около станции Аркадак *Саратовской губернии*. Там при них жил и отец балерины, старик Канцырев, какой-то мелкий чиновник (?), летними вечерами любивший поиграть на гитаре, сидя на крылечке барского дома» (Восп. А. С. Л. 36).

[62] *Львов Федор* Федорович – *дядя О. Ваксель*, брат ее отчима, владелец имения Андреевка Аркадакского уезда Саратовской губернии, мировой судья. Служил крупным чиновником при таможне, имел дом в Москве (См.: *Львова А.П., Бочкарева И.А.* Указ. соч. С. 166).

[63] Ваксель П.А. (см. примеч. 14).

[64] Львова Прасковья Федоровна (1871–1916) – сестра отчима О. Ваксель. В книге «Род Львовых...» (см. с. 166) ошибочно названа дочерью, а не сестрой Ф.Ф. Львова (см. примеч. 62). Муж – Петр Александрович Балавенский (1873–1935), земский служа-

щий, начальник 4-го участка Новоторжского уезда, отстраненный от должности в 1905 г. как политически неблагонадежный. Во время Первой мировой войны попал в немецкий плен. Впоследствии был сослан под Архангельск. О. Ваксель упоминает о пятерых детях Прасковьи Федоровны. Известно, что судьба шестерых детей Балавенских оказалась трагична (см. там же. С. 167).

65 Львова (урожд. Канцырева) Клавдия Ивановна (1847–19?) – жена Ф.А. Львова, *бабушка О. Ваксель* по линии отчима. Артистка балета, родилась в семье крепостного, в восемь лет получила вольную. По окончании Петербургского театрального училища в 1866 г. была принята в балетную труппу Мариинского театра. Уволилась по болезни (1880).

66 «*Сад моего кюре*» (фр.)

67 Права незамужних женщин в вопросах образования вплоть до последней четверти XIX в. были ограниченны; так, в 1909 г. даже были введены очередные ограничения для поступления женщин в университеты. Ю.Ф. Львова после ухода из Консерватории для прохождения курса юридических наук в Петербургском университете в качестве вольнослушательницы «вступила в фиктивный брак с неким Федором Федоровичем Платоновым (Фифочка Платонов, как она называла его потом, вспоминая свою юность). Этот господин имел весьма определенные виды на Татушины (Е.А. Львовой. – *Е. Ч.*) доходы и регулярно вытягивал у нее большую часть того, что она зарабатывала переводами» (Восп. А. С. Л. 77). Впоследствии *брак был расторгнут* по обоюдному согласию. «Фифочка разыграл с какой-то девицей сцену супружеской измены» при свидетелях (Там же). В университете девушка «посещала все лекции и усиленно изучала латынь и по окончании курса представила работу о римских *сервитутах*. <...> Юристом Юлия Федоровна не стала, но много работала в попечительстве тюрем и прекрасно овладела искусством составления разных бумаг, ведения протоколов и пр., хорошо знала законы» (Там же). *Сервитут* – признанное в законодательстве право пользования чужим имуществом в определенных пределах, а также ограничение территориального суверенитета одного государства в пользу другого.

68 В своих воспоминаниях А.А. Смольевский уделил много места бабушке, заменившей ему мать и щедро делившейся с ним

семейными преданиями. О ранних годах жизни Юлии Федоровны он писал: «В детстве бабушка была очень подвижна, непоседлива... <...>. Ее способностям, красоте, культуре многие завидовали... <....>. Она часто дралась с девчонками, которые говорили, что у нее наклеенные брови. Чтобы доказать, что брови у нее свои, она однажды выстригла себе кусок одной брови, и когда выросли новые волоски, и все убедились, что свои, и дразнить перестали» (Восп. А. С. Л. 70, 83). Многим современникам также запомнился четкий рисунок бровей О. Ваксель. Так, О.Э. Мандельштам писал о них: «...твердые ласточки круглых бровей». Самостоятельный и живой характер Ю.Ф. Львовой формировался в преодолении непростых обстоятельств. Она рано начала трудиться, чтобы поддерживать семью. А.А. Смольевский писал об этом: «С двенадцати лет, после смерти отца бабушке пришлось начать *зарабатывать* уроками музыки, концертмейстерской работой в оперном классе профессора *Сонки.* <...> Концертмейстерская работа требовала умения легко играть с листа, огромной памяти (нужно было знать наизусть не только всю музыку, каждую партию, но и все оперные тексты), выносливости, физической силы» (Восп. А. С. Л. 73, 74). На вопрос внука о *заработках* Ю.Ф. Львова отвечала, что за месяц она «без особого труда могла заработать сто рублей и даже больше, откладывала на лето, на путешествия, на праздники. Как правило, на Пасху откладывалось 50 рублей. <...> Юлия Федоровна ни минуты не сидела без дела, поэтому она никогда не скучала; иногда ей приходилось делать по нескольку дел одновременно – шить, готовить, да еще и сочинять. <...> Изобретательность проявлялась во многих сторонах ее жизни. Она многое умела делать – шила, вышивала, вязала крючком... готовила всегда удивительно вкусно и любила готовить... очень любила переставлять мебель в квартире... любила перевешивать картины и портреты, сама делала себе шляпки, костюмы из старых вещей, когда было трудно с промтоварами; умудрялась даже шить себе обувь. Голова ее всегда была полна разных мелких, но остроумных проектов, и то, что она не могла осуществить сама, то ей помогали выполнять друзья, иногда дочь (Лютик), и, под конец жизни я» (Восп. А. С. Л. 75, 82). Сонки (Зонкинд) Станислав Максимович (1853–1941) – вокальный педагог и методист. Учился пению в Милане, с 1891 г. жил в Петербурге, читал

лекции по методике сольного пения. В 1911 г. организовал и возглавил Вокальное общество.

69 В 1910 г. в Гатчине была открыта первая в России воздухоплавательная (позднее авиационная) школа для офицеров, сооружен аэродром.

70 Вторая *жена А.А. Ваксе得я* – Маруся Матисен (Матиссен), подруга певицы Киры Александровны Мясоедовой-Еланской по гимназии Таганцевой (примеч. А. С.). Других сведений на сегодня нет, но можно предположить, что речь идет о Марии Ивановне Матисен, проживавшей на 14-й линии Васильевского острова в шестиэтажном доходном доме № 37 (см.: Весь Петроград: Адресная книга за 1915 г.). Семья петербургских купцов Матисенов до 1880-х годов также проживала на Васильевском острове.

71 *Салов* Василий Васильевич (1832–1908) – инженер путей сообщения, профессор, председатель Инженерного совета Министерства путей сообщения, действительный тайный советник. Семья проживала на 2-й линии Васильевского острова.

72 *Ваксель Платон Львович* (1844–1918) – музыковед, певец, собиратель музыкальных рукописей и автографов. Почетный член Императорской академии художеств и член Императорского музыкального общества, непременный член совета Министерства иностранных дел. Сын рисовальщика Л.Н. Вакселя (см. примеч. 9), *дядя отца О. Ваксель* «Платон Львович Ваксель, дядя дедушки... музыкальный критик и сам высококультурный певец, обладавший прекрасно поставленным тенором, после первой же встречи с бабушкой сказал родичам: “Vous dites qu’elle pianote? C’est une excellente artiste” (*«Вы говорите, что она играет на фортепьяно? Это замечательная артистка» – фр. – Е. Ч.*). Они вдвоем – без репетиции – сразу же исполнили для друзей весь шумановский цикл “Любовь поэта”.

Платон Львович, в отличие от своего брата, женщин не любил. У него было слабое здоровье, из-за чего он подолгу жил на о[стро]ве Мадейра, часто ездил в Италию, особенно в Венецию... Кроме музицирования, он еще развлекал Юлию Федоровну (зрелищем сеансов вольной борьбы. – *Е. Ч.*), которую считал искусством, достойным древних греков. Бабушке же вовсе не доставляло удовольствия смотреть на потных борцов, натужно

обхвативших друг друга и издающих звериное рычание, которое не удавалось заглушить громко играющему оркестру. Ваксели, конечно, фыркали по поводу вкусов Платона Львовича. Он покровительствовал многим художникам, был прост в обращении» (Восп. А. С. Л. 34).

73 «*Как в 20 лет*» (*фр.*).

74 *Воейкова Мария* Владимировна – знакомая Ю.Ф. Львовой по теософскому обществу (см. примеч. 173), певица-любитель и дальняя родственница Львовых (примеч. А. С.). Возможно, дочь Воейкова Владимира Николаевича – флигель-адъютанта, полковника, командира лейб-гвардии гусарского Его Величества полка; либо – Мария Владимировна Голицына (1865–1933), с 1887 г. жена Александра Николаевича Воейкова (1865–1942) – ротмистра, адъютанта военного министра.

75 *Королькова Анна Викторовна* (урожд. Лампе, 1880–1946) – жена штабс-капитана 1-й роты 1-го железнодорожного полка в Царском Селе Николая Николаевича Королькова. После развода с мужем давала уроки немецкого языка. Дата рождения установлена по табличке на могиле на Большеохтинском кладбище. Похоронена вместе с дочерью Т.Н. Лащенко (см. примеч. 83) в двух дорожках от могилы Ю.Ф. Львовой и А.А. Смольевского.

76 «*Квисисана*» («Quisisana» – «*Здесь выздоравливают*», *лат.*) – ресторан I разряда на Невском пр., 44, в здании Сибирского торгового банка, построенном в 1909–1910 гг. архитектором Б.И. Гиршовичем. Петербургские старожилы вспоминали: «Особый характер приобрел ресторан “Квисисана” на Невском возле “Пассажа”». Там был механический автомат-буфет. За 10–20 копеек можно было получить салат, за 5 копеек – бутерброд. Его охотно посещали студенты, представители небогатой интеллигенции. Студенты шутили, перефразируя латинскую пословицу: “Менс сана ин Квисисана”» – («Mens sana in compore sano» – «В здоровом теле здоровый дух») (*Засосов Д.А., Пызин В.И.* Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991. С. 102, 243). Кафе «Квисисана», находившееся недалеко от ресторана «Нева», упоминается в книге Е.Б. Рейна «Арка над водой» (2000) в связи с «тенями Мандельштама и Ахматовой, Зощенко и Тынянова». В 2003 г. на Невском пр., 74 (во дворе) открыт ресторан «Quisisana».

[77] Булочные купца Филиппова были известны как в Москве, так и в Петербурге. Горячие филипповские пирожки с мясом, яйцами и рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем по пятачку за штуку были популярны во всех слоях общества.

[78] *Тойкандер* Бруно Августович – подпоручик 1-го железнодорожного полка.

[79] *Доре* Гюстав (1832–1883) – французский график, живописец и скульптор. Самоучка, создавший десятки тысяч иллюстраций, в том числе к сказкам Ш. Перро (1862), «Приключениям Мюнхаузена» (1863), «Божественной комедии» Данте (1850–1860-е годы), Библии (1866). Известна фраза художника: «Я проиллюстрирую всё».

[80] Вернее, *Добошинская* Ольга Иосифовна – дочь генерал-лейтенанта, преподаватель женской гимназии в Гатчине.

[81] *Александровская* – станция железной дороги по Варшавской ветке близ деревни Александровка на северной окраине Царского Села. Недалеко находится *Баболовский парк* – один из живописных парков Царского Села. Расположенный в непосредственной близости к Екатерининскому и Александровскому паркам, он вместе с ними образует единый зеленый массив.

[82] В Царском Селе с начала XVIII в. существовали Зверинец для охоты царских особ на оленей, кабанов и зайцев (в конце столетия переведен в Гатчину), а также Ферма (с начала 1820-х годов) для улучшения породы скота в России. Возможно, *слон купался* в одном из Ламских прудов, недалеко от которых находился павильон Слоновый дом. На одной из фотографий в путеводителе С.Н. Вильчковского 1911 г. – слон на дорожке парка (см.: *Вильчковский С.Н.* Царское Село. Репринтное воспроизведение издания 1911 года. СПб., 1992; ил. между с. 214–215).

[83] *Королькова Татьяна* Николаевна (1905–1984) – подруга детства О. Ваксель, по сведениям А.А. Смольевского, в первом браке Новодворская, во втором Лащенко. *Новодворский* Витольд Марцельевич – военный врач; *Лащенко* Михаил Николаевич – доктор технических наук, скрипач-любитель, первая скрипка симфонического оркестра ленинградского Дома ученых. О Корольковой Смольевский также сообщал, что она, «окончив специальный языковый вуз, преподавала немецкий язык в каком-то техническом институте» (примеч. А. С.).

[84] *Лампе* Виктор Егорович – потомственный почетный гражданин, совладелец банкирского дома «Лампе и К°» в Петербурге (Невский пр., 20), директор компании «Надежда».

[85] *1-й железнодорожный полк* находился в Царском Селе во время пребывания там императора и его семьи. Квартировался в собственных казармах, которые располагались в северной части города (ныне г. Пушкин, Академический проспект) близ императорского павильона (здание сохранилось, см. примеч. 38; на протяжении многих десятилетий территория используется заводами различных профилей).

[86] См. примеч. 38.

[87] *Павловский буфет* – предмет мебели переходного стиля от классицизма к ампиру. Образцы этого стиля, выходящего за рамки правления Павла I, крупные и массивные по форме, декоративная отделка с мотивами причудливых грифонов, орлов и сфинксов подчеркивает их массивность. Материалом служили карельская береза и полированное красное дерево.

[88] *Забаринская* (урожд. Ротчева) Ольга Александровна – сестра Е.А. Львовой, бабушки О. Ваксель. Жена генерала Ахиллеса Ивановича Чорбу-Заборинского, владельца имения Чорбовка Кобелякского уезда Полтавской губернии. Потомки изменили написание буквы в фамилии (примеч. А. С.).

[89] *Плахта* – шерстяной клетчатый плат, обертываемый женщинами малороссийских селений вокруг пояса вместо юбки. *Макитра* – большой широкий горшочек для растирания мака и табака.

[90] См. примеч. 62.

[91] *Симонкату*, точнее Суонинкату, ныне – ул. Куйбышева (бывший район Калева). В Выборге, в 1811–1917 гг. входившем в состав автономного княжества Финляндского, улицы назывались на финском, русском и шведском языках. С 1917 г. употреблялась исключительно финская транскрипция.

[92] «*Гигантские шаги*» – конструкция для катания по кругу в виде столба, в верхней части которого укреплены канаты с петлями для ног на конце.

[93] *Жорж* – Лампе Георгий Викторович, домовладелец.

[94] *Катехизис* – краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

[95] *Монрепо* – садово-парковый ансамбль XVIII–XIX вв., разбит на острове к северу от г. Выборга. Один из двух парков города, заложенный на месте первоначального поселения.

[96] *Тарантул* – разновидность ядовитых пауков.

[97] *Ртищево* – железнодорожная станция между Тамбовом и Саратовом.

[98] Согласно указаниям Смольевского, О. Ваксель училась в школе Е.С. Левицкой в 1914/15 учебном году. Частная гимназия Е.С. Левицкой в Царском Селе была основана в 1900 г., располагалась на ул. Новодеревенской, 12, недалеко от ипподрома в одном из его служебных зданий. Она стала первой в России частной средней общеобразовательной школой-интернатом для совместного воспитания девочек и мальчиков. Учебный курс соответствовал мужской классической гимназии. В школе было четыре основных и два приготовительных класса. Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915) – начальница и учредительница частного учебного заведения, взявшего за основу опыт английского педагога Дж. Бэдли. Современники называли эту гимназию английской школой. Посетившая в июне 1905 г. учреждение императрица благосклонно отнеслась к усилиям Левицкой по созданию школы-семьи. Председателем организационного комитета гимназии и заведующим учебной частью был поэт И.Ф. Анненский. В школу принимали детей от 8 до 14 лет. Прием проходил два раза в год, для младших детей без экзаменов, с третьего класса были экзамены по всем предметам. Мальчики принимались только пансионерами, девочки (после 1907 г.) как пансионерками, так и приходящими. Первый выпуск состоялся в 1907 г. За 15 лет существования школы было восемь выпусков (1908–1915). Плата за годовое содержание была значительной, поскольку число педагогов почти равнялось числу учащихся (в том числе – четыре законоучителя соответственно различным конфессиям). Дети обеспечивались питанием, медицинским обслуживанием; с ними занимались физическим и трудовым воспитанием, а с осени 1910 г. была введена и военная подготовка. Эмблемой школы стал подснежник, символизировавший пробуждение жизни. Этого цветок был изображен на флаге гимназии в школьном городке и на одежде учеников. После смерти Левицкой ее детище перешло в ведение Царскосельского общества содействия

совместному воспитанию и образованию детей; весной 1917 г. Временное правительство преобразовало школу в гимназию (см.: *Лебедев П.* Школа Левицкой в Царском Селе // Народное образование. 1992. Сент.–окт. С. 89–94).

[99] Волшебный фонарь – проекционный оптический прибор, служивший для проектирования на белую плоскость экрана увеличенного изображения какого-нибудь небольшого предмета, например прозрачной картинки. Обычно ею служили фотография или рисунок, которые воспроизводились на стеклянной пластинке и подсвечивались сзади лампой. Прибор помещался в корпус в виде ящика; лучи света собирались на поверхности картинки с помощью стекол, и изображение через объектив передавалось на экран.

[100] *Форш* (урожд. Комарова) *Ольга Дмитриевна* (1873–1961) – известная русская писательница, автор исторических романов о революционном движении; в юности была ученицей П.П. Чистякова (см. примеч. 174). Преподавала рисунок и лепку в школах Л.А. Пушкаревой и Е.С. Левицкой (см. примеч. 98). В 1910-х и 1946–1953 гг. с перерывами жила с семьей на даче П.П. Чистякова в Царском Селе во флигеле, который писательница образно окрестила «Плачем Ярославны». Деревянная дача построена архитектором А.Х. Кольбом в 1876–1877 гг. (ныне г. Пушкин, Московское шоссе, 23). Два флигеля возведены на участке в начале XX в. (не сохранились). «Детский сад и приготовительная школа» *Любови Алексеевны Пушкаревой-Мальцевой* располагалась в Царском Селе на ул. Колпинской (ныне Пушкинской), 17, (затем на Госпитальной, 13).

[101] «*Мальбрук в поход собрался...*» (*фр.*) – популярная во Франции в начале XVIII в. песенка, сатира на герцога Мальборо (1650–1722), предводителя английских войск. «*На Авиньонском мосту*» (*фр.*).

[102] *Казармы* императорского конвоя были построены в Царском Селе в 1910 г. архитектором В.Н. Максимовым (перестроены в 1954–1957 гг. Л.Н. Ротиновым и Н.Е. Закамской, Академический пр., 31, 33); располагались по соседству с казармами 1-го железнодорожного полка близ императорского павильона. *Казармы Сводного* пехотного *полка* находились несколько ближе к городу и выходили на улицу Кузьминскую. Сохранились три

служебных флигеля, возведенных в начале XX в. (Академический пр., 3, 5, 7).

[103] Романовы Ольга Николаевна (1895–1918) и Татьяна Николаевна (1897–1918) – *великие княжны, старшие дочери* Николая II и императрицы Александры Федоровны. 6 ноября 1914 г. им было присвоено звание сестер милосердия военного времени. 5 июня 1915 г. удостоены знака отличия российского общества Красного Креста 2-й степени «за труды, понесенные по уходу за больными и ранеными воинами».

[104] Вероятно, частная школа *Тизенгольд* Софьи Робертовны в Царском Селе.

[105] *Дети барона* Дмитрия Фердинандовича *фон Таубе* – капитана лейб-гвардии 1-го Стрелкового Его Величества полка, сына директора Царскосельской железной дороги. Однополчанином отчима О. Ваксель был командир 1-й роты *барон* Яков Александрович *фон Таубе. Истомины* – вероятно, дети полковника лейб-гвардии Семеновского полка Константина Константиновича Истомина.

[106] *Голохвастова* – вероятно, Александра Алексеевна. «А хорошо ли мама училась? Ты ее отдала в гимназию?» – спрашивал Смольевский свою бабушку. – «Мама училась во многих частных школах. Сначала в школе Пушкаревой, Лютик, я помню, исписывала по чистописанию целые страницы словами: “Пушки. Кукушки. Пушки. Кукушки”». Потом она была в гимназии Левицкой, затем Тизенгольд, и, наконец, в Екатерининском институте. В институте она училась хорошо, но окончила бы, конечно, без шифра» (коммент. А. С.; см. примеч. 98, 100, 104, 151). Лучшие из выпускниц награждались *шифрами*, золотыми и серебряными медалями, а также книгами. Получение шифра обеспечивало положение придворной дамы – фрейлины императрицы.

[107] *Форш Дмитрий* Борисович (1904–1967) – геолог, сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института механической обработки полезных ископаемых Министерства металлургии СССР («Механобр»). А.А. Смольевский приводит свидетельство Т.Б. Форш о том, что ее младший брат Дима в детстве был постоянным кавалером О. Ваксель на уроках танцев.

[108] *Ливадия* – резиденция царской семьи, расположенная на южном берегу Крыма. Ныне музей и санаторий с реликтовым парком.

[109] Об обстоятельствах этого убийства и его последствиях более подробно написал А.А. Смольевский: «Новый брак деда не был очень долговечным. Увлекшись какой-то очередной красивой дамой, дедушка застрелил из пистолета ее поклонника, и был за убийство судим и приговорен к нескольким годам тюрьмы. Его спрашивали: "Саня! Зачем ты это сделал?" – Он отвечал: "Я и сам не знаю". В *тюрьме он просидел*, однако, не слишком долго. Родичи всячески старались скрасить и облегчить ему пребывание там, посылали ему лакомства, теплое белье и т. п.; благодаря светским связям выхлопотали ему даже разрешение бывать дома, раздобыли всякие медицинские свидетельства о его неуравновешенности, невменяемости, Бог уже знает о чем; бабушку тоже умолили похлопотать об облегчении дедушкиной участи, и она специально ездила в Ливадию, где добилась аудиенции у Николая II, и тот изволил с ней милостиво разговаривать и "выразил сочувствие". Эта аудиенция имела своим последствием то, что, в конце концов, дедушку отпустили на поруки... и, несмотря на жалобы его, что он смертельно устал от всего этого, все началось сначала. Третьей законной женой деда была баронесса Рокоссовская, от которой у него было трое сыновей» (Восп. А. С. Л. 29–30).

[110] П.А. Ваксель (см. примеч. 14).

[111] Вероятно, *Воздвиженский Сергей* Константинович – врач, специалист по детским болезням, член правления Русского общества охранения народного здоровья (Московское отделение). Его жена, Анна Михайловна, была «женским врачом». Другой медик *Воздвиженский* – Дмитрий Павлович, ветеринарный врач (Вся Москва. Адресная книга, 1915).

[112] *Фитин* – органическое соединение фосфора, содержащееся во многих растениях; применяется в медицине. *Гематоген* – лекарственный препарат, изготавливаемый из крови убойного скота с добавлением сахарного сиропа и спирта; показан при малокровии.

[113] «*Царский зверинец*» находился в Измайловском лесу, ныне застраиваемая часть Москвы.

[114] «*Ламповы*» – семья Лампе и Корольковых.

[115] Семья домовладельцев Лампе проживала на Васильевском острове: *Тучков пер.*, 6.

[116] Пьеса в стихах писательницы Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867–1924) – дочери известного историка С.М. Соловьева, взявшей псевдоним *Allegro*. В 1906–1912 гг. П.С. Соловьева совместно с Н.И. Манасеиной издавала детский журнал «Тропинка». Пьеса вышла в этом издании в 1910 г. объемом 30 страниц.

[117] «*Фоль-журнэ*» можно перевести с французского как «безумные деньки, дни безудержного веселья» (об *Истоминых* см. примеч. 105).

[118] *Лицеисты и правоведы* – учащиеся Александровского лицея и училища правоведения – привилегированных учебных заведений закрытого типа для детей дворян.

[119] *Качуча* – быстрый испанский танец, сопровождаемый кастаньетами и гитарой.

[120] Вероятно, Дагмара и Марта Викторовны Лампе.

[121] *Лампе Виктор* Викторович – домовладелец, биржевой маклер.

[122] *Самокиш-Судковская* Елена Петровна (1863–1924) – живописец и график. Училась у В. Верещагина, работала в 1882–1890 гг. в Париже, где посещала в ателье Ж. Бастьен-Лепажа. Входила в первый Дамский художественный кружок (1882–1918), объединявший дам светского общества, которые занимались искусством и благотворительностью, в частности помогали семьям нуждавшихся художников. В 1900-х годах работала в жанре книготоргового плаката для журнала «Нива». Иллюстрировала книги, в том числе детские. Иллюстрации к роману в стихах А.С. Пушкина «*Евгений Онегин*» исполнены художницей в 1899 и 1900-х годах, изданы Товариществом Р. Голике и А. Вильборга (СПб., 1911). На цветной иллюстрации к главе 1 «Кабинет Онегина» художница изобразила сидящего франта за отделкой ногтей, отраженного в двух зеркалах, а также натюрморт из многочисленных *хрустальных флаконов* на туалетном столике перед трюмо.

[123] *Бабушка Ютти* – вероятно, Лампе Оттилия Густавовна, жена В.Е. Лампе.

[124] Из *шестерых детей* В.Е. Лампе установлены пятеро проживавших в доме отца – Виктор, Георгий, Анна, Дагмара и Марта.

[125] *Пушкина* (урожд. кн. Голицына) Варвара Николаевна – подруга и знакомая Ю.Ф. Львовой по теософскому обществу (см. примеч. 173). Жена Евгения Алексеевича Пушкина – *сенатора*, товарища председателя правления Всероссийского союза благотворителей. Фамилия и отчество ему как незаконнорожденному достались от крестного отца. В.Н. Пушкиной посвящен романс Ю.Ф. Львовой на слова К. Бальмонта «Приношение» (примеч. А. С.).

[126] Дети В.Н. и Е.А. Пушкиных – Варвара (*Вавуля*), Ксения (*Ксана*), Юрий (*Георгий*) (примеч. А. С.).

[127] *Химки – дачная местность*, через которую прошел тракт из столицы в Москву. Поселок известен своими имениями и усадьбами. В 1851 г. стал первой от Москвы станцией на проложенной из Петербурга ветке Николаевской железной дороги. *Река Химка* существовала до начала строительства в 1932 г. канала Москва–Волга, по ее руслу проложен канал, в 1937 г. образовавший Химкинское водохранилище. В 1939 г. Химки получили статус города.

[128] *Московское шоссе* – дорога, ведущая в сторону Павловска. На четной стороне улицы находилась Фридентальская колония, заселенная в первой трети XIX в. немецкими колонистами, на нечетной – дачи академических художников.

[129] *Мариинская женская гимназия* в Царском Селе (Леонтьевская, 17) открылась в 1864 г. в здании, построенном двадцатью годами ранее для главного управляющего Дворцовым правлением. С 1865 по 1875 г. перестроено архитектором А.Ф. Видовым для учебных целей. В 1906–1909 гг. надстроено Г.Д. Гриммом. В этой гимназии в 1900–1905 гг. училась А.А. Горенко (Ахматова). Женские классические гимназии (возникли в 1858 г. как Мариинские училища и женские училища Министерства народного просвещения – МНП, свое окончательное название получили в 1862 г.) относились к системе среднего образования. Имели 7 классов, 8-й – дополнительный, педагогический. Курс обучения был несколько облегчен по сравнению с мужскими гимназиями, выпускникам которых давалось преимущественное право поступления в университеты. Особый тип женских средних учебных заведений – гимназии и институты благородных девиц ведомства императрицы Марии, учебные планы которых приближались к программам гимназий МНП.

[130] Вероятно, речь о доме № 20 по Московскому шоссе во Фридентамской колонии (см. примеч. 121). Сохранилась почтовая открытка О. Ваксель, отправленная А.Ф. Смольевскому (см. примеч. 132) 13 августа 1915 г. на этот адрес. Царское Село, *Колония*, 20. (МА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 212. Л. 1).

[131] *Арсений Федорович* Смольевский (1883–1967, Арсенька, А. Ф.) – первый муж О. Ваксель, «учился сначала в церковно-приходской школе, затем в духовном училище, с отличием окончил Каменец-Подольскую духовную семинарию, после чего должен был поступать в Петербургскую духовную академию, а вместо этого держал экзамен в Варшавский университет; переехав в Петербург, учился в Петербургском университете (на физико-математическом факультете), окончив его, *преподавал* в частных гимназиях, в том числе в гимназии Левицкой (см. примеч. 98), затем поступил в Институт инженеров путей сообщения, где сперва учился, а потом и преподавал. Одновременно работал *секретарем Бегового общества* (председателем об[щест]ва был бар[он] Штейнгель, покровительствовавший Арсению Федоровичу)» (коммент. А. С.). *Штейнгель* Николай Николаевич – *барон*, секретарь императорского Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства.

[132] А.Ф. Смольевскому удавалось произвести впечатление не только на девочку-подростка, но и на других людей. «Бабушка Юлия Федоровна характеризовала его как большого любителя переводной, иностранной литературы, героям которой, особенно английской, он старался подражать в манерах, во вкусах. Он любил порядок, все дорогое и изящное: красное дерево, трости с резными набалдашниками, старинные часы, костяные и черепаховые ножи для разрезания бумаг, хрустальные ванночки и стаканы для карандашей, всегда идеально очиненных с помощью острейшего скальпеля; картины, ковры, шелковые занавески, пледы и т. п. Одевался строго, добротно, всегда был тщательно выбрит, ногти, обувь в безукоризненном порядке, носовые платки, рубашки ослепительной белизны. Словом, денди, стройный, спортивный (он любил плаванье, игру в теннис), с лицом в стиле Шерлока Холмса, с изящным выговором. Помню, что он любил изысканно поесть, обедал всегда дома, по крайней мере, пока при нем состояла старушка, считавшаяся моей няней; часто ходил в Филар-

монию. В послевоенные годы он вместе с волосами и зубами уже утратил этот лоск, и постепенно в его лице проступали черты старого польского или западно-украинского крестьянина» (Восп. А. С. Л. 4–5; см. примеч. 248).

133 *Дворцовый лазарет* – госпиталь, обустроенный под патронажем императорской фамилии в Федоровском городке в связи с началом Первой мировой войны.

134 *Федоровский городок* – архитектурный ансамбль домов причта Федоровского государева собора, расположен в северо-восточной части Александровского парка (г. Пушкин, Академический пр., 14–30). Собор создан архитектором С.С. Кричинским к празднованию 300-летия Дома Романовых (1913; Академический пр., 28).

135 Сохранилась групповая фотография конца 1914 г.: Ю.Ф. Львова (слева) в белых одеждах *сестры милосердия* около раненого. Рядом императрица, две великие княжны, В.И. Гедройц и А.А. Вырубова (см. примеч. 140, 103, 137, 139); опубликовано: *Рассулин Ю.* Верная Богу, Царю и Отечеству: Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. СПб., 2005; ил. между с. 528–529.

136 *Боткин* Евгений Сергеевич (1865–1918) – последний царский лейб-медик, сын профессора Военно-медицинской академии С.П. Боткина. Расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге.

137 *Гедройц* Вера Игнатьевна (1870/1876?–1932) – княжна, хирург, профессор Киевского университета. Медицинское образование получила на курсах П.Ф. Лесгафта в Петербурге и в Лозаннском университете в Швейцарии. Работала ординатором в царскосельском дворцовом госпитале. После Февральской революции была на фронте. После ранения в 1918 г. работала хирургом в Киеве. Поэт и писатель; с 1910 г. начала печатать стихи под псевдонимом Сергей Гедройц (имя ее рано умершего брата): «Стихи и сказки» (СПб., 1910), «Вег» (1913, в переводе с немецкого – «путь», название совпадает с начальными буквами имени и фамилии автора); повесть в стихах «Страницы из жизни заводского врача» (1910). Член Цеха поэтов, в журнале которого «Гиперборей» публиковала свои стихи (материально поддерживала это издание). С ее творчеством можно познакомиться на страницах журналов «Северные записки», «Современник», «Заветы»,

«Вестник теософии» (увлечение теософией сказалось в обращении к мистике и фольклору), «Альманах муз».

[138] *Распутин* Григорий Ефимович (настоящая фамилия Новых, 1869–1916) – сибирский крестьянин, уроженец Тобольской губернии, целитель, обладавший значительным влиянием на царскую семью в силу способностей оказывать помощь наследнику, страдавшему неизлечимым недугом – гемофилией.

[139] *Вырубова* (урожд. Танеева) Анна Александровна (1884–1964) – фрейлина (с 1903) и ближайшая подруга императрицы; монахиня Мария (с 1923). 2 января 1915 г. получила тяжелую травму во время железнодорожной катастрофы, устроенной в целях покушения на Распутина. Длительное время пролежала без врачебной помощи, поскольку доктора считали ее положение безнадежным и выносили из-под обломков поезда в первую очередь тех раненых, которых можно было спасти. Полгода находилась в очень тяжелом состоянии и осталась калекой.

[140] Романова *Александра Федоровна* (принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, 1872–1918) – российская императрица, жена Николая II (с 1894). Покровительница Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну (1914). 6 ноября 1914 г. ей было присвоено звание сестры милосердия военного времени. В 1918 г. расстреляна вместе с семьей в Екатеринбурге. В семье А.А. Смольевского хранился кружевной платок императрицы (впоследствии инициалы владелицы Ю.Ф. Львова вырезала ножницами), а также две спаренные рамки, в которых прежде помещались фотографии великих княжон.

[141] См. примеч. 104.

[142] Романовы Мария Николаевна (1899–1918) и Анастасия Николаевна (1901–1918) – *великие княжны, младшие* дочери Николая II. Убиты вместе с семьей в подвале дома *Н.Н. Ипатьева* в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. *Ипатьев Николай Николаевич* (1869–1938) – общественный деятель, штабс-капитан, сапер и инженер; в 1906 г., выйдя в отставку, поселился в Екатеринбурге и приобрел особняк XIX в. С 1914 г. – член Уральского общества любителей естествознания; член городской Думы (1914–1917); с 1915 г. участвовал в разработке проекта устройства Уральского горного института. Во время пребывания Романовых в его доме жил у родственников, после

расстрела царской семьи в дом не вернулся. Эмигрировал через Владивосток в Прагу. Дом инженера Ипатьева снесен в сентябре 1977 г. На месте здания в 2003 г. возведен Храм на Крови.

143 *Военно-морская игра* – возможно, игра «Морской бой», в которой двое участников рисуют условные корабли в квадратах на разлинованной в клетку бумаге.

144 Речь идет о продукции Товарищества парфюмерного фабричного производства А.М. *Остроумова* (Москва). Провизор Александр Митрофанович Остроумов был владельцем московского института врачебной косметики, имел склады товаров в Петербурге, в Одессе и магазин в Нижнем Новгороде.

145 *Кусов* Георгий Владимирович (1887 – после 1945) – правнук А.И. Кусова (1779–1848), коммерции советника, купца 1-й гильдии, директора от купечества в Государственном коммерческом банке и потомственного дворянина (с 1830 г.); внук А.А. Кусова (1814–1867), статского советника, купца 1-й гильдии, получившего титул барона в 1866 г. по случаю 100-летия торгового дома Кусовых; сын В.А. Кусова (см. примеч. 209). Ротмистр кавалерийского полка. С августа 1914 г. находился на фронте. Был тяжело ранен и контужен при крушении поезда. В 1937 г., находясь в ссылке в Куйбышеве (см. примеч. 223), передал в Русский музей портрет прапрадеда И.В. Кусова, написанный О.А. Кипренским в 1808 г.

146 См. примеч. 139.

147 *Ферма* императрицы Марии Федоровны в Павловске – комплекс построек молочной фермы начала XIX в., расположенный между деревнями Тярлево и Глазово. Одно из сооружений – молочня – поэтический крестьянский домик из крупных валунов, крытый соломой. Внутри молочни был салон с изящной и дорогой отделкой для отдыха. Излишки продукции фермы продавались населению.

148 В отличие от Смольевского-старшего, жена звала А.А. Смольевского Арсюней и Арсюнькой, хотя его детское имя Асик (он же прилюдно ее звал по имени-отчеству, а сокровенно – Талонька – производное от Наталии).

149 Вероятно, *фрейлейн Лундберг*, которая в адресной книге «Весь Петербург» за 1910 г. указана как Лундберг Лаура Бернгардовна.

[150] В машинописи стихотворение дано в несколько иной редакции, датировано 10 июня 1915 г. с пометкой: Царское Село.

[151] Екатерининский институт благородных девиц – закрытое среднее учебное заведение (Училище ордена св. Екатерины, основано в 1798 г.; набережная р. Фонтанки, 36, ныне в этом здании филиал Российской национальной библиотеки [РНБ]). В институт принимались девочки 10–16 лет. О. Ваксель была принята как дочь офицера-фронтовика (из поясн. А. С.) Окончившие семилетний курс получали звание домашних наставниц. А.А. Смольевский в воспоминаниях о подруге матери Е.В. Масловской (см. примеч. 165) писал, что она и ее сестра *Ирина* «были четвертым поколением из их семьи, которое училось в этом институте – они, их мать, бабушка и прабабушка. Здание на Фонтанке строил *Кваренги*. Институт сохранял порядки, форму в том виде, как это было при его основании во времена Марии Федоровны, жены Павла I. Девочек водили в *камлотовых платьях*, которые можно было поставить на пол, и они стояли. По утрам умывались холодной водой, волосы девочкам расчесывали специальные горничные. Каждый класс занимался по полгода в помещениях, выходивших окнами на Фонтанку, по полгода – в помещениях с окнами во двор и сад. Два раза в неделю воспитанниц могли посещать родители и знакомые – по четвергам и воскресеньям» (коммент. А. С.). Масловская *Ирина* Владимировна (в браке Чернышева, 1905–1996) – младшая сестра Е.В. Масловской (примеч. А. С.). *Кваренги* Джакомо (1744–1817) – итальянский архитектор, с 1799 г. работал в России. Почетный вольный общник ИАХ (1805). *Камлот* – плотная шерстяная или полушерстяная ткань, вырабатывавшаяся в XIX в. для пошива верхней одежды.

[152] Утренний чай начинался в 8 ч после подъема, туалета и молитвы. В связи с институтскими завтраками А.А. Смольевский вспоминал такой случай. Однажды одноклассница О. Ваксель Е.В. Масловская, навестившая его с женой в квартире на пр. Науки (см.: «От комментатора»), заметила: «По дороге к вам, я проезжала на трамвае мимо *фермы Бенуа*, оттуда в наш институт каждый день привозили в бутылочках кефир к завтраку...» (коммент. А. С.). *Ферма Бенуа* – Лесная ферма архитектора Ю.Ю. Бенуа (1890-е годы, пр. Бенуа, ныне Тихорецкий пр., 9).

153 Занятия проходили с 9 ч до 11 ч 30 мин и с 14 ч до 15 ч 30 мин, подготовление уроков, занятия танцами и пением длились с 18 ч до ужина (20 ч). *Законоучитель* протоиерей Василий Михайлович Темномеров. По принятой в гимназиях и училищах 12-балльной системе оценок 12-й балл был высшим. «Лютик хорошо училась, – вспоминала Е.В. Масловская. – Помню, когда она отвечала урок, говорила медленно и уверенно. Была талантлива, писала стихи» (*Готхард Н.Л.* Об Ольге Ваксель // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. С. 169).

154 Начитанность О. Ваксель отмечали многие из ее современников. А.А. Смольевский, в частности, приводил мнение брата О. Мандельштама (см. примеч. 163): «Она была очень начитана (недаром Евг[ений] Эм[ильевич] Мандельштам писал, что Лютик в 12 лет была развита не по возрасту)... <...> ...Была развитее своих сверстниц по Екатерининскому институту» и что она «заказывала много серьезных книг. Институтки в то время увлекались чтением Чарской», против чего возражала Ю.Ф. Львова (коммент. А. С.). *Чарская* (наст. фамилия Чурилова) Лидия Алексеевна (1875–1937) – актриса Александринского театра, писатель. Первая книга «Записки институтки» (1902) стала, как принято говорить, бестселлером. Автор многочисленных и популярных романов, повестей и рассказов для юношества. Ее книги – «Княжна Джаваха», «Люда Власовская», «Ради семьи», «Газават» и другие рекомендовались Министерством народного образования для библиотек школ и гимназий. Чарская отразила вкусы массового читателя 1900-х годов. Б.С. Житков в письмах 1920-х годов отозвался о ее творчестве: «Дрянь книги, но если девчонки до сих пор над ними плачут – значит нужны» (Сто поэтесс Серебряного века: Антология. СПб., 1996. С. 272).

155 *Метерлинк* Морис (1862–1949) – франко-бельгийский писатель, символист; драматург, лауреат Нобелевской премии (1911). *Пьер Луис* (1870–1925) – французский писатель, поэт и драматург. Сборник стихотворений в прозе «*Песни Билитис*» (1894) и роман «*Афродита*» – наиболее известные его произведения, возбудившие интерес к «прекрасному бесстыдству античной культуры» (А.Н. Бенуа). Современники осуждали произведения поэта как безнравственные.

156 Среди многих талантов, унаследованных О. Ваксель, был и музыкальный, о котором она в своих воспоминаниях умал-

чивает. «...В детстве Лютик училась игре на скрипке у Вальтера, автора начальной школы скрипичной игры “Первая позиция”». «Мама ничего не говорит об уроках игры на скрипке у Вальтера, о том, как и у кого она училась игре на фортепиано. Во времена моего детства у нее уже не было своей скрипки; я помню, как она раскрывала футляр скрипки Бурчика (*Б.М. Энкина. – Е. Ч.*, см. примеч. 309). ...На бабушкином рояле она быстро подбирала очень грамотный, как я могу теперь судить, аккомпанемент к песенкам легкого жанра, играла танцы. «...Я несколько раз слышал, как мама играла по слуху на рояле. Репертуар был далеко не классический, а довольно легковесный, вроде фокстрота “Шума полны бульвары, ходят, смеются пары...”; она напевала песенки... вальс-бостон “Рамона”; пела частушки... Помню, что она недурно свистела неаполитанские песни, чаще всего “O, Sole mio”» (коммент. А. С.). *Вальтер* Виктор Григорьевич (1865–1935) – скрипач, музыкальный критик, концертмейстер оркестра Мариинского театра (с 1890). Участник квартета (первая скрипка) «Русских камерных вечеров» в Петербурге. С 1925 г. жил в Париже.

[157] Преподавателем *немецкого языка* и литературы Екатерининского училища в 1916 г. была Эмма Карловна Волленберг, *французского языка* и литературы – А.М. Ронжье, Шарлота-Луиза Фребелиус и Мария Антуан[етта или Антуановна] Демаре.

[158] «*Живо, живо, дети*!» (*нем.*).

[159] *Fúśkelappen* – пользоваться шпаргалкой (*норвеж.*). Такое и подобные ему пояснения не оставляют сомнений, что эти фрагменты были написаны при участии иностранца.

[160] Начальница Екатерининского училища – Елена Михайловна Ершова. *Классными дамами* были: Елизавета Платоновна фон Баумгартен, Лидия Федоровна Берг, Агнеса Фридриховна фон Буш, Ольга Юльевна Елец. Инспектрисы – Любовь Петровна Пец и баронесса Елена Николаевна фон Герздорф, которую, видимо, и называли Елешкой.

[161] *Безе, меренги* – кондитерские изделия из взбитых яичных белков с сахаром.

[162] «Арсений Федорович получил от О. В. записку, в ней она просила извинения за то, что не успела попрощаться с ним перед отъездом из Царского [Села] и сообщала, что включила его

в список друзей, которым будет разрешено навещать ее в Екатерининском институте» (коммент. А. С.).

[163] *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891–1938) – поэт, прозаик, переводчик, критик. Вместе с ним в Екатерининском институте О. Ваксель навещал и его младший брат Евгений. *Мандельштам Евгений Эмильевич* (1898–1979) – врач, инженер, сотрудник Московского общества драматических писателей и композиторов (МООПИК, 1924–1931) и Ленинградской комиссии по улучшению быта литераторов (ЛЕНКУБЛИТ), работал как сценарист на студии научно-популярных фильмов при «Ленфильме». Он вспоминал: «Лютик училась в Петербурге в учебном заведении закрытого типа. По воскресеньям у нее был приемный день. Осип с Юлией Федоровной бывал у нее в эти дни. Часто брат брал с собой и меня. Я радовался – хотелось продолжить знакомство. В парадном конференц-зале только чинные разговоры, никаких детских игр, – все было казенно и скучно. Только посередине зала высилась горка, с которой можно было скатываться на ковриках, что мы с Лютиком и делали неоднократно. Недреманным оком следило за порядком институтское начальство» (*Мандельштам Е.Э.* Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 172). Знакомство О. Ваксель с поэтом произошло, когда она была девочкой. По мнению А.А. Смольевского, это случилось летом 1916 г. в Коктебеле; Е.Э. Мандельштам называет лето 1915 г., хотя описывает события 1916 г., поскольку О. Ваксель с матерью была в Коктебеле только в 1916 и 1917 гг. (см. примеч. 176, 206, 207). Вероятно, говоря о визитах поэта до событий коктебельского лета 1916 г., О. Ваксель ошибочно смещает упоминание о знакомстве с О. Мандельштамом на год вперед.

[164] О своем деде А.А. Смольевский вспоминал: «В начале 1916 г. он был мобилизован. От этого времени осталась его фотография – седой, сильно постаревший, но все еще породисто-красивый» (Восп. А. С. Л. 30).

[165] *Масловская* Елена Владимировна (Леля, 1903–1988) – однокурсница и подруга О. Ваксель по Екатерининскому институту благородных девиц. «Подруга Лютика ... появилась на свет тоже в Ковне, как и Лютик, но только на четыре месяца позже... Отец Елены Владимировны служил тогда вместе с зятем моего деда Богдановичем, т. е. жена Богдановича Мария Александровна была сестрой моего деда А.А. Ваксели (см. примеч. 26). <...> Среди

своих предков по материнской линии тетя Леля упоминала графа Гауэншильда и баронессу фон-Винклер, а также *сестер Шишмаревых*, известных по портрету *Брюллова*. <...> Об отце своем тетя Леля рассказывала ... примерно следующее. Он был родом из татар, осевших в Литве в “Смутное время”, – которые так и назывались – “татарва литовская.” Им было разрешено жениться на литовских девушках, оставаясь магометанами. <...> Мать тети Лели и ее тетка носили фамилию Воршевы» (коммент. А. С.). *На «Портрете сестер Шишмаревых»*, написанном К.П. Брюлловым (1839, ГРМ), изображены Александра Афанасьевна (1820–1893, в первом браке Чернышева, во втором – Дурасова) и Ольга Афанасьевна (1821–1868, в замужестве Олсуфьева) – дочери известного петербургского театрала и садовода-любителя А.Ф. Шишмарева и А.С. Шишмаревой, урожденной Яковлевой. Предки Е.В. Масловской: Елена Константиновна фон-Винклер и Дмитрий Иванович *Воршев*. Их дочери: *Воршевы Ольга Дмитриевна* (ее муж Владимир Александрович Масловский) и *Мария Дмитриевна* (муж Егор Егорович Дерикер, гомеопат). «От тети Лели я узнал, что Мария Дмитриевна гадала на картах моей маме перед ее отъездом в Норвегию: “Карты все время выходили такие, что хуже быть не может, и тетя Маня старалась выдумать для Лютика что-нибудь утешительное. Увидев последние фотографии Лютика ... она взяла снимок в профиль, повернула лицом кверху и воскликнула: “Это же совсем мертвое лицо, точно Лютик лежит в гробу!”» (коммент. А. С.). Некоторые подробности из прошлого семьи Масловских передает запись беседы А.А. Смольевского с Е.В. Масловской. «“А где ваше семейство жило в Петербурге до революции”, – спрашивал я как-то тетю Лелю. – “На Измайловском, в том доме, где теперь магазин “Стрела”. В доме был лифт, паровое отопление, прекрасные квартиры и управляющим был барон Цур Мюлен” (Мне было бы интересно выяснить, какое отношение он имел к жандарму Андрею Цурмилену, наблюдавшему когда-то за сборищами друзей у моего прадеда петрашевца Федора Николаевича Львова в Соляном городке, о чем мне рассказывала бабушка, вспоминая свое детство; ее пугали, что отдадут Цурмилену; не имел ли он также отношение к композитору Андрею Александровичу Цурмилену, члену ЛССК в предвоенные годы?)» (коммент. А. С.). *ЛССК* – Ленинградская органи-

зация Союза композиторов РСФСР (1957), творческая общественная организация композиторов и музыковедов, существует с 1932 г.

166 Унаследованная от предков склонность к рисованию рано проявилась у О. Ваксель. Она продолжала эти занятия вплоть до конца своей жизни. В Екатерининском институте учителями рисования были А.Б. Виллевальде, сын известного баталиста, и барон П.Р. Медем; затем последовали занятия под руководством В.М. Баруздиной (см. примеч. 171). «Бабушка рассказывала мне, что мама в детстве любила *рисовать иллюстрации* к сказкам, например: “Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей”. Мне жаль, что за время нашей с бабушкой эвакуации в нашей квартире пропала библия на французском языке с закладками, сделанными мамой акварелью на узких полосках бумаги, например, с одной стороны перистые ветви деревьев на фоне заката, с другой – морское дно с водорослями и раковинами» (коммент. А. С.). В собрании Музея Анны Ахматовой только две живописные работы О. Ваксель. Натюрморт с анютиными глазками – не вполне самостоятельная вещь: если не дамское баловство, то словно исполнение чужой воли (может быть, гипноз Баруздиной, вышколившей ученицу?). Вид из кухни квартиры на Таврической улице во двор на соседние окна и крышу, написанный маслом на картоне, любопытен с точки зрения топографии места. Но есть в нем и эмоциональный подтекст. Мутноватый колорит зимнего пейзажа выдает угнетенность или тревогу автора: желтые стены зданий с зеленоватыми тенями и замкнутость дворового пространства на стыке двух фасадов рождают ощущение безысходного одиночества. Если ранняя графика О. Ваксель – романтические марины с парусниками (есть и акварель 1918 г. со сценой корабля, попавшего в шторм) и мотивы «дамского» творчества – женские головки, красотки с собачками, «незнакомки», то к осени 1932 г. относятся два рисунка, исполненные черной тушью кистью. Вероятно, они сделаны с натуры. Первый – интерьер дома Вистендалей с переплетом огромного окна и цветочными горшками на подоконнике (на обороте дата: Okt 32), другой лист – пейзаж с деревьями и их отражением в воде. Выбор материала и характер рисунка, безусловно, передают некое напряжение и тревогу.

[167] *Тритоны* – род моллюсков, которые водятся в морях жаркого и умеренного климатических поясов. Аксолоты, аксолоть – хвостатое земноводное из отдела амфибий (голых гадов).

[168] *Птицын* Виктор Александрович – преподаватель естественной истории Екатерининского института.

[169] *Учитель танцев* – Николай Сергеевич Аистов, артист императорских театров.

[170] Герцог Г. Лейхтенбергский (примеч. О. Ваксель). *Крестный О. Ваксель* – Лейхтенбергский Георгий Николаевич (Гиги, 1872–1929) – герцог, внучатый племянник Николая I. Командир эскадрона лейб-гвардии Конного полка, полковник. Председатель общества ревнителей истории (1912), почетный председатель петербургского общества охотников. Сослуживец А.А. Ваакселя по Кавалергардскому полку.

[171] *Баруздина Варвара Матвеевна* (1862–1941/1942) – художница, училась в ИАХ, *давала частные уроки*; соседка Ю.Ф. Львовой и О. Ваксель по квартире на Таврической улице (см. примеч. 221). Автор многочисленных портретов О. Ваксель, а также Ю.Ф. Львовой, Х. Вистендаля, переданных А.А. Смольевским в Дом-музей П.П. Чистякова (НИМРАХ). На одном из портретов О. Ваксель (1932, тушь, перо) художница написала стихи, которые Юлия Федоровна прикрыла сухими настурциями. «Она у тебя получилась старше, чем была в действительности», – говорила она Баруздиной. Портретистка отвечала: «Люди с такими правильными чертами лица всегда кажутся старше своих лет, но зато долго выглядят молодыми» (из поясн. А .С.).

[172] С уходом мужа на фронт Ю.Ф. Львова поселилась в Царском Селе во Фридентальской колонии (см. примеч. 128). Дом 20 находился почти напротив расположенной на нечетной стороне Московского шоссе дачи П.П. Чистякова. Имеется свидетельство А.А. Смольевского, что на некоторое время она с дочерью перебралась, очевидно, при участии В.М. Баруздиной, в чистяковский флигель «Плач Ярославны» (см. примеч. 100), где занимали нижний этаж. Здесь во время приступов ревматизма Лютика навещали великие княжны (из поясн. А. С.). Сохранилась фотография О. Ваксель того периода (Дом-музей П.П. Чистякова). Девочка снята в интерьере флигеля во время болезни. Однажды сюда приходил С.А. Есенин (сообщено Н.М. Молевой, Москва).

[173] *Теософское общество* основали в 1875 г. в Нью-Йорке Е.П. Блаватская (1831–1891) и американский юрист полковник Г.С. Олькотт (1832–1907) с целью «сформировать ядро всемирного Братства», «содействовать сравнительному изучению религий и философий», «исследовать неизученные законы природы и скрытые силы человека». Теософия как религиозно-мистическое учение считала «самым великим и справедливым закон многократного нового рождения человека на этой земле» (цит. по: *Блаватская Е.П.* Тайная доктрина. Эзотерическое учение. М., 2000. Т. 3. С. 92). Имеет своих последователей во многих странах мира. В начале XX в. после раскола общества из теософии выделилась антропософия. К теософскому обществу принадлежали большинство лиц из близкого окружения Ю.Ф. Львовой. Они, согласно учению о перевоплощениях и трансмиграции, верили в то, что у каждого из них прежде была какая-то другая жизнь, например в Египте или Индии. Когда в городе началась «уплотнительная» политика, Ю.Ф. Львова «самоуплотнилась», поселив в свою квартиру друзей-теософов (см.: *Ласкин А.* Ангел, летящий на велосипеде. С. 50–51). О. Ваксель теософией не интересовалась (из поясн. А .С.).

[174] В.М. Баруздина была дочерью старшей сестры художника-педагога Павла Петровича *Чистякова* (1832–1919). В Петербург она приехала из тверского г. Красный Холм для учебы в Академии художеств и поселилась у дяди. Своей семьи не имела, поэтому жила то у родственников, то у Ю.Ф. Львовой, то при монастырях. В квартире Ю.Ф. Львовой она при ее малом росте занимала просторный платяной шкаф (в нем оборудовали электричество), откуда наблюдала и зарисовывала жизнь домочадцев (см. примеч. 220). В 1915–1916 гг. художница снимала квартиру совместно с В.Г. Кусовым на ул. Ставропольской, 1. П.П. Чистяков был не *академиком*, а профессором исторической и портретной живописи ИАХ (с 1892); в 1912 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника. По его педагогической системе обучались многие известные художники.

[175] *Савинский* Василий Евменьевич (1859–1937) – художник и педагог. В 1926–1932 гг. был председателем кружка им. П.П. Чистякова, на рисовальных вечерах которого в 1929 г. О. Ваксель позировала в качестве модели. В различных государ-

ственных и частных собраниях сохранились ее портреты, исполненные художниками – членами кружка (см.: *Чурилова Е.Б.* Указ. соч. С. 206, 280).

176 *Коктебель* – поселок в Крыму у подножия вулканического массива Карадаг. О. Ваксель с матерью и ее спутниками отдыхала в Коктебеле с 8 мая по 13 августа 1916 г. О популярности этого места отдыха говорят строки из письма В.Ф. Ходасевича жене: «В Коктебеле около ста домов и около 2 тысяч обитателей» (цит. по: *Купченко В.* Труды и дни. 1877–1916. СПб., 2002. С. 400).

177 *Линейка* – род телеги, запряженной парой лошадей, со скамьей для пассажиров, рассаживающихся спинами друг к другу.

178 *Волошин* Максимилиан Александрович (1877–1932) – поэт, литературный критик, *художник*, искусствовед, переводчик. В записной книжке поэта имеется отметка о его посещении Ю.Ф. Львовой в Петербурге на ул. Таврической (см. примеч. 221) 13 апреля 1916 г. Возможно, это произошло вскоре после их знакомства, за которым последовало и приглашение в Коктебель. Один из портретов поэта, написанный В.М. Баруздиной в 1916 г. гризайлью, до 1934–1935 гг. находился у Ю.Ф. Львовой (ныне в Государственном литературном музее г. Москвы). Художница забрала холст во время одного из визитов к композитору. Бабушка с внуком в 1935–1942 гг. жили в доме 35/1 по ул. Таврической/Тверской в квартире на первом этаже.

179 В *доме* Волошина в августе 1984 г. открыт мемориальный музей, сохранивший подлинную обстановку мастерской и летнего кабинета поэта. Двусветная мастерская была пристроена к дому в 1912 г., отделка закончена в 1913 г. Летняя двухэтажная пристройка дома имела длинный балкон, называемый палубой, в отличие от нижней палубы – южной террасы ее одноэтажной части. Летний кабинет хозяина назывался подмышкой. Софья Исааковна Дымшиц (1889–1963, в 1907–1914 гг. вторая жена писателя А.Н. Толстого) вспоминала: «У Волошина была прекрасная мастерская, великолепная библиотека. Вся крымская и приезжая интеллигенция группировалась вокруг этого поэта и художника. Было чудесно жить и работать в его доме, находившемся на самом берегу Черного моря, на террасах, балконах, в мастерской или просто на берегу моря или в горах.

Вся жизнь в Коктебеле, вся атмосфера в доме были насыщены творческой работой, творческой инициативой, в солнечной здоровой обстановке, среди глубоко интеллектуальных людей. Сам М. Волошин и его мать были широкими артистическими натурами, пламенно любившими искусство и творческого человека. В их доме каждый находил себя, каждый чувствовал себя дома» (Воспоминания художницы С.И. Дымшиц-Толстой. 1961 // ОР ГРМ. Ф. 100. Ед. хр. 249. Л. 40–41).

180 К Волошину в Коктебель в 1911–1932 гг. летом съезжались поэты из Москвы и Петербурга. В 1916 г. в его доме, кроме лиц, которые О. Ваксель упоминает в своих мемуарах, отдыхали М.П. Арцыбашев, О.Э. и Е.Э. Мандельштамы, Ю.Л. Оболенская, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева, С.Я. Эфрон и другие. Состав гостей (числом от 10 до 20 человек) постоянно менялся; но, несмотря на это, М.А. Волошин в 1916 г. неустанно работал, в частности завершил и готовил к изданию эссе о В.И. Сурикове. С.И. Дымшиц-Толстая вспоминала: «В доме всегда были гости – дневали, ночевали, жили месяцами. Каждому вновь прибывшему давали кличку, которая сразу делала его членом общества» (Воспоминания художницы С.И. Дымшиц-Толстой... Л. 41). Об этой же специфичности отношений гостей дома поэта писал и А.А. Смольевский: «В 1916 г. в Коктебеле, когда на волошинской даче затеяли игру: определить характер каждого из участников на основе названия какой-нибудь басни Крылова, – бабушку Юлию Федоровну назвали “Стрекоза и муравей”, Лютика – “Зеркало и обезьяна”, а самого Макса – “Пустынник и медведь”» (Восп. А. С. Л. 85).

181 Речь о Елене Оттобальдовне Кириенко-Волошиной, урожденной Глезер (1850–1923). «*Мать* его, которую никто никогда не осмелился бы назвать старушкой, была прелестна со своей пышной серебряной шевелюрой и удивительно живыми умными глазами. Она носила мужские бархатные *шаровары*, высокие желтые чувяки и вышитый кафтан. *Курила трубку*» (Воспоминания художницы С.И. Дымшиц-Толстой... Л. 41). Портрет Е.О. Кириенко за вязанием – рисунок В.М. Баруздиной (1916, Дом-музей П.П. Чистякова) – висел у О. Ваксель в комнате. После ее отъезда в Осло в 1932 г. художница забрала портрет в Детское Село в дом своего дяди (см. примеч. 178, 174). Лист поступил в музей от наследников П.П. Чистякова.

182 О ритуале *купания* поэта вспоминали и другие его гости. «М. Волошин ходил в тоге, с венком из полыни на голове. Он купался ежедневно в море летом и зимой, за что получил среди окрестных жителей-крестьян кличку “буйвол”. Обаяние и благородство души этого человека были беспредельными» (Воспоминания художницы С.И. Дымшиц-Толстой... Л. 41). В.Ф. Ходасевич писал жене о встрече с О. Мандельштамом на пляже: «Здесь просто. Ходят в каких-то совершенных отрепьях, купаются в чем попало...» (цит. по: *Купченко В*. Труды и дни... 1877–1916... С. 399).

183 *Кедровы – профессора* Петербургской консерватории: Николай Николаевич (1871–1940) – камерный певец, артист оперы, композитор, руководитель придворной певческой капеллы. Основатель и руководитель вокального «Квартета Кедрова», впервые выступившего с концертом в 1898 г. в Петербурге. Репертуар квартета составляли русские народные песни, романсы и оперная музыка. В 1917 г. с семьей эмигрировал в Берлин, затем в Париж. В эмиграции квартет был воссоздан, исполнял в основном церковные песнопения. В 1922 г. Кедров написал свое лучшее сочинение – песнопение «Отче наш». София Николаевна (урожд. Гладкая, 1875–1965) – камерная певица, артистка оперы (лирическое сопрано), педагог (с 1903 г.), с 1913 г. – профессор консерватории. В эмиграции преподавала в Парижской консерватории.

184 *Дети Кедровых*: *Ирина* Николаевна (1903–1989) – танцовщица; Николай Николаевич (*Колюн*, 1905–1981) – пианист, певец, композитор. Учился в Петербургской консерватории как пианист, в Берлине окончил дирижерский курс (дирижер оркестра). С 1917 г. жил в эмиграции в Париже, окончил Русскую консерваторию им. С. Рахманинова. Служил во французской армии, был депортирован в Германию. После возвращения из немецкого плена возродил основанный отцом квартет. Занимался церковной музыкой; Елизавета Николаевна (*Лиля*, род. ок. 1910) – актриса театра и кино. С 1917 г. жила в эмиграции в Париже, жена французского режиссера Пьера Вальда.

185 *Павловы* – семья крупных землевладельцев в Коктебеле в начале XX в. Родители: Василий Николаевич (1852–1920) – инженер путей сообщения, уроженец Харькова, двоюродный брат ученого И.П. Павлова; Александра Николаевна (урожд. Брачер, 1862–1957 или 1864–1955) – певица, пианистка (с 1916 г. до сере-

дины 1920-х годов жила с детьми безвыездно в Коктебеле). Дети: Александра Васильевна (Шура, 1891–1959) – певица, окончила Петербургскую консерваторию по классу вокала и Сорбонну, работала в Феодосийской картинной галерее; Николай Васильевич (1893 – ок. 1942) – пианист, поэт (псевдоним Ардавдин, см. примеч. 190), учился в Харьковском университете; Евгений Васильевич (видимо, *Жак*, 1895–1919) – студент-медик; Екатерина Васильевна (1896–1979) – переводчица, поэтесса; Анна Васильевна (*Нюра*, в браке – Ширманова, 1900–1982) и ее брат-близнец – Алексей Васильевич (*Леля*, 1900 – ок. 1937, в лагере под Хабаровском) – инженер-геолог, женат не был (сведения из рабочей картотеки В.П. Купченко предоставлены Р.П. Хрулевой). На участке Павловых помимо дома и флигеля были теннисный корт, виноградник и фруктовый сад. С 1932 г. аэродинамический институт начал выкупать собственность семьи. Дом и флигель уничтожены во время Великой Отечественной войны. В настоящее время на бывшей территории имения Павловых размещена турбаза «Приморье». См.: *Жарков Е.* Страна Коктебель. Культурные очаги. Середина XIX – середина XX веков. Киев, 2008. С. 57–63.

[186] 18 июля 1916 г. в Феодосии на вечере Общества спасения на водах в городском летнем театре был дан концерт, в котором приняли участие: поэты М.А. Волошин («мистический гурман», по определению В.Ф. Ходасевича; здесь и далее см.: *Купченко В.* Труды и дни... С. 404), О. Мандельштам («посмешище всекоктебельское», стихи которого вызвали «сплошной смех»), В.Ф. Ходасевич; певцы Н.Н. Кедров, А.В. Павлова и другие; музыканты: Ю.Ф. Львова («композиторша»), С.С. Дыммек, Н.В. Павлов, А.А. Борисяк; артисты Е.И. Арцыбашева-Княжевич, О.В. Бакланова, Н.О. Массалитинов и другие. «Хор коктебельцев, руководимый Н. Кедровым, исполнил плясовые и хороводные песни, “Светит месяц”, частушки “Ванька-Танька”, коктебельский марш “Крокодила”, песню сибирских стрелков». В отчете о вечере газета «Южные ведомости» сообщила и о валовом сборе – 1601 рубль (Там же. С. 404).

[187] *Бакланова* Ольга Владимировна (1899–1974) – актриса, ученица К.С. Станиславского. Начала актерскую карьеру в Московском художественном театре (1915). Играла в музыкальной студии при МХТ (с 1919 г.). Снималась в кино. Заслуженная

артистка РСФСР. В 1925 г. во время гастролей театра осталась в США, в 1927 г. продолжила карьеру в Голливуде, сыграла несколько ролей в кино, в том числе в фильме Т. Броунинга «Уроды» (1932). В конце 1930-х годов пела в русском кабаре в Нью-Йорке, вела передачи на радио. В 1940 г. играла на Бродвее.

188 *Арцыбашева* Елена Ивановна (урожд. Княжевич) – жена *писателя* Михаила Петровича Арцыбашева (1878–1927). *Незлобин* Константин Николаевич (настоящая фамилия Алябьев, 1857–1930) – антрепренер, режиссер и владелец театра (Москва).

189 *Борисяк* Андрей Алексеевич (1885–1962) – виолончелист, профессор Харьковской консерватории, поэт, астроном. «Прославился тем, что, еще будучи гимназистом, наблюдая ночное небо, открыл неизвестную ранее астрономам звезду, за что был отмечен личным подарком Николая II – подзорной трубой» (цит. по: *Иванов Г.В.* Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. М., 1993. С. 641). Принимал участие в альманахе «Студия импрессионистов» (издание Н.И. Кульбина, 1910): опубликовал стихотворение «Гроза» и статью «О живописи музыки». *Бибер* Евгения Эдуардовна (1891–1974) – балерина, педагог. По окончании Петербургского театрального училища работала в Мариинском театре (1909–1954). Участница Русских сезонов (1910–1913). Профессор Ленинградского хореографического училища (1932–1936 и 1952–1970). Заслуженная артистка РСФСР (1940). *Кернер* Анна Иосифовна – певица, солистка Малого государственного академического оперного театра (Михайловского). *Кожухова* (Ходжейнатова) Мария Алексеевна (1897–1959) – артистка балета и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1937) и Узбекской ССР (1950). Танцовщица Мариинского театра (1915–1933). Преподавала в Петроградском хореографическом училище и первом хореографическом техникуме (1919–1933). В 1933 г. оставила сцену, переехала в Москву, где стала одним из ведущих педагогов классического танца Московского хореографического училища (1933–1959).

190 *Ардавда* – древнее название Феодосии. Владельцем яхты был Н.В. Павлов.

191 Вероятно, речь о прогулке, нередкой для гостей Волошина, к *горе* Кызыл-Таш («Красный камень»), на которой были остатки древнегреческого скального *монастыря*. Здесь с 1853 г.

находился мужской монастырь Св. Стефана Сурожского (закрыт в 1923 г., уничтожен в 1950 г., восстановлен в 1997 г.). Вблизи поселка Коктебель на холме Тепсень («блюдо») находились средневековые храмы и большая базилика, руины которых поднимались над поверхностью земли еще в начале XX в. В советский период там проводились раскопки.

192 А.А. Смольевский в этом месте дал оригинальное пояснение: «Купальники назывались “костюмами невидимых помощников”, сокращенно – “невидипомó”». Как видно, такое название было принято в определенном узком кругу того времени и могло быть услышано им от бабушки (см. также примеч. 182).

193 О возникновении имени Пра (производном от «праматерь»), закрепившемся за Е.О. Кириенко, говорит следующая история, которую ниже пересказывает О. Ваксель. В мае 1911 г. в Коктебеле гостили М.С. Лямин, кузен Волошина, Эфроны, а также влюбленный в Елизавету Яковлевну Эфрон (Лилю, 1885–1976) французский предприниматель Жулиа. «Последнего мистифицируют, выдав М[акса] В[олошина] за мужа Лили, а Е[лену] О[ттобальдовну] – за “праматерь” (сокращенно “Пра”) всех обитателей дачи. Последним М[акс] В[олошин] дает имя “обормотов” (в отличие от других дачников все они ходят босиком или в сандалиях, увлеченно мистифицируют друг друга и посторонних, а женщины носят шаровары, сочиняют обормотский гимн...)» (см.: *Купченко В.* Труды и дни... С. 271). Этой истории посвящен один из сонетов о Коктебеле М.А. Волошина – «Француз» (1911).

194 *Синапли*, точнее Синопли, Александр Георгиевич (1879–1943) – грек; с лета 1912 г. вместе с женой Варварой Семеновной держал в Коктебеле кофейню «*Бубны*».

195 Кафе названо в честь новообразованного художественного общества «Бубновый валет». В рекламе кофейни предлагались шашлыки и чебуреки из мяса молодых барашков, прохладительные напитки, «а также во всякое время кофе, чай, какао, шоколад и пр.». «Бубны» стали местом проведения поэтических вечеров; здесь выступали и О.Э. Мандельштам, и М.И. Цветаева. В годы Гражданской войны заведение Синопли было уничтожено взрывом. Затем кофейня возродилась, стала небольшим заурядным винным погребком. Закрыта в начале 1930-х годов (см.: *Жарков Е.* Указ. соч. С. 89–94, 404–405).

[196] *М.А. Волошин* с художниками В.П. Белкиным, А.В. Лентуловым и *А.Н. Толстым* расписали в июле 1912 г. различными натюрмортами, шаржированными портретами знакомых с шуточными стихотворными надписями небольшой сарай, стены которого стали кофейней.

[197] «Мама ничего не пишет о прогулках с бабушкой и Матвеичем на Карадаг, – дополняет описание коктебельского лета А.А. Смольевский, – об акварелях Макса, подаренных и бабушке и ей, которые украшали ее комнату (см. примеч. 311), о фонаре из цветных стекол, сделанном для нее Максом – пять маленьких витражей, образующих куб без верха, подвешенный четырьмя подвесками из "лягушек" – камней зеленого цвета; ничего не пишет о своих рисунках, сделанных в Крыму, и, конечно, о своих стихах, написанных там и обращенных к А.Ф.[Смольевскому]». 1916 годом датировано стихотворение: «Эти кудри ветер рвал, / Эти очи солнце жгло, / Вихрь пенный целовал / Загорелое чело... / Нет, меня не ждет опасность, / Даже, если ты влюблен, / Эту солнечную страстность / Побеждает сердца сон». Из Коктебеля Ю.Ф. Львова привезла, помимо прочего, кустарные мешочки, табурет и абажур для люстры, который во время войны при переезде на 4-ю Советскую улицу оставила в доме на Таврической (из поясн. А. С.; см. примеч. 178).

[198] «*Полосатками*» называли горничных, видимо, из-за их форменной одежды. *Дортуар* – общая спальная комната в закрытом учебном заведении – институте, пансионе.

[199] *Убийство Г.Е. Распутина* произошло 16 декабря 1916 г. во дворце князей Юсуповых (наб. Мойки, 94) при участии Ф.Ф. Юсупова, великого князя Дмитрия Павловича и В.М. Пуришкевича.

[200] *2 (15) марта 1917 г.* Николай II подписал за себя и за своего сына манифест об отречении от российского престола в пользу брата – великого князя Михаила Александровича. Было создано первое Временное правительство. 3 (16) марта Михаил Александрович подписал манифест об отказе от прав на российский престол (опубликован 4 марта). Прекращение правления династии Романовых.

[201] *Дядин* Анатолий Иванович – подпоручик 1-го железнодорожного полка.

[202] *Учредительное собрание* – парламентское учреждение, выборы в которое проходили 12–14 (25–27) ноября 1917 г. Было избрано 715 депутатов, большинство голосов получили эсеры (ок. 59%). Первое заседание состоялось 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде. Когда собрание не приняло предложенную большевиками, оказавшимися в меньшинстве, «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», они вместе с левыми эсерами покинули зал заседания. В ночь с 6 (19) на 7 (20) января караул во главе с матросом А.Г. Железняковым разогнал Учредительное собрание; декретом ВЦИК оно было распущено.

[203] *Махиндрапис* – еврейский жаргон, значит удирать (примеч. О. Ваксель.). От немецкого глагола machen –делать, обе части этого слова есть в идише (сообщено специалистом по иудаике В.А. Дымшицем, СПб.).

[204] О дальнейшей судьбе А.А. Ваксел, видимо, было известно Ю.Ф. Львовой. Сохранилось свидетельство А.А. Смольевского: «После окончания войны и Октябрьской революции дедушка окружным путем (через Югославию) добрался до своего литовского имения.

...Доживал свой век дедушка в своей усадьбе (часть земель была продана), а зимой 1926 года, переезжая в санях в трескучий мороз по льду через Неман, попал в прорубь. Кучеру удалось спастись, а сани с дедушкой, на котором было три шубы, и лошади ушли под лед. Тело дедушки нашли только поздней весной, намного ниже по течению реки. Ему цыганка предсказала: “Бойся воды”. Вот и сбылось! Вдова его осталась с детьми в довольно стесненных денежных обстоятельствах» (Восп. А. С. Л. 30).

[205] Вероятно, семья *Ниселовского* Александра Константиновича (сообщено Р.П. Хрулевой). В Адресной книге «Весь Петроград» он назван техником, почетным гражданином.

[206] Ю.Ф. Львова в 1917 г. была в Коктебеле только две недели – с 20 июня по 3 июля. 24 июня датировано посвященное ей стихотворение М.А. Волошина «Подмастерье», которое поэт в автобиографии называл своим «поэтическим символом веры». Годом раньше поэт подарил композитору книгу «Anno mundi ARDENTIS» (1915) с автографом: «Я благодарю Вас, Юлия

Федоровна, за то, что Вы освободили меня от многих моих стихов, поняв их. Максимилиан Волошин. Коктебель. Лето 1916». Ю.Ф. Львову сопровождал в поездке из Петрограда на юг и обратно Г.В. Кусов. Барон оставил матери поэта свой браунинг на случай возможных «вторжений», а Львова увезла около 40 (см. примеч. 311) акварелей Волошина для продажи. 2 октября она сообщила поэту о своих хлопотах по устройству выставки и о посылке с Н.Н. Кедровым 100 рублей, вырученных за картины (см.: *Купченко В*. Труды и дни... 1917–1932... С. 22, 23, 30).

[207] О. Ваксель уехала из Коктебеля в середине августа 1917 г. 7 августа она написала «стихотворное послание» А.Ф. Смольевскому в Петроград «О тебе в холодном Петрограде, сонном...» с пометкой: Коктебель. Можно предположить, что стихотворение, начинающееся строками «Я давно тебя полюбила, / Но о близости боли зная, / Образ твой глубоко хранила / Вместе с ликами тайного рая...», также обращено к будущему мужу. Стихотворение заканчивается словами: «Для тебя давно таила / (И какое нужно искусство, / Чтобы выжить ему) до могилы / Голубое крылатое чувство».

[208] *Ламбрекены* – полоса из ткани (обычно в сборку) в верхней части дверных и оконных проемов. В связи с общей тревожной атмосферой население предпринимало различные меры для самообороны. Ю.Ф. Львова сообщала 2 октября 1917 г. М.А. Волошину в Коктебель, что «пугачи в Петрограде больше не достать» (см.: *Купченко В*. Труды и дни...1917–1932... С. 30).

[209] *Кусов* Владимир Алексеевич (1851–1917) – барон; действительный статский советник; чиновник особых поручений Дирекции императорских театров (1896–1900), заведующий монтировочной частью Петербургской конторы (1900–1914), управляющий Петербургской конторой (1914–1917), казначей императорских обществ – русского театрального, а также рыбоводства и рыболовства; почетный член Петербургского совета детских приютов. Домовладелец, проживал на Невском пр., 50. Был попечителем Александро-Невского прихода. Семейный склеп Кусовых находится на Лазаревском кладбище (некрополь XVIII в.) *Александро-Невской лавры*. А.А. Смольевский писал об отце Г.В. Кусова: «...барон Владимир Алексеевич разорился, затеяв

создание а[кционерного] общества “Соль-масло”, которое прогорело, после чего его хватил удар. Остатки ценных бумаг стали недействительными после революции. Имение и дачи были реквизированы» (коммент. А. С.).

210 *Смольный* институт основан в 1764 г. как привилегированное закрытое учебное заведение для девочек в возрасте от 6 до 18 лет из аристократических семей. Ликвидирован в 1917 г.

211 В связи с происходящими в городе событиями *занятия в Екатерининском институте прекратились*, не состоялся и выпуск 1917 г. А.А. Смольевский записал фрагмент своей беседы с Е.К. Лившиц о том времени: «В дни февральской революции, как мне рассказывала бабушка Юлия Федоровна, она с Лютиком, возвращалась вечером в темноте и во время перестрелки домой на Таврическую, прижимаясь к стенам домов на Шпалерной. – “Для охраны институток, – сказала Е.К. [Лившиц], – в февральские дни был выделен специальный отряд пажей. ... Да, последний выпуск был в 1916 году. По традиции царь на выпускном вечере танцевал мазурку в первой паре с самой очаровательной красавицей выпуска. В тот год ею была Патя (Клеопатра) Жаховская”, – и она показала мне небольшую акварель – уголок в доме П.П. Чистякова, у которого Патя училась. – “А какова была ее судьба?” – “Очень тяжелая. Она вышла замуж, были переезды, аресты... потеря мужа...”» (коммент. А. С.). *Клеопатра* (Патриция?) *Жаховская* (ум. не ранее 1945 г.) – художник-любитель; была невестой рано умершего внука П.П. Чистякова Игоря Васильевича Дурдина (1894–1918). Последние годы жизни провела в Подмосковье (сообщено О.И. Квадэ). *Екатерина Константиновна Лившиц* (урожд. Скачкова-Гуриновская, 1902–1987) – балерина, жена поэта-футуриста и переводчика Бенедикта Константиновича (Наумовича) Лившица (1886/1887–1938, репрессирован), близкая подруга Н. Мандельштам. А.А. Смольевский, сообщив о похоронах Е.К. Лившиц 7 декабря 1987 г., посетовал, что услышанное от нее стал записывать спустя время по памяти.

212 *Керенский* Александр Федорович (1881–1970) – член Государственной Думы, с 7 (20) июля 1917 г. возглавлял Временное правительство; военный министр, затем премьер-министр и Верховный главнокомандующий. Тайно бежал из Петрограда в Гатчину вместе с эсером Б.В. Савинковым накануне штурма

Зимнего дворца 25 октября (7 ноября). В 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. жил в США.

213 *Мариинский институт* – один из 11 женских институтов в Петербурге начала XX в. (ул. Кирочная, 54). После закрытия Екатерининского института О. Ваксель совмещала учебу с работой на книжном складе (из пояснений А. С.). Далее говорится о том, что она много читала, видимо, имея доступ к книгам на этой службе.

214 *Лесманы*: Иосиф Антонович – артист, Софья Фокионовна, Людвик Антонович и Мария Федоровна Лесман-Гарденина – друзья Ю.Ф. Львовой (примеч. А. С.).

215 О красоте О. Ваксель неоднократно упоминали различные мемуаристы. И.В. Чернышева (см. примеч. 151) признавала: «Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад, темные глаза, большие брови. ... фотографии не передают ее красоту... Она была необыкновенной, незаурядной женщиной. Чувствовался ум, решительный характер. И в то же время ощущалась какая-то скрытая трагичность» (*Готхард Н.Л.* Указ. соч. С. 169). О. Ваксель подарила О. Мандельштаму свою фотографию, на которой она запечатлена в профиль с руками (из поясн. А. С.). Возможно, речь о кинопробе студии ФЭКС (с платком на голове, см. примеч. 278).

216 *Бекеша* – верхняя мужская одежда на меху, в талию и со сборками.

217 О раннем *замужестве О. Ваксель* сохранились разноречивые мнения. Так, А.Ф. Смольевский уверял сына во время одной из встреч, произошедшей не ранее 1950 г., что мать Лютика «хотела сбыть с рук дочь и потому поскорее выдала ее замуж» (Восп. А. С. Л. 10). Однако, судя по другим поступкам О. Ваксель, она была достаточно самостоятельна в принятии решений (см. также примеч. 236). «Лютик *вышла замуж за А.Ф.*, едва ей исполнилось восемнадцать лет, никакие попытки близких отговорить ее, не помогали» (коммент. А. С.).

218 Этот факт нашел отражение в следующем замечании А.А. Смольевского: «Помню, как я однажды в детстве спросил у бабушки Юлии Федоровны, можно ли сварить суп из листьев от редиски. “Это ужасная гадость, – сказала бабушка, – но вот Корольчата варили”. И спустя много лет она вспоминала: “Иногда

вдруг у Корольковых оказывалась какая-то еда – украденная. Анна Викторовна растерянно говорила, что Таня ее... нашла. Она верила!"» (примеч. А. С.).

[219] *Териоки* – курортная местность на берегу Финского залива. До 1940 г. – поселок в составе Финляндии. С 1948 г. – г. Зеленогорск Ленинградской области.

[220] *Буржуйка* – временная металлическая печь с выведенной наружу трубой. В отличие от печи с дымоходом быстрее нагревается, но и не долго держит тепло. В.М. Баруздина, после 1916 г. несколько лет с перерывами проживавшая в квартире Ю.Ф. Львовой на ул. Таврической (см. примеч. 171, 174, 221), оставила альбом карандашных зарисовок, названный «День буржуя» (1922–1931, Дом-музей П.П. Чистякова). Наброски передают все тяготы жизни «буржуев» того времени. Например, барыня Львова сама чистит селедку, перетирает горох и *готовит*, стоя *у плиты*; барон Кусов колет дрова.

[221] На углу *Таврической* и Тверской улиц в д. № 35/1 Львовы поселились, видимо, после переезда из Царского Села не ранее осени 1915 г. Доходный дом Ивана Ивановича Дернова (ум. 1905) построен по проекту М.Н. Кондратьева в 1903–1905 гг. А.А. Смольевский записал разговор с Е.К. Лившиц об этом доме. На вопрос Екатерины Константиновны, где жила его мать, он отвечал: «На Тверской, 1, в том доме, где *башня Вячеслава Иванова*, в квартире 34 под башней, а сперва – в том же этаже, в мансарде, в кв. 36, – напомнил я ей. – Не знаю, правда, бывала ли Лютик в башне. Бабушка Юлия Федоровна бывала там, и на мои расспросы (а это было во время эвакуации, когда ... она мне много рассказывала о прошлом) она отвечала, что в башне много спорили и читали стихи на всякие заоблачные темы, а после этого хозяин приглашал: "Пожалуйте, господа, к трапезе". Трапеза состояла из вина и сахарных воздушных палочек ... "Там не только пили вино, – сказала Екатерина Константиновна, – там устраивали и особые мужские развлечения"» (коммент. А. С.). Вероятно, на «Башню» Ю.Ф. Львову привел В.Г. Каратыгин, однако не исключено, что это сделал М.А. Кузмин, с которым она могла быть знакома еще по консерватории. Эти посещения происходили не позднее 1912 г., и девочка едва ли могла присутствовать на поэтических вечерах, тем более что она и не упоминает о них.

«*Башня*» – квартира *Вячеслава* Ивановича *Иванова* (1866–1949), поэта, теоретика символизма, критика, историка и философа. В 1905 г. он поселился в квартире на верхнем этаже – выступе над пятиэтажным домом Дернова, – с женой Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал (Шварсалон, 1866–1907), и в течение семи лет «Башня» была одним из центров интеллектуальной жизни столицы. «Каждую среду здесь собирались поэты, философы, художники, музыканты. Лифт, мягко поскрипывая, доставлял гостей наверх. Начинались симпозиумы не раньше полуночи. В одной из небольших комнат, где можно было поместить до сорока человек, проходили дискуссии и семинары по проблемам философии и истории. В других комнатах, доступных избранным гостям, поэты читали свои стихи. Свечи в тяжелых шандалах; стены, оклеенные у Вячеслава кроваво-красными, у Лидии оранжевыми обоями; скошенные потолки мансарды; закругленные стены – все это производило сильное впечатление на публику. Стульев и диванов не было. Лидия Дмитриевна предпочитала ковры и низкие подиумы ... Когда становилось душно от дыма и жара свеч и папирос, выбирались на крышу, угадывать проблески зари на горизонте, бормотать стихи, слушать соловьев в Таврическом саду. ...В апреле 1906 года на Таврической возникла идея "Hafes-Schenken". Имя персидского певца соловьев и виночерпиев всеми участниками воспринималось в немецком переводе ... Решено было собираться в интимном кругу посвященных, в чисто мужском обществе, беседуя без стеснения о всем, что придет в голову. В этой свободе мыслей и действий должна была родиться новая общность людей, не скованных условностями и предрассудками, но в гармонии душевных созвучий открывающих неведомые истины» (*Ротиков К.К.* Другой Петербург. СПб., 2001. С. 524, 526). В.И. Иванов покинул Россию в 1924 г., но до 1936 г. сохранял советское гражданство. В 1926 г. в Италии принял католичество. Преподавал языки в ватиканских учебных заведениях. *Hafes-Schenken*: Гафиз (Хафиз Ширази) Шамседдин (ок. 1320–1390) – персидский поэт-лирик, автор «Дивана»; *Schenken* – уделять внимание, а также наливать (нем.).

[222] С 1918 г. Чрезвычайная комиссия (ЧК) в связи с голодом вела борьбу с «мешочниками» и спекулянтами. Декретом ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет)

и СНК (Совет народных комиссаров) был реорганизован Наркомпрод, при котором создавались продовольственные отряды (продотряды) из рабочих. Затем была введена государственная монополия на внутреннюю торговлю, запрещавшая частную оптовую и розничную торговлю. В январе 1919 г. в Петрограде минимальная суточная норма хлеба составила 50 граммов.

[223] Из воспоминаний А.А. Смольевского следует, что после 1917 г. Г.В. Кусова арестовывали 12 раз (за происхождение), но каждый раз отпускали благодаря заступничеству Ю.Ф. Львовой. После 1918 г. он командовал эскадроном Красной армии. 28 мая 1919 г. был арестован в Петрограде и заключен в Выборгскую военную тюрьму. 16 июня переправлен в Москву в Бутырскую тюрьму. После убийства С.М. Кирова в связи с началом массовых арестов в Ленинграде в 1935 г. Кусов был сослан в Самару (Куйбышев). Ю.Ф. Львова переписывалась со ссыльным вплоть до конца 1943 г., когда тот находился уже на Алтае. Умер в ссылке. В 1989 г. реабилитирован посмертно.

[224] *Дни Кронштадта* – 28 февраля – 18 марта 1921 г. – восстание моряков Балтийского флота и гарнизона Кронштадта, требовавших проведения демократических выборов, свободы слова и печати, освобождения политзаключенных и уравнивания размеров пайков. Мятеж был подавлен частями 7-й армии под командованием М.Н. Тухачевского. После штурма Кронштадта около семи тысяч матросов, красноармейцев и других участников обороны крепости бежали по льду Финского залива в Финляндию.

[225] Вероятно, нательные *крестики*.

[226] *Тайцы* – поселок в Ленинградской области и станция по Балтийской железнодорожной ветке. В 1930-х годах в поселке работала испытательная лаборатория Ленинградского электрофизического института.

[227] Красные командиры.

[228] О. Ваксель поступила на *ораторское отделение вечерних курсов Института живого слова* (1918–1924) в августе 1920 г. Институт размещался в Петрограде на площади Александринского театра, в здании бывшего С.-Петербургского городского кредитного общества (д. 7). Основан В.Н. Всеволодским-Гернгроссом (1882–1962, театроведом, актером Александринского театра), предполагавшим создать курсы по науке и искусству «живого

языка», а затем и институт, в котором образовательная практика соединялась бы с научными изысканиями. С целью определить технику для усовершенствования поэтической декламации были приглашены ученые, педагоги, логопеды, лингвисты, музыкальные деятели, психологи и актеры. Институт ставил три основные задачи – учебную (преподавание предметов, относящихся к произношению и устной речи), научную (создание «науки о слове») и пропагандистскую. В середине 1919 г. в институт записалось около 800 человек, привлеченных новизной, экспериментаторским характером обучения и именами педагогов. Постоянные проверки, в том числе и финансовые, а также внутренние противоречия привели к закрытию института. Известен другой адрес института: ул. Знаменская, 8, в здании бывшего Павловского женского сиротского института; однако из контекста мемуаров следует, что речь идет о здании на площади у Александринского театра.

229 *Дельсарт* Франсуа-Александр-Никола-Шери (1811–1871) – французский певец и композитор, вокальный педагог и теоретик сценического жеста.

230 *Гумилёв* Николай Степанович (1886–1921) – поэт, прозаик, критик, переводчик, драматург. Участвовал в работе издательства «Всемирная литература». Вел занятия с начинающими поэтами в многочисленных студиях. В Институте живого слова преподавал с 1918 г. Сохранились программы его курсов «История поэзии» и «Теория поэзии» (ИРЛИ. Ф. 474. Ед. хр. 462). Председатель Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов (1920–1921). В рукописи сноска: [Skudf 1921 av bolsjevikkene] – пометка Х. Вистендаля о казни поэта (см. примеч. 233). О влиянии Гумилёва-поэта и человека говорят следующие сроки: «Гумилевская острая и четкая образность, его упругая ритмика, нарядность и солнечность его словесной ткани, своеобразная “космичность” его взгляда, ненасытная страсть к овладению пространством, сушей, морями, небом, мужество духа, неустрашимость, презрение к смерти, культ дружбы и товарищества – сколько поистине привлекательных черт, соединенных, словно в ослепительном фокусе, в одной поэтической личности!» (*Павловский А.* Николай Гумилёв // Вопр. лит-ры. 1986. № 10. С. 130). «*Всемирная литература*» – издательство, созданное по инциативе М. Горького в конце 1918 г.

[231] «*Лаборэмус*» – «Давайте потрудимся!» (лат.). А.А. Смольевский встречался с ученицей Н.С. Гумилева *И.В. Одоевцевой* после ее возвращения из эмиграции в Петербург (1987). «Выяснилось, что ни Лютика, ни поэтической группы “Лаборэмус” Одоевцева не помнит...» (коммент. А. С.). *Одоевцева Ирина Владимировна* (Ираида Густавовна Гейнике, 1895 или 1901–1990) – поэт, прозаик, автор мемуаров «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983). Училась в Институте живого слова, была участницей второго «Цеха поэтов» и группы «Звучащая раковина». В 1922 г. выпустила первую книгу стихов «Двор чудес» и с мужем Г.В. Ивановым эмигрировала во Францию. *Метакса*, по мнению А. Смольевского, от греческого μεταεα – шелк-сырец.

[232] В России существует несколько родов Львовых различного происхождения. Уточнить степень родства удалось благодаря исследованиям С.Д. Дзюбанова. Предками Львовых, как и матери поэта А.И. Гумилевой (урожд. Львовой, 1855–1942), являются потомки выходца из Литвы Марка Демидовича, прибывшего в конце XIV в. в Тверь на службу к великому князю Ивану Михайловичу (см.: *Дзюбанов С.Д.* Старицко-бежецкая ветвь рода Львовых – предки Н.С. Гумилева со стороны матери // Вестник архивиста. 2006. № 1 (91). С. 166–182; примеч. 8). Родственные связи предков О. Ваксель и Н.С. Гумилева прослеживаются не ближе четвертого поколения по линии старицко-бежецкого дворянства. Мать Гумилева была правнучкой старицкого дворянина В.В. Львова, получившего с приданым жены имение Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии. Называя поэта своим *троюродным братом*, О. Ваксель, вероятно, имела в виду отдаленность родства. А.А. Смольевский приводил свидетельство Б.М. Энкина (см. примеч. 309, а также: Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 490), что О.А. Ваксель была адресатом стихов Н.С. Гумилёва. Если такие стихи существуют, то их следует искать среди написанных в последний год жизни поэта.

[233] О. Ваксель описывает события, происходившие с сентября 1920 по май–июнь 1921 г. С начала 1919 г. Н.С. Гумилёв жил на ул. Преображенской (Радищева), д. 5, кв. 2. Его жена А.Н. Энгельгард (1895–1942) с детьми жила в Бежецке у матери поэта. О.Н. Гильдебрандт писала: «Я хорошо помню квартиру

Гумилёва, проходную столовую и кухню (парадный ход был закрыт, – на ул. Радищева), на кухне – увы: – водились тараканы, он их панически боялся. <...> Но мы там только проходили, а в большой "летней" комнате стоял мольберт с портретом Гумилёва работы *Шведе* – удачный – с тёмным, почти коричневым лицом, среди скал (я думаю, Абиссиния), с красным томиком в его красивой руке. Там было 2 окна и зелёный диван около дверей.

Я не особенно помню, где у него (в обеих комнатах) были книги, но в передней (между комнатами) стояло кресло, и он часто (в конце зимы, и потом осенью) топил печку» (*Гильдебрандт-Арбенина О.Н.* Гумилёв // Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 451). *Гильдебрандт* (сценический псевдоним Арбенина) *Ольга Николаевна* (1897– 1980) – актриса, художник-график, живописец. Профессионального художественного образования не получила. Окончила драматические курсы (бывшие Императорские, 1919). До 1923 г. выступала на сцене Александринского театра. Член группы «Тринадцать» (1929–1931). Жена писателя и художника *Ю.И. Юркуна* (Юркунуса, 1895–1938). *Шведе-Радлова Надежда Константиновна* (1895–1944) – художник, жена Н.Э. Радлова. Портрет, находившийся в семье ученицы Гумилёва И.М. Наппельбаум (1900– 1992), был предусмотрительно уничтожен ее мужем в 1937 г. Однако в 1951 г. все-таки послужил поводом для ареста Иды Моисеевны (см.: *Наппельбаум И.* Портрет поэта // Литератор. 1990. № 45. 30 нояб.).

В мае 1921 г. после возвращения из Бежецка жены с дочерью Гумилев переехал в Дом искусств (ДИСК, наб. реки Мойки, 51), где был арестован органами Петроградской ЧК (Чрезвычайной комиссией) в ночь с 3 на 4 августа 1921 г. по делу «Петроградской боевой организации». Вместе с 60 обвиняемыми, среди которых были известные ученые и общественные деятели, расстрелян 29 (по другим данным 24–25 или 27) августа 1921 г. На смерть поэта Ю.Ф. Львова написала музыку на стихи И.В. Одоевцевой «Памяти ушедшего».

[234] Вяч. Иванов писал о Н.С. Гумилёве: «...Он поэт несомненный и своеобразный. Конечно, – романтик и упивающийся экзотикой, но романтизм его не заемный, а подлинный, им пережитый. Дважды, с очень тощими средствами и без достаточного знания языков, ездил он в Абиссинию, охотился на африканских

зверей, обошел и объездил Абиссинию всю вокруг» (цит. по: *Иванова Л.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 407). О.Н. Гильдебрандт вспоминала: «Мы с Гумилёвым ходили как-то в Этнографический музей (на Васильевском острове), где были его абиссинские трофеи. Дома у него уже ничего не было!» (цит. по: Николай Гумилёв. Исследования и материалы. С. 450). Речь о Музее антропологии и этнографии Академии наук, куда поэт передал в 1913 г. свои трофеи, привезенные из Африки. Не исключено, что у О. Ваксель и Гумилева как у собеседников могла быть общая тема «капитанов», которой поэт посвятил одноименное стихотворение 1909 г. из сборника «Жемчуга». Мотив «открывателей новых земель» – в первых же строках его: «На полярных морях и на южных, / По изгибам зеленых зыбей, / Меж базальтовых скал и жемчужных / Шелестят паруса кораблей» (см. также примеч. 2–4). «Он был мечтателен и отважен – капитан призрачного корабля с облачными парусами», – писал о поэте А.Н. Толстой (цит. по: *Толстой А.* Дуэль // Совершенно секретно. 1982. № 1. С. 23).

[235] Летом 1921 г. О. Ваксель оставила занятия у Гумилёва в связи с замужеством. После смерти отца А.А. Смольевскому пришлось вместе с женой разбирать его бумаги. «Сохранились составленные им списки его знаменитых знакомых с примечаниями вроде: “Ахматова Анна Андреевна. Был знаком с ее мужем Н.С. Гумилевым” (из воспоминаний мамы и бабушки я знал, что они друг друга терпеть не могли). Или: “Глазунов, Александр Константинович. Во время антракта, в фойе Филармонии имел удовольствие угощать его папиросами” (один наш знакомый по этому поводу острил, что Арсений Федорович “дал Глазунову прикурить”)» (Восп. А. С. Л. 6.).

[236] Эта фраза вновь подтверждает добровольный выбор О. Ваксель (см. примеч. 217). «Поскольку мамины воспоминания были написаны для Христиана (и по большей части надиктованы ему), – считал А.А. Смольевский, – в них ничего не говорится, напр[имер], о том, как ее отговаривали от раннего замужества бабушкины друзья и как она сама рыдала и говорила, что она не в силах справиться с собой, что такова ее судьба». Письма 1921 г. словно хранят следы попыток О. Ваксель определить отношения с супругом. Он для нее то «мой милый мальчик», то «дорогой мой муж» (МА. Ф. 5. Д. 212).

[237] *Далматов* Александр Дмитриевич – штабс-ротмистр офицерской кавалерийской школы. Был женат на Елизавете Ивановне Дерновой – дочери домовладельца, которому принадлежал дом № 35/1 на углу улиц Таврической и Тверской (см. примеч. 221). «В послереволюционные годы Далматов стал приватно заниматься кондитерским делом, и ему, как раз, и был заказан торт на свадьбу Лютика ... с моим отцом...» (Восп. А. С. Л. 44). Работал фотографом, был оператором фильма «200-летие Академии наук» (1925) и совместно с А.Н. Москвиным историко-революционной кинокартины «Девятое января» (1925, режиссер В.К. Висковский; см. примеч. 306).

[238] А.Ф. Смольевский проживал в угловой квартире верхнего этажа на ул. Боровой, 19 (см. примеч. 247). Вспоминая о вещах, оставленных после смерти отца, А.А. Смольевский невольно связывал их с характеристикой владельца: «Среди бумаг Арсения Федоровича обнаружилось несколько рукописных листочков со стихами Лютика и несколько ее фотографий и кинокадров, ранее мне неизвестных, прядь ее волос, лоскутки материй от ее платьев, вуалетка.

На старой же квартире Арсения Федоровича погибло несколько прекрасных акварелей, в том числе два рисунка Врубеля, не отмеченных, как я выяснил, ни в каких каталогах: «Юноша в кольчуге» и «Замок царицы Тамары ночью». Эта последняя акварель произвела на меня в детстве особенное впечатление, и я хорошо запомнил ее. Мне жаль и его ампирного дивана с бронзовыми египетскими масками, книжный шкаф со стеклянными дверцами. Правда, в ящиках Николаевского бюро, которые мы разбирали после его смерти, оказались неплохие старые гравюры и даже рисунок античных руин, сделанный Баженовым (?), который ему подарил его знакомый архитектор Бровцев. Мне было жаль и нескольких Волошинских пейзажей (см. примеч. 311), которые он продал кому-то из своих приятелей» (Восп. А. С. Л. 12–13). *Баженов* Василий Иванович (1737/38–1799) – архитектор, теоретик архитектуры. Автор неосуществленного проекта Большого Кремля в Москве, проектов зданий и сооружений подмосковной усадьбы Царицыно, дома Пашкова в Москве. Перевел 100 томов сочинений Витрувия об архитектуре. Вице-президент Императорской академии художеств (ИАХ, 1799), член Римской

академии Св. Луки, Флорентийской и Болонской академий художеств. Об *архитекторе Б. Бровцеве* сведений не обнаружено. Известен *архитектор* и график *Бровцев* Сергей Ефимович (1898–19?). Учился в Институте гражданских инженеров у Л.Н. Бенуа (1916–1924; с 1930 г. – Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства; с 1941 г. – Ленинградский инженерно-строительный институт, ЛИСИ). Работал над архитектурной планировкой городов Мончегорска, Иркутска и других городов, преподавал в ЛИСИ (1932–1935, 1957–1959).

[239] *Паёк* – от слова пай – часть, доля. Выдача жалованья продуктами или мануфактурой.

[240] *Собаки* долгие годы занимали определенное место в доме и в семье, поэтому упоминания о них появляются то в воспоминаниях, то в стихах О. Ваксель («У нас есть растения и собаки...»). Их образы находим в рисунках В.М. Баруздиной, изобразившей интерьеры квартиры Ю.Ф. Львовой в альбоме «День буржуя» (см. примеч. 220). В детских воспоминаниях А.А. Смольевского также присутствуют собаки. «Помню, как мы с мамой приходим в гости к отцу, на Боровую; я вижу у него рыжую собаку добермана – такую, как бабушкина Зазнобка, но только старую, слепнущую. Мне объясняют, что это – Зазнобкина мама, и её зовут “Зорька”. (Позднее, когда я уже начинаю читать мамины стихи, я дважды встречаю в них это имя...)» (Восп. А. С. Л. 1; см. также примеч. 264).

[241] *Путейский институт* – Институт корпуса инженеров путей сообщения, основан в 1809 г. С 1930 г. – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Ныне Петербургский государственный университет инженеров путей сообщения.

[242] А.А. Смольевский вспоминал, что его отец «писал автобиографический роман под названием “Последние”, рыхлый и желчный, что-то около двух тысяч страниц на машинке. У меня не хватило терпения прочесть рукопись романа. Отыскав место, где говорится о Лютике (она переименована в Розочку) и бабушке Юлии Федоровне (переименована в Юнию Федотовну), я попробовал было читать, но, через несколько страниц не выдержал, и бросил» (Восп. А.С. Л. 5–6). Сохранившееся письмо отца А.А. Смольевского написано аккуратным почерком с подчеркиванием отдельных мест (МА. Ф. 5. Д. 214).

[243] *Ганичка* – Гавриил Миронович (примеч. А. С.).

[244] *Франс* Анатоль (Анатоль-Франсуа Тибо), Фарер Клод (Фредерик Шарль Эдуард Баргон) – французские писатели.

[245] *Парша* – заболевание кожи, преимущественно волосистой части головы, пораженной особым родом грибков.

[246] Такое положение замужней дочери, очевидно, привело к вмешательству Ю.Ф. Львовой. Одно из объяснений между ней и зятем нашло отражение в воспоминаниях А.А. Смольевского: «Когда бабушка упрекала его за невнимание к Лютику, за то, что он не дает ей возможности учиться, развивать свои способности, он отвечал: “Женщина создана для того, чтобы во всем подчиняться мужу, сидеть дома и вести хозяйство”» (Восп. А. С. Л. 9).

[247] В одной из бесед с сыном А.Ф. Смольевский назвал четыре года, проведенные им в семинарии, кошмарными. О *преодолении трудностей* А.А. Смольевский писал: «Арсений Федорович был человеком, который, что называется, “сам себя сделал”. После бурсы он учился в учительской семинарии, затем какое-то время был домашним учителем в доме барона Штейнгеля, затем окончил Институт путей сообщения и был оставлен при нем в качестве преподавателя...» (Восп. А.С. Л. 4; см. примеч. 131). О дальнейшей судьбе А.Ф. Смольевского мы также узнаем из записей его сына. «А.Ф. преподавал математику в ряде ленинградских ВТУЗов; во время Великой Отечественной войны оставался безвыездно в блокированном Ленинграде; последние годы жизни проработал в Управлении по делам архитектуры, занимался обмером зданий – памятников архитектуры города. Во время Ленинградской блокады квартира А.Ф. (Боровая ул., 19, кв. 11) пострадала от бомбежек, и он переехал на Чернышев пер. (ул. Ломоносова, 14, кв. 12). В феврале 1967 г. в гололедицу упал и получил перелом шейки бедра, скончался в клинике Военно-мед[ицинской] академии от отека легких. Похоронен, по его желанию, на Шуваловском кладбище, недалеко от могилы его друга последних лет – архитектора Б. Бровцева» (коммент. А. С.; см. примеч. 238).

[248] «Арсений Федорович Смольевский ...родился в с. Зван Могилевского у[езда] Подольской губ[ернии] (Зап[адная] Украина). Его отец – псаломщик Федор Григорьевич Смолиевский (1855–1911) был женат на Стефаниде Авксентьевне Свидчинской (ум. 1898), которая, судя по некоторым намекам односельчан, счи-

талась внебрачной дочерью какого-то помещика, почему Арсений Федорович и говорил, что он родился в с. Троицкое – по названию церкви (?), что его отец – дьячок и пьяница, а мать – графиня» (коммент. А. С.). Однако из воспоминаний А.А. Смольевского следует, что такая версия предназначалась у отца для «публики». Во время последней встречи с сыном, лежа в больничной палате, он сказал о своих родителях: «Они были простые украинские крестьяне, и Шевченко им был ближе, чем Пушкин» (Восп. А. С. Л. 11; см. анкету А.Ф. Смольевского (МА. Ф. 5. Д. 217). Западно-украинское происхождение мужа, видимо, послужило поводом для О. Ваксель называть его иноверцем. Во всяком случае, такое обращение нередко в ее стихах, начиная с самых ранних, которые могли быть адресованы только ему.

249 Скорее всего, добиться многого А.Ф. Смольевскому удалось разве что в глазах жены. «Институт, в котором он работал, хлопотал, конечно, по его настоянию, о присвоении ему звания профессора, но ходатайство было отклонено, поскольку никакой диссертации он никогда не представлял на защиту, а занимался лишь разработкой всяких мелких методических пособий, сборников задач и т. п. для внутреннего пользования. Бабушка рассказывала, что в двадцатых годах Арсений Федорович судился с профессором Передерием по поводу авторства какого-то учебника. Ольга Александровна в своих воспоминаниях писала о том, что по натуре Арсений Федорович был гуманитаром, а математикой занимался скорее из упрямства. Выйдя на пенсию, он много читал (после его смерти осталось довольно много изданий русских и советских поэтов), интересовался архитектурой, кем-то состоял при Союзе архитекторов...» (Восп. А. С. Л. 5). *Передерий* Григорий Петрович (1871–1953) – профессор Ленинградского института инженеров путей сообщения, специалист в области мостостроения.

250 А.А. Смольевский, неизменно строгий к отцу (в разговорах именуемому не иначе как «папаша») и всегда державший сторону матери и бабушки, писал об отношениях родителей: «С первых же дней совместной жизни он изводил ее мелочными наставлениями – вроде Иудушки Головлева, придирками за каждую лишнюю истраченную копейку, насмешками над ее стихами» (Восп. А. С. Л. 8–9). Стихотворение, датированное 11 февраля

1922 г., говорит о противоречивости чувств О. Ваксель «Отчего мне так холодно в доме твоем... <...> Отчего я с тобою всегда робка, / Пью внимание каждого взгляда... <...> Ничего не беря, ты так много даешь, / Как за все я тебе благодарна... / Отчего мне так холодно рядом с тобой...». Уточняя характер *подарков* отца, А.А. Смольевский заметил: «Среди его бумаг сохранились подробные записи расходов, множество квитанций комиссионного магазина, где он покупал, очевидно, для подарков своим друзьям, всегда почти одно и то же: серебряные ведёрки для охлаждения бутылок с шампанским» (Там же. Л. 6).

[251] *Глубоковский Николай П*[етрович?] – летчик, начальник Авиационной школы мотористов и механиков, в которой преподавал А.Ф. Смольевский.

[252] См. примеч. 251, далее у О. Ваксель. – *Н. П.*

[253] *Рынин* Николай Алексеевич (1877–1942) – летчик, профессор Института инженеров путей сообщения (с 1921 г.), в котором преподавал А.Ф. Смольевский. Ученый в области воздухоплавания, авиации и космонавтики, начертательной геометрии. При его участии в институте была создана одна из первых в России аэродинамическая лаборатория (1909), организован факультет воздушного сообщения (1920), где он читал курс воздухоплавания. В 1928–1932 гг. издавал «Межпланетные сообщения» – первый энциклопедический труд по истории и теории реактивного движения и космических полетов. Автор учебников по начертательной геометрии. Собрал и передал в Ленинградский аэроклуб-музей (Аэромузей) уникальные материалы по истории спортивной и гражданской авиации. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

[254] Речь, скорее всего, о стихах Николая Семеновича *Тихонова* (1896–1979). В начале 1920-х годов наиболее популярны были его стихи «Баллада о гвоздях» (1921) и «Баллада о синем пакете» (1922). Другой *Тихонов*, Александр Николаевич (псевдоним А. Серебров, 1880–1956), – писатель, редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус» (1915–1917), газеты «Новая жизнь» (1917–1918), руководил издательством «Всемирная литература».

[255] *Глебова* Тамара Андреевна (1894–1942) – актриса Ленинградского государственного академического театра драмы (Алек-

сандринского). Снималась в кино («Девятое января», 1925 г., режиссер В.К. Висковский; см. примеч. 306). В начале 1920-х годов – теоретик и практик свободного танца, руководила *студией*.

[256] Вероятно, *Чернецкая* Инна Самуиловна – режиссер, декан мастерской синтетического танца Практического института хореографии (Москва), преподавала «анализ жеста».

[257] *Институт ритма* – возник в Москве в июле 1919 г., в Петрограде в мае 1920 г. на базе опыта, накопленного несколькими учебными заведениями. Осенью 1912 г. в Петербурге открылись Курсы ритмической гимнастики, являвшиеся филиалом Хеллерауского института ритма Эмиля Жак-Далькроза (1865–1950, профессора Женевской консерватории, теоретика нового метода обучения, основанного на соединении музыки и ритмики движений). Директором курсов вплоть до их закрытия был С.М. Волконский. С марта 1916 г. занятия по системе Далькроза проводились в частной школе Т.В. Адамович. Затем школой, составившей впоследствии основу Института ритма, руководила Н.В. Романова. После преобразования школы в государственное хореографическое училище ритмика оставалась обязательным предметом. В программу обучения института входили сольфеджио, история музыки, педагогика, психология, художественное слово и пластика. *Адамович* (Высоцкая) Татьяна Викторовна (1892–1970) – педагог, сестра поэта и критика Г.В. Адамовича, которой Н.С. Гумилев посвятил книгу стихов «Колчан» (1916).

[258] О. Ваксель описывает флигель «Плач Ярославны», не упоминая о том, что она с матерью жила в нем в начале Первой мировой войны (см. примеч. 100).

[259] *Наркомпрос* – Народный комиссариат просвещения РСФСР.

[260] *Сац* Илья Александрович (1875–1912) – композитор, дирижер, автор опер-пародий, оркестровых и фортепьянных пьес, романсов, песен. Заведовал музыкальной частью Московского художественного театра (с 1906 г.) и Старинного театра (наб. реки Мойки, 61), возглавляемого Н.Н. Евреиновым. Писал музыку для литературно-артистического кабаре «Бродячая собака» (1912–1915). *Арлекинада* (arlequinade – *фр.*) – небольшие сценки, в которых главным действующим лицом являются Арлекин, *Пьерро* и другие персонажи-маски итальянской комедии дель арте. Жанр

зародился в XVII в., в середине XIX в. стал популярен в русских балаганах.

261 *Мери Пикфорд* (Глэдис Мери Смит, 1893–1979) – актриса, одна из самых дорогих кинозвезд Голливуда. Начала сниматься в кино с 1909 г.

262 *Холодная Вера* Васильевна (1893–1919) – актриса немого кинематографа. Окончив гимназию и недоучившись в балетной школе, в 1914 г. стала артисткой кино и за четыре года работы снялась более чем в 35 фильмах. Играла в салонных драмах и мелодрамах, создала обаятельные лирические образы печальных красавиц – непонятых или обманутых женщин. *Максимов* Владимир Васильевич (1880–1937) – актер немого кинематографа. Заслуженный артист республики (1920). Работал в Москве в Малом театре, в Ленинградском Большом драматическом театре (1919–1924). В кино начал сниматься с 1911 г. *Полонский* Витольд Альфонсович (1879–1919) – актер. Снимался в кино с 1915 г. Режиссеры приглашали его на роли героев-любовников в кинодрамах из «великосветской жизни», используя внешние данные актера. Все трое были кумирами зрителей, признанными «королями экрана».

263 А.А. Смольевский передает такой рассказ Б.М. Энкина (см. примеч. 309): «...Однажды они должны были с Лютиком идти на какой-то вечер, а у Лютика не было приличного платья, тогда она, недолго думая, сняла с окна какую-то штору, задрапировалась в нее, быстро сделала несколько стежков, и вышло эффектное и оригинальное платье; в качестве отделки приколола шелковую розу – все вполне по моде середины 1920-х годов. Платье имело большой успех» (Восп. А. С. Л. 52). Другое важное свидетельство об О. Ваксель было записано Н.Л. Готхардом в декабре 1966 г. со слов И.В. Чернышевой (см. примеч. 151): «В ней не было ничего такого, что называют мещанством. Между прочим, за модой она никогда не гонялась, одевалась так, как ей нравилось». «Помню, я встретила Лютика на Невском. Она была в модном платье – тогда были в моде длинные воротнички. Я заметила вскользь, что такие воротнички через год, наверное, выйдут из моды. “А я только до тридцати лет доживу, – сказала Лютик. – Больше жить не буду”» (*Готхард Н.Л.* Указ. соч. С. 169).

[264] Упоминание О. В. о *породистых щенках* вызвало несогласие А. С.: «В отношении наших собак мама была, конечно, несправедлива. “Доберманий завод”, который держали бабушка Юлия Федоровна и Кусов, – пояснял А. С., – как завод *щенков* общества “Кровного собаководства” являлся тогда известной поддержкой: собакам полагался служебный паёк – кости, овсянка, черный хлеб и еще что-то. Помню большие буханки черного хлеба, которые бабушка резала на кубики, сушила на жестяных листах, и которые потом ели не только собаки, но и мы. Овес, распаренный и пропущенный через мясорубку (“фуфлыга”), тоже шел в пищу людям. Собаки получали медали на выставках, грамоты. <...> Зорькина рыжая с подпалинами дочка “Зазнобка”, ее супруг и ее многочисленные щенки – Мориц, Макс, Арчи, Зита, Шишечка, – имели аристократические фамилии, напр[имер]: Мориц Тауриц, сын Бодо фон Эренбурга. Мориц и Зазнобка жили у нас в доме до осени 1932 г., когда их пришлось усыпить; Зиточка жила в семействе Каратыгиных, наверное, до 1939 г.». (коммент. А. С.).

[265] *Гуро* (Гуро де Мерикур) Александра Генриховна – очевидно, дочь Генриха Степановича Гуро – генерал-лейтенанта Петербургского военного округа, а также окружного госпиталя (примеч. А. С.). Давнишняя приятельница Ю.Ф. Львовой, зарабатывала она уроками английского и французского языков. «Их было две сестры, дочки генерала; две старые девы, они вышивали, рисовали бабочек и цветы...» (коммент. А. С.). Не исключено, что А.А. Смольевский ошибался, называя Г.С. Гуро отцом Александры Генриховны. Его дочери – Екатерина (в браке Низен) и Елена Генриховны, поэтесса, художница, жена композитора и художника М.В. Матюшина. «У А[лександры] Г[енриховны] была довольно крупная фигура, крупные черты лица... и седеющие волосы с рыжизной, крупные полные руки. Ходила она постоянно в одном и том же шерстяном вязаном платье, носила браслет из дутого золота. <...> По рассказам бабушки Ю[лии] Ф[едоровны], Александра Генриховна вместе с другими общими знакомыми – Жоржиком (Георгием Ивановым), Сафроновым и Сукневым (имени и отчества его не знаю) устраивали домашние инсценировки из Чехова, например “Последней могиканши”, сочиняли и разыгрывали шуточные пьески с пением, пародировавшие жут-

кие детективные истории, в которых участвовали Шерлок Холмс и Нат Пинкертон...» (коммент. А. С.). *Иванов Георгий* Владимирович (1894–1958) – поэт, прозаик, критик, мемуарист, переводчик; входил в группу Н.С. Гумилева «Цех поэтов»). В 1922 г. эмигрировал во Францию.

266 А.А. Смольевский вспоминал об этом эпизоде: «Бабушка рассказывала мне о дикой вспышке, которая была у него, когда Лютик сообщила ему о своей беременности – он считал, что у них не должно быть детей. – "Я неврастеник", – объяснял он потом, – "и детей мне заводить не следует". Лютик ушла из его дома, буквально, в чем была, на Тверскую. Арсений Федорович срочно примчался за ней, просил прощения и уговорил вернуться. В доме наступило относительное затишье» (Восп. А. С. Л. 9). Очевидное внешнее сходство между отцом и сыном заметно при сравнении их фотографий. А.А. Смольевский передавал важное признание отца, сделанное в 1950 г.: «...по словам многих, кто меня видел, я точная копия [его], тот же голос, та же походка, и он не может понять, почему же он, педагог, был лишен возможности воспитывать своего собственного сына» (Восп. А. С. Л. 10). По-видимому, Смольевский-старший долгие годы не стремился к диалогу, но вел своеобразную полемику с младшим, о чем тот писал: «Осталось после него также множество писем ко мне, уже взрослому, не отосланных; каждое письмо было пронумеровано. В последние годы его жизни ему немного помогали соседи, например, с покупками. Стряпал и стирал он, как будто, сам. С соседями он жил в полном согласии, и они никак не могли понять, почему это у такого приличного человека и вдруг семейная жизнь не сложилась и почему между ним и его родным сыном существует такая полная отчужденность» (Восп. А. С. Л. 6).

267 *Щенков* звали Мориц и Зазнобка (см. примеч. 264).

268 А.А. Смольевский – *сын О. Ваксель, родился* 23 ноября 1923 г. в Петрограде (умер 29 августа 2003 г. в Санкт-Петербурге). В 1941–1949 гг. учился с перерывами в Первом ленинградском педагогическом институте иностранных языков (на факультетах немецкого и французского языков). В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Интонация повествовательной фразы во французском языке, сравнительно с русским». Занимался изучением диалектов ретороманского языка Швейцарии,

Северной Италии и др. Работал в библиотеке Академии наук СССР в отделе комплектации иностранной литературы. Автор статей по библиотековедению и библиографии. Занимался сочинением музыки в творческом семинаре при Доме композиторов; изучал музыкальный фольклор разных народов мира; создал цикл фортепьянных пьес на тему произведений живописи В.Э. Борисова-Мусатова и Н.К. Рериха. Передал в разные годы в дар различным музеям и библиотекам многочисленные семейные реликвии: живописные и графические произведения, фотографии и архивные материалы, произведения декоративно-прикладного искусства.

[269] 1-й Петроградский родовспомогательный дом на ул. *Надеждинской* (Маяковского), 5. Врач В.А. Столыпинский. Ныне роддом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирёва, так называемая Снегирёвка.

[270] *Больница им. С.П. Боткина* – бывшая бесплатная Александровская городская барачная больница, открытая в 1882 г. по инициативе С.П. Боткина для лечения инфекционных больных (ул. Миргородская, 3). Об истории болезни матери А.А. Смольевский писал: «Затем у Лютика начались отчаянные головные боли, и ее отвезли в Боткинскую больницу с диагнозом “острый менингит”. Лютик в бреду кричала: “Уберите спрута!” Алексей Николаевич Обнорский, один из бабушкиных друзей, навещавший тогда Лютика в больнице, рассказывал мне: “Лютик лежала в отдельной палате. Она никого не узнавала и каким-то деревянным голосом вдруг медленно изрекала разные сентенции”. Врачи считали, что острый менингит, в отличие от обычного, проходит и не должен оставить последствий. Бабушка вспоминала с признательностью доктора Ивашенцева, который к Лютику был внимателен. Но последствия у Лютика все же остались – приступы глубокой тоски, особенно осенью, и временами внезапные провалы памяти» (Восп. А. С. Л. 9). *Обнорский Алексей Николаевич* – сын Н.П. Обнорского, «преподававшего в Перми романскую филологию. Во время Великой Отечественной войны Алексей Николаевич служил в артиллерии и имел чин полковника, а затем преподавал в Артиллерийской академии» (коммент. А. С.). Увлечение теософией послужило причиной вынужденного досрочного выхода на пенсию.

[271] В связи с выбором своего *имени* А.А. Смольевский, отнюдь не атлетического телосложения, заметил шутя: «Мама говорила мне, что не она выбрала мне имя. “Я бы тебя назвала Александром или Воином”. (Воображаю, как имя Воин шло бы к моей комплекции и мне вообще!)» (коммент. А. С.). О. Ваксель, вспоминая чтение катехизиса в детстве, упомянула о своем атеизме. Видимо, поэтому она была возмущена совершенным обрядом крещения младенца; хотя, как следует из текста, в доме не забывали основные религиозные праздники – Рождество и Пасху, именины. Факт самоубийства О. Ваксель подтверждает ее безверие.

[272] Декрет СНК «О расторжении брака» 16 (29) декабря 1917 г. установил свободу расторжения брака по заявлению любого из супругов.

[273] А.А. Смольевский приводил подробности выяснения отношений между родителями: «Видя, что удержать Лютика ему не удастся (для развода в то время было достаточно заявления одного из супругов), Арсений Федорович стал всячески ее шантажировать, угрожать, что не отдаст ей меня. Потом, наконец, отдал, но вскоре спохватился и начал попытки отобрать назад. Здесь он встретил упорное сопротивление как Лютика, так, конечно, и Юлии Федоровны. Он засыпал их письмами, одолевал телефонными звонками, подкарауливал Лютика в парадной по вечерам, так что ей приходилось возвращаться домой с каким-нибудь провожатым. Я помню, как мы с мамой возвращались однажды вечером от Каратыгиных, и с нами был Олег Вячеславович (сын музыкального критика. – *Е. Ч.*). Арсений Федорович, поджидавший возвращение Лютика, набросился на Олега с кулаками. Пока они орали друг на друга, мама быстро втащила меня к нам на пятый этаж. Часто Арсений Федорович оставался в дураках, потому что Лютик проходила то по парадной, то по черной лестнице, договаривалась с дворником, – парадные и ворота в то время на ночь запирались – дворник открывал ей, и она могла спокойно вернуться домой. Многие жильцы в доме – это нам было точно известно – шпионили за Лютиком. Арсений Федорович умел прикинуться обиженным, страдающим, очаровать, сунуть, где надо, маленький подарок» (Восп. А. С. Л. 6–7).

[274] Возможно, *Григорий* Маркович Райцин – пианист, проживавший на пр. К. Либкнехта (Большой пр. Петроградской стороны), 65. («Райцин-2», примеч. А. С.).

[275] «*Карусель*» – театр-кабаре (ул. Рубинштейна, 18), относившийся к театрам «малых форм». В 1911–1917 гг. в здании находился широко известный Троицкий театр миниатюр (владелец А.М. Фокин). 26 ноября 1912 г. здесь состоялось первое публичное выступление В.В. Маяковского в Петербурге. В 1920-х годах работали разные театры, в том числе Ленинградский театр сатиры (Н.П. Акимова, 1927), «Молодой театр» (1929); позднее следующие театры: Театр-студия, Малый передвижной, Колхозно-совхозный, им. Леноблисполкома, им. Обкома ВЛКСМ и Театр малой оперетты; с 1935 г. государственный театр-студия под руководством С.Э. Радлова, затем Малый драматический театр (МДТ), в настоящее время – Малый драматический театр – Театр Европы (ЦГАЛИ. Ф. 118. Оп. 1. Д. 2517. Л. 18, 28–29, 75).

[276] Для проведения скачек в районе дачного селения *Коломяги* в 1888–1892 гг. архитектор Л.Н. Бенуа соорудил трибуны. Позднее ипподром был переоборудован под летное поле. На Комендантском аэродроме, одном из первых в России, проводились «авиационные недели»; показательные полеты первых авиаторов привлекали многочисленную публику. Трибуны и аэродром не сохранились, но память об историческом прошлом осталась в топонимике Приморского района. В воспоминаниях о Г.В. Кусове А.А. Смольевский писал: «...где-то в 1924 году он был комендантом ипподрома, “На скачках” в Новой Деревне и в отведенных ему двух комнатах мог летом поселять своих друзей. Там у него живали Каратыгины, Верховские, приезжала бабушка Юлия Федоровна. На ипподром несколько раз таскали и меня смотреть на бега, скачки с барьерами и спортивные парады. Попчик (Г.В. Кусов. – *Е. Ч.*) объявлял победителей. Он был активным членом Общества защиты животных» (А.А. Смольевский. Воспоминания о Г.В. Кусове и В.М. Баруздиной. 1960-е – 1987 г. Машинопись. Л. 6).

[277] Валерия Мессалина (Valeria Messalina, ок. 17/20–43 гг.) – происходила из знатного рода патрициев, дочь консула Марка Валерия Мессалы Барбата, третья жена римского императора Клавдия. Известна своим изощренным распутством, алчностью

и коварством. Ее имя стало нарицательным для характеристики знатных женщин безнравственного поведения.

[278] *ФЭКС, Фабрика эксцентрического актера* – творческая мастерская, организованная в 1922 г. в Петрограде режиссерами Г.М. Козинцевым, Л.З. Траубергом (см. примеч. 279) и С.И. Юткевичем. Существовала как самостоятельная мастерская до 1926 г. Занятия актерским мастерством, ориентированные на поиски яркой пластической выразительности, сочетались с постановками спектаклей. Эстетическая программа ФЭКСа была созвучна идеям и практике «левого фронта» – использовались лозунги агиттеатра, «низкие» жанры (цирк, мюзикл, пантомима, эстрада; см. примеч. 281). «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей!» – девиз руководителей мастерской. После перехода Козинцева и Трауберга в 1924 г. на «Севзапкино» (с 1934 г. «Ленфильм») ФЭКС стала работать как мастерская внутри ленинградской киностудии и внесла значительный вклад в формирование актерского искусства отечественного кино.

[279] Козинцев Георгий Михайлович (1905–1973) – режиссер и кинодраматург, педагог; народный артист СССР (1965). В 1919 г. учился в Киеве в школе живописи А.А. Экстер. Совместная деятельность с Траубергом началась в Петрограде в 1920 г. Трауберг Леонид Захарович (1902–1992) – режиссер, кинодраматург, историк кино; засл. деятель искусств РСФСР (1967). Работали в творческом содружестве до 1946 г.

[280] Ул. *Гагаринская*, д. 1, бывший особняк купца А.Г. Елисеева (1839–1918). Левая часть здания надстроена в 1893 г. архитектором А.К. Гаммерштедтом. Занятия проходили в зале с огромным камином, в котором можно было зажарить целиком на вертеле кабана или оленя. Для тренировок использовался елисеевский красный ковер размером 18 × 6 м, который фэксовцы тщательно чистили во дворе, выбивая пыль. Называя мастерскую фабрикой, актеры противопоставляли себя «студийцам» и тем отрицали богемность, «повторение задов» и «гнилое наследие» искусства XIX в. (см. примеч. 306).

[281] В 1921 г. руководители ФЭКСа провозгласили эксцентризм, поэтика которого звучала в следующих тезисах: 1) представление – ритмическое битье по нервам; 2) высшая точка – трюк; 3) актер – механизированное движение... игра – не движение,

а кривляние, не мимика, а гримаса... пьеса – нагромождение трюков, темп – 1000 лошадиных сил; погони, бегства; 4) гудки, выстрелы, пишущие машинки, чечетка – начало нового ритма; 5) синтез движений – акробатического, спортивного, танцевального... 6) спорт в театре, ленты чемпиона и перчатки боксеров. Всего 11 пунктов. Режиссеры использовали эту программу в мастерской ФЭКСа и в ранних кинокартинах. Изучались акробатика, фехтование, бокс, гимнастика, верховая езда, литература, современное кино (лидировал американский кинематограф). Козинцев вел занятия по *киножесту*, Трауберг читал теорию кино, *акробатике* обучали цирковые акробаты – испанец Антонио Цереп и француз Арманд. *Танцами* с молодежью занимался с А.Г. Барский. С.А. Герасимов вспоминал, что во время занятиями боксом с Э.И. Лусталло́ ринг орошался не искусственной, а настоящей кровью. *Джиу-джитсу* («искусство мягкости» – *япон.*) – общее название, применяемое для японских боевых искусств. Один из наиболее древних видов борьбы, основной принцип которого «не идти на прямое противостояние». Техника джиу-джитсу сочетает броски, заломы, удушения, удары, воздействие на болевые точки; направлена на самозащиту. Характер занятий и общую атмосферу мастерской передают воспоминания П.С. Соболевского (*Соболевский П.* Из жизни киноактера. М., 1967).

[282] Речь идет об О. Мандельштаме. *Поэт* владел немецким, французским и английским языками, занимался литературными *переводами*. Эта работа выручала его в период, когда собственное творчество было под запретом. В 1925 г. вышли переводы поэта с французского – *Жюль Ромен* «Кромдейр-старый» и «Обормоты», *Лефевр Сент Оган* «Тудиш»; с немецкого – *Макс Бартель* «Завоюем мир!» (Избранные стихи). А.А. Смольевский так говорит об отношениях своей матери и Мандельштама: «Ни Мандельштаму, ни его жене, ни его брату Ольга Александровна, по-видимому, не раскрывала своего сокровенного внутреннего мира и не посвящала их в свою поэзию прежних лет, взращенную в уединении, на внимательном самоанализе, сперва светлую и восторженную, а затем все более проникнутую пессимизмом, разочарованием, чувством безвыходности и тоской. (Вообще о ее стихах знали очень немногие друзья, потому что поэзия была для нее средством выражения своих переживаний; себя она считала

поэтом...)» (*Смольевский А.А.* Ольга Ваксель... С. 166). Подтверждение сказанному А.А. Смольевский находил и в высказываниях брата поэта: «Евгений Эмильевич Мандельштам также не раз говорил мне: “Осип ведь не знал, что Лютик пишет стихи”. По-видимому, это правда. В самом деле, когда они встречались в Коктебеле в 1916 г., Лютик еще только робко начинала их писать, в 1920–21 годах, в период занятий в группе Н.С. Гумилева в Институте живого слова, она с Мандельштамом не виделась, а ко времени возобновления знакомства с Мандельштамом, к 1924 году (точнее к началу 1925 г. – *Е. Ч.*), у нее уже наступил длительный перерыв, который продолжался до зимы 1930/31 года, пока на ее пути не встретился норвежец Христиан Иргенс-Вистендаль, ставший предметом стихов последнего периода ее жизни, сохранилось около 150 ее стихотворений)» (коммент. А. С.; см. комент. к стихам О. В.).

283 Хазина Надежда Яковлевна (1899–1980) – жена (с 1921 г.) *О. Мандельштама*, мемуарист, писатель. Получила гимназическое образование в Киеве. Занималась *живописью* у А.А. Экстер, открывшей в Киеве в 1918–1920 гг. собственную студию. В начале 1940-х годов сдала экстерном экзамены в университете, позже защитила диссертацию. В период кризиса семейных отношений Надежда Яковлевна была готова, по ее признанию, уйти от мужа. Ее намерение заняться живописью вызвало такую реакцию поэта: «О. М. напрасно мне объяснял, что если я не работаю, то только потому, что мне нечего сказать» (цит. по: *Мандельштам Н.* Об Ахматовой. С. 155). А.А. Смольевский так говорил о ее более позднем отношении к опытам рисования: «В начале 1969 года, приехав в Москву... я ненадолго забежал к Надежде Яковлевне. У нее была однокомнатная квартира в первом этаже; ... в комнате были развешаны какие-то довольно заумные акварельные рисунки, что-то вроде Фалька, Шагала, Кандинского, Филонова, Натальи Гончаровой. На мой вопрос, художница ли она, Н[адежда] Я[ковлевна] сказала мне, что то были грехи юности, теперь она занимается английской литературой» (Восп. А. С. Л. 54). Это замечание не позволяет понять, чьи произведения А.А. Смольевский видел в ее квартире. Ей принадлежали, в частности, полотна В.Г. Вейсберга и Р.Р. Фалька (сообщено П.М. Нерлером).

[284] С осени 1924 г. до конца 1925 г. Мандельштамы жили на ул. *Большая Морская*, в д. 49, кв. 4. Описание одной из двух комнат, которые Мандельштамы снимали в квартире Марадудиных, сохранилось в архиве П.Н. Лукницкого (см.: Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 112). *Марадудина* Мария Семеновна (1888–1960) – актриса, первая женщина-конферансье. Работала в различных театрах, на ленинградской и московской эстраде до начала 1930-х годов.

[285] Единственная встреча А.А. Смольевского с Н.Я. Мандельштам состоялась в феврале 1969 г. (см. примеч. 283). Впоследствии он так передавал свое впечатление о вдове поэта: «Надежда Яковлевна была уже седа, одета в какое-то довольно короткое старое платье, стоптанные туфли на босу ногу; ноги, как я заметил, были кривоваты, но вовсе не так уж сильно; зубы, хотя во многих местах запломбированные, но свои. В общем, она была некрасива и вид у нее был, скорее, недобрый; на ведьму она похожа все-таки не была, а в молодости вполне могла быть *laide mais charman*[*te... – некрасивой, но привлекательной* (фр. – *Е. Ч.*)]. Мы разговаривали очень мило, и я никак не мог ожидать, что она через несколько времени в своей “Второй тетради” разразится таким потоком измышлений в адрес Лютика и бабушки Юлии Федоровны» (коммент. А. С. Об этом см.: *Смольевский А.А.* О. Ваксель... С. 167). Описание внешности Н.Я. Мандельштам сохранили воспоминания ее подруги: «Ее ярко-голубые, большие, со странными зрачками глаза были самыми красивыми в семье, но ее резко выдающиеся вперед зубы, огромный рот, крючковатый нос и кривоногость, да еще большая отвислая грудь, делали ее, на первый взгляд многих, почти уродливой» (*Герштейн Э.* Мемуары. СПб., 1998. С. 405).

[286] См. примеч. 282.

[287] См. примеч. 283.

[288] Об этой особенности натуры жены поэта поведал и А.А. Смольевский, сославшись на осведомленность ее близкой подруги Е.К. Лившиц (см. примеч. 211). «Екатерина Константиновна знала также от Надежды Яковлевны, что у той до замужества был период бурного увлечения какой-то известной киевской пианисткой (“у них был пылкий лесбийский роман”). А Лютика

она определяла, как натуру пассивную, легко поддающуюся, и одновременно холодную» (коммент. А. С.).

[289] Эту тему неоднократно обсуждал А.А. Смольевский с Е.К. Лившиц, подругой юности Н.Я. Мандельштам. «Екатерина Константиновна Лившиц вспоминала, как однажды (это было в 1924 или в 1925 году) Осип и Надя сидели у нее в гостях, все были заняты рисованием. Вдруг Осип поднялся и сказал, что ему нужно позвонить в редакцию газеты. Он отправился в швейцарскую и оттуда позвонил, потом снова зашел к Лившицам и объявил, что его ждут в редакции. Надя потом уверяла, что, проходя мимо нее, он с сожалением прошептал: "Бедная!" – и удалился. Когда он снова появился через несколько часов, Наде стало ясно, что он ходил не в редакцию, а на свидание с Лютиком. Многое в линии поведения Лютика Надежда Яковлевна объясняла вмешательством бабушки Юлии Федоровны. Она говорила: "Нет, тут не Лютик, это ее мать!"» (коммент. А. С.).

[290] Человеческое восприятие, и женское в частности, творческой личности подчас неоднозначно в силу разделения душевного и материального (плотского). П.Н. Лукницкий передавал следующую реакцию А.А. Ахматовой на ухаживание О.Э. Мандельштама: «Он мне был физически неприятен, я не могла, например, когда он целовал мне руку» (цит. по: Слово и судьба. С. 115).

[291] Один из случаев, нелестно рисующих поэта, воспроизведен А.А. Смольевским со слов литературоведа В.А. Мануйлова (1903–1987): «В.А. Мануйлов, много лет занимавшийся творчеством Волошина, в конце 1960-х рассказывал мне... о Мандельштаме, с которым он встречался в Коктебеле еще при жизни Макса... следующий эпизод. На пляже у одной из молодых обитательниц Максовой дачи Осип Эмильевич заметил колечко с изумрудом, подсел к ней, попросил показать колечко ему: она сняла кольцо с пальца, и Осип, налюбовавшись изумрудом, надел колечко на палец... себе, поблагодарил девушку и уже собрался уходить. Она потребовала кольцо назад, а он не захотел отдавать, говоря, что это кольцо ему очень нравится, что оно ему идет, что он вообще на него имеет большое даже право, так как изумруд именно ему, а не ей "больше показан". Все же кольцо было владелице возвращено, не помню только точно слов В[иктора] А[ндрониковича], – при-

шлось ли вмешиваться доброму Максу в эту историю или нет» (коммент. А. С.).

[292] Не ясно, о каком институте идет речь – Институте живого слова или Екатерининском. Если о последнем, то, возможно, говорится о сестрах-близнецах Шенк, подругах-одноклассницах О. Ваксель, упомянутых в главе «Институтский день». О душевном состоянии О. Ваксель той поры Н. Мандельштам сообщила А.А. Смольевскому следующее: «То была какая-то беззащитная принцесса из волшебной сказки, потерявшаяся в этом мире. Когда мы познакомились, она переживала трудное время и каждый вечер приходила рыдать у меня на плече» (Восп. А. С. Л. 54).

[293] В 1924–1925 гг. О. Мандельштам написал два стихотворения, посвященных *О. Ваксель* – «Жизнь упала как зарница...» и «Я буду метаться по табору улицы темной...». «В жизни брата увлечение, а может быть, и больше – любовь к одной женщине оставила особенно глубокий след, – писал Евгений Эмильевич. – <...> Большое чувство к Лютику нашло отражение и в творчестве Мандельштама-поэта» (*Мандельштам Е.Э.* Воспоминания. С. 171). Из воспоминаний П.Н. Лукницкого, относящихся к весне 1925 г., узнаем, что 12 апреля в пансионате, расположенном в Детском Селе на ул. Московской, 1, где чета Мандельштамов отдыхала в соседстве с А.А. Ахматовой, О. Манельштам по просьбе Павла Николаевича повторно читал ему два стихотворения, посвященные О. Ваксель. Прежде Лукницкий слышал их в Ленинграде на Морской улице. Оба чтения происходили в отсутствие Надежды Яковлевны. По словам П.Н. Лукницкого, стихотворение «Жизнь упала как зарница...» Мандельштам ценил больше за «новую линию» в собственном творчестве, в то время как произведение «Я буду метаться...» относил к предшествующему периоду сочинений 1923 г. Узнав, что стихи написаны недавно, Лукницкий поинтересовался, пишет ли поэт сейчас. Мандельштам отвечал: «Ни одного не написал... Вот, когда буду умирать – перед смертью напишу еще одно хорошее стихотворение!..» (см.: Слово и судьба. С. 120–121). С.В. Полякова высказала предположение, что с образом и воспоминаниями об О. Ваксель связаны переводы четырех сонетов Петрарки и косвенно стихотворение «Я скажу тебе с последней прямотой» (см.: *Полякова С.В.* Указ.

соч. С. 176). Два других стихотворения написаны после смерти О. Ваксель. «Осип очень долго не знал о судьбе Лютика. Только в 1934 году через кого-то дошла до него в Воронеже весть о ее смерти. Стихотворение Осипа, посвященное памяти Лютика, одно из лучших лирических произведений брата. Это “Возможна ли женщине мертвой хвала? Она в отчужденье и в силе...”» (*Мандельштам Е.Э.* Воспоминания. С. 174). А.А. Ахматова, говоря о поэзии О. Мандельштама, выделяла стихи 1930-х годов и любила скандировать: «И твердые ласточки...» «Надежда Яковлевна сказала мне во время той нашей встречи, – писал о событии февраля 1969 г. А.А. Смольевский, – что Осип узнал о смерти Лютика только года через два и от какого-то чуть ли не случайного собеседника – “из равнодушных уст... услышал весть... и равнодушно ей внимал он”. Но стихотворение “На мертвых ресницах Исакий замерз...” и особенно – написанное в тот же день “Возможна ли женщине мертвой хвала”, – разве можно назвать их автора равнодушным? “Я тяжкую память твою берегу...”» (коммент. А. С.). Можно предположить, что известие о смерти О. Ваксель поэт услышал от филолога С.Б. Рудакова (1909–1944), находившегося тогда же в воронежской ссылке и постоянно общавшегося с четой Мандельштамов. Вероятно, оба стихотворения были написаны в ночь с 3 на 4 июня 1935 г. (см.: *Герштейн Э.* Мемуары... С. 149–150).

[294] В 1919–1923 гг. профессор Института живого слова языковед С.И. Бернштейн (1892–1971) записал на пластинку для архива звукозаписи института стихи в исполнении авторов – А. Ахматовой, А. Белого, В. Брюсова, Н. Гумилёва, С. Есенина, Г. Иванова, В. Маяковского, О. Мандельштама, В. Ходасевича. Ныне пластинка хранится в Государственном литературном музее Москвы. С.И. Бернштейн, проводивший исследования авторского чтения, писал о «театрально-трагическом пафосе» О. Мандельштама. Три из записанных стихотворений О. Мандельштама можно найти в аудиокниге «Голоса, зазвучавшие вновь. Запись 1908–1950 гг.». Составитель сборника А.А. Шилов. Издание Государственного литературного музея.

[295] Дом на Таврической улице (в 1920-х годах ул. Слуцкого), 35/1 (см. примеч. 221). П.Н. Лукницкий вспоминал, что О. Мандельштам часто ездил к А.А. Ахматовой *на извозчике*,

на что поэтесса посоветовала ему «меньше ездить во избежание сплетен» (цит. по: Слово и судьба... С. 115).

[296] *Мормоны* – религиозная секта (Святые последнего дня), основанная в США в первой половине XIX в. Среди мормонов было распространено многоженство.

[297] *Комната О. Ваксель* в квартире № 34 на пятом этаже была с балконом, расположенным по северному фасаду дома, обращенному на ул. Тверскую. Между двумя эркерами львовской квартиры было восемь окон, два из которых с балконом, левое – окно комнаты О. Ваксель. Налево от него – два окна «детской», еще левее окно комнаты А.Г. Гуро и А.Н. Обнорского, затем эркер комнаты Г.В. Кусова. Направо от окна комнаты О. Ваксель еще четыре окна и эркер, соседствующий с башней (из поясн. А. С.). С южной стороны во двор выходили окна мансарды Ю.Ф. Львовой. А.А. Смольевский вспоминал: «С маминого балкона видно так далеко: за Таврическим садом можно различить мечеть и Петропавловскую крепость, – закаты так красивы! Помню еще колокольный звон у церкви на Тверской и отдаленные удары колокола в Смольном соборе, кресты которого тоже видны с балкона. Прогулки в сторону Охтинского моста у меня вызывали желание поселиться в одной из башен этого моста, откуда открывались бы широкие просторы и где было бы весь день много-много солнца. Но там не было Таврического сада и оттуда, наверное, не увидишь Петропавловскую крепость и мечеть...» (Восп. А. С. Л. 3–4).

О *визитах* Ю.Ф. Львовой Н.Я. Мандельштам пишет: «Всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери заправляла тоже она. Она вызвала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне, уточняя и формулируя требования дочери» (*Мандельштам Н.* Вторая книга. М., 1999. С. 217).

[298] Насколько обострились отношения в этом треугольнике, говорят строки из письма Надежды Яковлевны драматургу А.К. Гладкову: «Увлечение О. М., наша попытка развестись (я уходила к Татлину) и потом примирение. Была драма. Могла кончиться плохо. Случайно уцелели. Девчонка (О. В. – *Е. Ч.*) плакала целыми днями у меня в комнате. Не думаю, чтобы она любила О. М. ...Как О. М. уцелел, трудно себе представить, потому что такого чуда, как эта Ольга, я не видела» (*Мандельштам Н.*

Об Ахматовой. С. 39). *Татлин* Владимир Евграфович (1885–1953) – художник, дизайнер, конструктор, автор архитектурных и инженерных проектов; преподавал в Петрограде (1919–1924) и в Киеве (1925–1927).

[299] После разрыва с О. Ваксель в марте 1925 г. О. Мандельшам испытал как вероятное следствие пережитого первый сердечный припадок. В 1925/1926 г. (до 1927 г. с перерывами) чета Мандельштамов жила *в Детском Селе*: поэт вместе с Б.К. и Е.К. Лившицами – в Китайской деревне, затем почти год арендовал для семьи квартиру в Лицее. Об этом визите О. Ваксель Надежда Яковлевна писала, что «...и там она отличилась» (*Мандельштам Н.* Там же). Встревоженная обнаружением мемуаров О. Ваксель, вдова поэта сообщала А.К. Гладкову в 1967 г.: «...После того, как *зашла к нам в Детское* (осенью 27 года), она (О. В. – *Е. Ч.*) опять встречалась с О.М. ...» (Там же. С. 36). У О. Ваксель нет упоминаний о возобновлении встреч с поэтом. Так же считал и Е.Э. Мандельштам: «Встреча брата с Лютиком в 1927 году была последней. Отношения между ними больше не возобновлялись» (*Мандельштам Е.Э.* Воспоминания... С. 173).

[300] Лицо не установлено. В начале 1925 г. проводился новый набор студийцев; 3 февраля после экзамена было принято 62 человека, хотя к концу года предполагалась численность не более 25 членов. Среди студийцев этого времени почти забыты имена Д. Жирякова, С. Бармичева, С. Бернштейна, Е. Кумейко, П. Березина, М. Цибаровского, Э. Галя, Л. Забокрицкого и Л. Шевалье. Из приведенного неполного списка можно выделить Забокрицкого (Льва, Соломона или Шлёмы?). Портрет этого красивого молодого человека, написанный В.М. Баруздиной (скорее всего, по фотографии) в первой половине 1920-х годов, был подарен А.А. Смольевским Дому-музею П.П. Чистякова без комментариев. Среди прочих мужских портретов Баруздиной для О. Ваксель был исполнен (также по фотоснимку) лишь набросок головы Вистендаля. Существует устная легенда о принадлежности Забокрицкого к спортивному миру, что не противоречит тому, что он мог проводить физкультурный парад, как сказано ниже в воспоминаниях О. Ваксель. Упоминание находим у П.С. Соболевского, описавшего занятия в мастерской ФЭКСа. «Шеренга наша являла собой ... прелестное зрелище! Все как один в черных фэк-

содеждах, или, попросту говоря, комбинезонах с бретелями через плечи и нагрудными карманами в белых рубашках, стояли мы... с математической точностью, вдоль постеленного перед нами толстого малинового ковра.

Возглавляли строй наши "великаны" – Забокрицкий и Павел Березин. Замыкала строй крошечная Янина Жеймо. Где-то посредине были мы – и Герасимов, и я, и Костричкин, которым, по причине его невысокого роста, заканчивалась мужская половина. Впрочем, не совсем "мужская" – третьей с правого фланга среди мужчин возвышалась стройная фигурка одной из наших девочек – Америковой. Ее рост, примерно 180–190, сулил ей неограниченные возможности в эксцентрическом плане... Чуть ниже, после двух-трех ребят, стояла красивая и могучая Ваксель и уж потом, еще через несколько человек, шли девочки...» И еще одно упоминание в связи с эстрадным выступлением с показом «неизвестных до этого времени танцев» – чарльстона и блэк-боттома.

«Сначала на эстраду вышла группа в черных фэксодеждах – нас было пятеро: Березин, Забокрицкий, Герасимов, Костричкин и я. <...> Мы исполнили первый групповой танец. Отшлифованные и доведенные до невероятной точности совпадения, наши движения сразу пленили зал. Затем пошли сольные выступления каждого из нас» (*Соболевский П.* Указ. соч. С. 18–19, 31–32).

[301] Газета «*Ленинградская правда*» в 1925 г. выходила обычно на шести–восьми полосах, с рекламой на десятой. Новости культуры (обзоры выставок, театральные и киноанонсы) помещались на предпоследней, реже на последней странице. Среди рецензентов несколько авторов: Н. Верховский, Аксаров, Аз и А. З., В. Льв. и С., а также анонимы. В основном отзывы носили критический характер. «Наскоро состряпанный наивно-фантастический сценарий не вяжется с реализмом обстановки и игры, – писала О. Ваксель. – Моменты сильных напряжений сорваны вялостью темпа (драка на мачте). Неопределенность трюков идет вразрез с чистотой движений актеров. Хороша работа кинооператора, четкая фотография, ночные съемки. Но все это не искупает небрежности сценария» (Ленинградская правда. 1925. 29 мая. № 120. С. 5). Или такая рецензия О. Ваксель на фильм «Зейнаб и Раммека», где оценки вполне соотносятся с ее замечаниями в воспоминаниях. «Восстание племени Тауре гов служит только

бледным фоном для запутанного романа в опереточно-восточной обстановке. В этнографическом отношении картина ничего не дает. Хотя дело должно происходить в Сахаре – натурные съемки отсутствуют. Герои посредственны, эпизодические персонажи – из рук вон плохи. Неудачный подбор типов усугубляет отрицательные качества фильма.

В целом, эта картина со всех точек зрения представляет собой сплошную макулатуру. О. В.». (Ленинградская правда. 1925. 26 июня. № 143. С. 6).

[302] 24 июля – день памяти равноапостольной княгини Ольги.

[303] См. примеч. 297.

[304] *Сесил де Милль* (De Mille, 1881–1959) – американский режиссер (с 1911), продюсер, драматург, актер. В 1912 г. участвовал в создании общества по производству фильмов, преобразованного впоследствии в кинофирму «Парамаунт».

[305] *Фокс* – просторечное, то же, что фокстрот – модный быстрый танец.

[306] *Ивановский* Александр Викторович (1881–1968) – драматург, сценарист и режиссер фабрики «Союзкино». Засл. деятель искусств РСФСР (1936). Начал работать в кино с 1918 г. В середине 1920-х годов поставил несколько историко-революционных фильмов, в том числе в 1924 г. «Дворец и крепость» (по роману О.Д. Форш и повести П.Е. Щёголева «Таинственный узник»). В этой киноленте О. Ваксель можно видеть в сцене бала – всего несколько секунд. *Весковский*, правильно Висковский, Вячеслав Казимирович (1881–1933) – кинорежиссер, начал работать в кино в 1915 г. Первые фильмы – экранизация популярных романов, классических произведений. В 1920 г. покинул Россию, работал в США. В середине 1920-х годов вернулся в Петроград и стал режиссером студии «Севзапкино». Отказавшись от услуг театральных актеров, пригласил для работы начинающую молодежь. Наряду с В.Р. Гардиным и Ч.Г. Сабинским (см. примеч. 332) является представителем старшего (дореволюционного) поколения режиссеров, которое в 1920-х годах внесло собственный вклад в развитие отечественного кино. Козинцев и Трауберг противопоставляли свой эксцентрический метод методу *стариков*.

[307] *«Мишки против Юденича»* (1925/1926) – фильм режиссеров Г.М. Козинцева и Л.З. Трауберга, в котором снималась

Я.Б. Жеймо и дебютировал в качестве киноактера С.А. Герасимов. Эксцентрическая комедия о необыкновенных приключениях мальчика-газетчика Мишки, попавшего в штаб генерала Юденича.

308 *Совкино* – Ленинградская фабрика (1926–1930), создана на базе основанной в 1918 г. в Петрограде киностудии; предшествовала учрежденному в 1934 г. «Ленфильму». В 1922–1924 гг. называлась «Севзапкино», в 1925–1926 гг. – кинофабрика «Ленинградкино», в 1930–1932 гг. – Ленинградская фабрика «Союзкино». В 1932–1934 гг. – «Росфильм» и «Союзфильм».

309 Борис Михайлович Энкин (род. ок. 1910 г.) – знакомый *О. Ваксель*, проживал с родителями на пр. К. Либкнехта (Большой пр. Петроградской стороны), 38. О дальнейшей судьбе Б.М. Энкина, оставшейся за рамками воспоминаний О. Ваксель, рассказал А.А. Смольевский. «Борис Михайлович Энкин забросил игру на скрипке и, наконец, закончил какой-то технический ВУЗ, женился, служил в ракетных (?) войсках, поэтому имел затруднения с разрешением эмигрировать в Штаты. Сначала туда уехала одна из его дочерей, кажется, математик с прекрасными лингвистическими способностями; а второй из-за этого “не давали хода” в Ленинградской Консерватории, т[ак] ч[то] она вместе с родителями тоже решила уехать. Это было в 1983 г. (?) Они оставили свою квартиру на Невском [проспекте] уг[ол] Канала Грибоедова, как раз над парфюмерным магазином [Невский пр., 27/18. – *Е. Ч.*], распродав вещи. <...> Никаких фотографий Лютика он не сохранил, чтобы не вызывать ревность у своей жены; никого из членов его семьи я не знаю. От Бориса Михайловича, которого я разыскал, кажется, в 1966 году, мне удалось узнать всего несколько мелких деталей, касающихся характера О[льги] А[лександровны] и ее окружения. “Она была всего на несколько лет старше меня, а я не смог по-настоящему оценить ее”, – сказал он при последней нашей встрече (с 1966 г. и до его отъезда их было всего три или четыре)» (коммент. А. С.).

310 *Жуир* – человек, ищущий наслаждений, кутила.

311 Речь идет об *акварелях М.А. Волошина*, долгие годы находившихся в квартире Ю.Ф. Львовой. «...Когда-то у бабушки Юлии Федоровны вся комната была *увешана* подаренными ей акварелями, – вспоминал А.А. Смольевский, – (из писем бабушки к Максу, которые хранятся в рукописном фонде Пушкинского

Дома, я узнал, что их было 43), потом они висели в комнате Лютика, которая десятка полтора их увезла с собой в Осло, что бабушка раздарила оставшиеся акварели друзьям, как того хотелось Максу (последние две она передала Ольге Дмитриевне Форш, но после смерти О[льги] Д[митриевны] ее родные вернули их мне, потому что хотели развесить на стенах только ее рисунки)» (*Смольевский А.* Мария Степановна Волошина... С. 5; см. также примеч. 206). В письме Х. Вистендалю в Москву от 24 августа 1932 г. О. Ваксель сообщала о посылке ему нескольких картин художника, упомянув о его недавней смерти (МА. Д. 213. Л. 4). В 1965 г. 10 акварелей Волошина были привезены из Осло (см.: «От комментатора» в настоящем издании). «У тети Агаты осталось еще четыре, о которых она решительно заявила, что оставит их себе, а вернет только... “Aprés ma mort!” (“После моей смерти!”), не раньше» (Там же. С. 12–13). Три из этих акварелей опубликованы. (См.: *Купченко В.* «Я предлагаю вам игру...». Максимилиан Волошин – художественный критик // Новый мир искусства. 1998. № 1. С. 11, 12, 14).

312 А.А. Смольевский писал об этом лете: «Из раннего детства мне вспоминается дача в Детском Селе, мне хочется бегать под дождем, а меня уводят в комнаты; в лужах лопаются большие пузыри; мне очень хочется иметь маленький медный компас – на цепочке, как папашины карманные часы; мне нравятся лампы. <...> Вспоминаю простуду – летом; меня не выпускают гулять, ставят на спину кусачие горчичники. Вспоминаю, как меня уложили спать на два составленных вместе мягких кресла, обтянутых темно-зеленым бархатом и с бахромой; ночью кресла разъехались, и я оказываюсь ревущим на полу.

Эти кресла, на которых я спал, служили потом бабушке и маминым адвокатам доказательством того, что в доме отца для моего воспитания нет подходящих условий: вместо кроватки, необходимой для правильного развития детского позвоночника, ребенка укладывают спать на сдвинутые пыльные мягкие кресла, где посредине образуется гибельный провал, от которого может образоваться горб» (Восп. А. С. Л. 1).

313 Дефект кожи вследствие заболевания пендинской язвой.

314 Подразумевается персонаж повести Б.А. Лавренева «Седьмой спутник», опубликованной в журнале «Звезда» за 1927

(№ 6) и экранизированной (режиссер В.П. Касьянов, 1927). *Лавренев* Борис Андреевич (наст. фамилия Сергеев, 1891–1959), прозаик, драматург.

[315] А.А. Смольевский вспоминал: «Арсений Федорович много раз на протяжении моего детства соблазнял меня обещаниями всяких благ, если я перееду жить к нему. “У меня есть отдельная комната, а если я перееду к тебе, ее не будет”. – “Ты будешь жить с няней”. – “Не хочу. Потом, у нас есть рояль, а у тебя нет”. – “Я тебе куплю игрушечный рояль”. – “Не надо, у нас есть бабушкин; я могу на нем играть, сколько хочу, а потом он будет мой; а когда бабушка умрет, я его выкрашу зеленой краской”. (Почему мне вдруг пришла в голову идея выкрасить чудесный рояль палисандрового дерева в зеленое, не знаю; наверное, мне просто хотелось подчеркнуть свою самостоятельность.) Я тогда же передал бабушке этот разговор с отцом, она очень смеялась и сказала, что красить рояль в зеленый цвет, конечно, не стоит.

Я смутно чувствовал, что мне будет больно расстаться насовсем с духом творчества, который был вокруг бабушки, да и вокруг мамы тоже. Я мог наблюдать, как бабушка пишет ноты, как она репетирует с исполнителями, забираться под рояль, когда она играет, и мечтать. Я чувствовал, что мне будет грустно и пусто без многих ее вещей, которые мне так нравились: пюпитрик с вышитой картинкой, где так романтичен портик в роще над водопадом, ее круглый стол с урночкой на крестовине подстолья, ее милые старинные вещи – вышивки под стеклом, готическая лампа, графин для воды, зеркала, всякие шкатулки для писем, для карандашей, которые мне разрешалось трогать, – не то, что у отца, с его педантизмом; – портреты и фотографии. Я чувствовал, что мне будет больно уехать от Таврического дворца и сада, от этого простора, от прудов, решеток, аллей, его ажурных мостиков, от Смольного, который так красиво виден вдали; мне нравилась и наша светлая парадная лестница со скульптурами, и башня на углу дома – знаменитая башня Вячеслава Иванова.

С папой хорошо, когда он ведет меня гулять в Таврический сад или на Острова, но лучше пускай он живет у себя и приходит в гости. Когда Арсений Федорович приходил к нам, меня заранее причесывали, умывали, переодевали; не дай Бог, он увидит, что у меня на чулочках грязь оттого, что я ползал по полу на чет-

вереньках. Он появлялся обычно после обеда, торжественно, с какой-нибудь игрушкой и коробкой конфет – рахат-лукум, ириски. <...> С ним надо было сидеть чинно, разве что он покажет, как надо закручивать резину на пропеллере аэроплана или немного поиграет со мной в "железную дорогу". Игрушки, подаренные мне отцом, как правило, почему-то быстро ломались.

Интересно было спрашивать у него, как читается или пишется какая-нибудь буква. Но попросишь его нарисовать что-нибудь, он нарисует каких-то странных человечков с длинными носами и будет рассказывать, как они дерутся, или будет уверять, что можно лечь спать на вбитом в стенку гвозде, а чтобы не упасть, надо только подвязаться веревочкой; еще я помню какие-то странные его рассказы про... фиги в колодце. По ночам эти образы давили мне на мозг, я стал капризничать, бояться темноты, полос света на потолке от уличных фонарей или из окон напротив, требовал, чтобы в коридорчиках рядом с детской горела лампочка, пока я не засну» (Восп. А. С. Л. 2–3). В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме находятся документы по делу «об отобрании ребенка», справки о проживании А.А. Смольевского вместе с матерью, расписка О. Ваксель, поручающая сына заботам бабушки. Ю.Ф. Львова после смерти дочери оформила опекунство над внуком. А.А. Смольевский не захотел расставаться с бабушкой. Он не виделся с отцом с весны 1933 г. до 1950 г., а с 1950 г. до самой смерти Арсения Федоровича в 1967 г. у них было всего четыре встречи.

316 Вспоминая обитателей квартиры на Таврической улице, занимавших две комнаты рядом с «балконной» комнатой матери, А.А. Смольевский называл друзей бабушки – *А.Г. Гуро* с Алексеем Николаевичем Обнорским и *Г.В. Кусова* (см. примеч. 265, 270, 145). Ольга Никандровна *Каратыгина* (урожд. Верховская, ум. в 1942 г.) – художник, педагог, с 1907 г. преподавала в Рисовальной школе Императорского Общества поощрения художеств (РШ ИОПХ) в классе живописи по стеклу. Жена композитора и музыкального критика В.Г. Каратыгина (1875–1925), сестра В.Н. и Ю.Н. Верховских, издавших в конце 1904 г. в домашнем издательстве «Зеленый сборник стихов и прозы». Младший из братьев – Юрий Никандрович (1878–1956) – поэт-символист и переводчик, историк литературы, друг А.А. Блока и В.Ф. Ходасевича.

[317] А.Ф. Смольевский пытался склонить на свою сторону *нужных свидетелей*, в том числе из стана «противника». «Даже среди близких наших знакомых Арсений Федорович находил себе союзников, – вспоминал А.А. Смольевский, – правда, временных. Александра Генриховна Гуро как-то при нем сказала, что ребенка, конечно же, нельзя лишать отца. Он убедил ее выступить в его пользу на суде в качестве свидетельницы. Но на суде, неожиданно для него, Александра Генриховна стала говорить совсем обратное, чем привела его в ярость. Он очень рассчитывал одно время на Ольгу Никандровну Каратыгину и даже подарил ей вазу работы Галле, но когда увидел, что она не собирается свидетельствовать в его пользу, отобрал вазу обратно, а против Ольги Никандровны затаил злобу, которая у него постоянно прорывалась впоследствии. Из-под его пера как из рога изобилия сыпались бесконечные жалобы на Лютика и на Юлию Федоровну. Как-то бабушка рассказала о его линии поведения В.М. Бехтереву, с которым она была знакома и под руководством которого в Институте мозга проводила эксперименты по лечению душевнобольных посредством музыки в сочетании с цветом. Бехтерев оценил состояние психики Арсения Федоровича как “сутяжный бред”. В результате его доносов Лютику невозможно было ни учиться, ни поступить на работу» (Восп. А. С. Л. 7–8). *Галле* Эмиль (Gallé, 1846–1904) – французский художник, мастер художественного стекла, дизайнер, теоретик искусства и поэт-символист. Создал оригинальный стиль декоративного стекла, увековечивший его имя. *Бехтерев* Владимир Михайлович (1857–1927) – профессор Военно-медицинской академии (с 1893 г.), один из создателей неврологии и психиатрии, основатель Психоневрологического института.

[318] *Евреинова* Наталья Николаевна (1886–1942) – адвокат, член Ленинградской городской коллегии адвокатов (ЧКЗ). Младшая из четырех детей инженера-путейца Николая Васильевича Евреинова (ум. 1918). Один из ее старших братьев – режиссер и театровед Н.Н. Евреинов (1879–1953), создатель «Кривого зеркала» и «Старинного театра» в Петербурге, эмигрировал в 1925 г. С детства хорошо владела французским языком, окончила Смольный институт. Умерла в блокадном Ленинграде (сведения из семейного архива Никитиных, СПб.). «Первый раз я видел ее, когда мы

с мамой были в гостях у Арсения Федоровича. Мы обедали за овальным столом; мама и отец сидели в креслах друг против друга, на концах стола и мило беседовали, как хорошие знакомые, я на стулике сидел посередине. Обед подавала няня. <...>. Затем пили чай с вареньем. В это время появилась дама, высокая, некрасивая, но породистого вида, элегантная, в коричневом платье, с рыжеватыми волосами и длинным, немного лошадиным лицом. Помню, что она тоже пила чай, потом курила и при разговоре грассировала» (Восп. А. С. Л. 15). *ЧКЗ* – член коллегии защитников. В России до 1917 г. существовали судебные стряпчие и присяжные поверенные. В 1918 г. Декретом о суде предписывалось создание единой организованной коллегии защитников, члены которой были госслужащими. Коллегия существовала до 1920 г., была воссоздана летом 1922 г. и упразднена в 1939 г. в связи с принятием Положения об адвокатуре в СССР.

[319] На одном из заседаний суда Н.Н. Евреинова сказала: «Посмотрите на эту актерскую физиономию, на эти крашеные волосы...» К такому повороту О. Ваксель и Ю.Ф. Львова были готовы. А.А. Смольевский записал слова бабушки: «У Лютика тогда действительно были выкрашены волосы в светлый цвет для какой-то роли в кино. Я предвидела, что это вызовет нападки Евреиновой, и посоветовала твоей маме перед заседанием суда перекрасить волосы в ее естественный цвет и прийти в суд в шляпке. После речи Евреиновой твоя мама скромно сняла шляпку, и все увидели, что Евреинова говорит неправду, а та от неожиданности прикусила язык» (коммент. А. С.).

[320] После разрыва отношений с Мандельштамом О. Ваксель летом 1927 г. ездила с сыном на Кавказ. В этой поездке их сопровождал Е.Э. Мандельштам, посвятивший О. Ваксель несколько страниц в своих мемуарах. По его признанию, он не знал о романтической истории брата. «Я Лютика не видел с конца 1916 года. Наши интересы и среда, в которой каждый из нас вращался, были очень далекими. Но в 1927 году мы с Лютиком случайно встретились на одном из концертов “Кружка камерной музыки”, которые давались в помещении на углу Невского и Садовой. В “Кружке” я часто бывал и любил слушать прекрасно подобранные и исполняемые концерты, с предваряющими их небольшими интересными лекциями о музыке. Лютик по-преж-

нему была прекрасна. Но личные неудачи и лишения оставили на ней свой след. Она стала более замкнутой, в ней ощущалась какая-то внутренняя опустошенность. Мы оба обрадовались этой встрече, напомнившей нам юность и Коктебель с его безоблачными днями. Мы стали видеться. Я бывал на Таврической улице, где она жила с матерью и сыном. Иной раз засиживался допоздна и, из-за разведенных мостов через Неву, с трудом попадал к себе на Васильевский остров» (*Мандельштам Е.Э.* Воспоминания. С. 173). О квартире Е.Э. Мандельштама А.А. Смольевский писал со слов Е.К. Лившиц: «Квартира Евгения Эмильевича была на 8-й линии Васильевского острова, а когда Осип приехал в Л[енингра]д с Надей, то жили они в бывшей людской этой квартиры за кухней» (коммент. А. С.). На этом доме (№ 31) 16 января 1991 г. к 100-летию со дня рождения О. Мандельштама установлена доска в память о пребывании здесь поэта, написавшего стихотворение «Я вернулся в свой город, знакомый до слез».

[321] В этом месте запись временно обрывается и возобновляется с неразборчивой приписки Х. Вистендаля: [Junækytes?]. В воспоминаниях О. Ваксель не упоминается о знакомстве, встречах и отношениях с Е.Э. Мандельштамом. Возможно, причиной этому стал инцидент, о котором говорится в мемуарах младшего брата поэта. «В те годы я был вдовцом, – писал он. – Отсутствие в моей жизни женщины, одиночество давало о себе знать и способствовало моему сближению с Лютиком. Ничего не предрешая, я предложил ей попутешествовать вместе. Хотелось дать ей передышку от жизненных трудностей и лишений. Лютик согласилась, и мы вместе с ее сыном пустились в путь. Побывали на Кавказе, в Крыму, на Украине <...>.

Но отношения наши по-прежнему оставались неясными и напряженными. Душевный мир Лютика был скрыт от меня. Случай привел к тому, что я в этом воочию убедился: в Батуме она под каким-то предлогом оставила меня в гостинице с сыном, а сама ушла на свидание с моим соучеником по Михайловскому училищу, с которым я ее познакомил на пароходе. После того, как я застал их на бульваре, я остро почувствовал, насколько мы чужие друг другу люди. Мы вернулись в Ленинград. Я довез ее до квартиры, и больше мы с ней не встречались» (Там же. С. 173; см. примеч. 331). *Михайловское* артиллерийское *училище* создано

в 1820 г.; в 1849 г. названо в честь великого князя Михаила Павловича; с 1855 г. – Михайловская артиллерийская академия. Размещалось на Арсенальной наб., 17. В 1918 г. ликвидировано.

[322] Одно из типичных для того времени сокращений названия организации, очевидно, занимающейся курортным обслуживанием отдыхающих в Крыму.

[323] Рассказывая о путешествии на Кавказ вместе с О. Ваксель, Е.Э. Мандельштам писал: «Впечатлений было много, особенно от плавания по Черному морю на товарно-пассажирском пароходе "*Франц Меринг*", имевшем пяти-шестичасовые стоянки в таких местах, как Ялта, Сухуми, Новый Афон и других портах и курортах» (Там же. С. 173). Название корабля Е.Э. Мандельштам приводит, видимо, точнее.

[324] Правильно – *Очамчира*, город в Абхазии на побережье Черного моря.

[325] Сохранилось несколько снимков, сделанных Е.Э. Мандельштамом во время этого путешествия. На одном из них О. Ваксель с сыном в ботаническом саду Батуми.

[326] *Военно-грузинская дорога* (1801–1863 гг., Дарьяльская) – историческое название пути из Владикавказа в Тбилиси протяженностью 208 км. В 1911 г. началось регулярное автомобильное сообщение.

[327] *ЗАГЭС* – Земо-Авчальская гидроэлектростанция им. В.И. Ленина и поселок городского типа в Мцхетском районе Грузинской ССР. Расположен на левом берегу р. Кура.

[328] *Кинто* – точному переводу с грузинского языка не подлежит; означает человека, владеющего искусством развлекать общество во время застолий и праздников.

[329] *Екатеринослав* – Днепропетровск (с 1926 г.).

[330] «*Дети на базаре*» и «*Триумф женщины*» – сведения о кинофильмах не обнаружены.

[331] Е.К. Лившиц так передавала А.А. Смольевскому эту историю: «На Кавказ Евгений Эмильевич повез Лютика, имея самые радужные планы, он собирался жениться на ней. Он помнил ее еще с тех времен, когда он навещал ее в Екатерининском институте. (Ему, как он уверял впоследствии, тогда ничего не было известно ни о том, что Осип был в Лютика влюблен, ни о том, что Осип посвящал ей стихи.) Евгений Эмильевич был

в восторженном настроении, а Лютик, я сказала бы... – более апатична. Вас (А.А. Смольевского. – *Е. Ч.*) взяли с собой. Вернулись они в ссоре. Во время путешествия на их пути встретился какой-то неизвестный молодой человек, который, увидев Лютика, мгновенно воспламенился (вообще все мгновенно воспламенялись), был настойчив, нахален. Лютик, кажется, с ним отправилась гулять потихоньку от Евгения Эмильевича, тот их отыскал, дал этому нахалу пощечину, потом устроил сцену и сказал, что, конечно, он отходит в сторону и ни о каком браке речи быть не может. Он счел своим долгом и Вас и Лютика привезти обратно в Ленинград и сдать на руки бабушке» (коммент. А. С.; см. примеч. 322).

332 *Сабинский* Чеслав Генрихович (1885–1941) – режиссер, художник. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ, 1903–1908). Художник-декоратор Московского художественного театра (с 1904). С 1908 г. начал работать в кино как режиссер, сценарист и художник. Заведовал художественной частью московского отделения фирм «Бр. Патэ», Торгового дома П. Тиммана и Ф. Рейнгардта, затем «Т-ва И. Ермольева». Участвовал в постановке более 100 фильмов. В 1928 г. вышел его фильм «*Могила Панбурлея*» с участием Е.А. Боронихина (см. примеч. 333) в роли Павла Панбурлея.

333 *Боронихин* Евгений Александрович (1889–1929) – актер кино и театра. Окончил театральную школу Литературно-художественного общества в Петербурге (1910). Актер театра Суворина (1910–1917) и Театра комедии (бывш. *Корша*, 1918–1922). В кино с 1912 г. Первая заметная роль – Михаил Бейдеман в фильме «Дворец и крепость» (1924; см. примеч. 306). Хорошие внешние данные сочетались в нем с некоторой напыщенностью и холодноватой манерой исполнения. *Театр Суворина* – театр Литературно-художественного общества (СПб., 1895–1917); был организован на паевых началах. Вскоре стал частным предприятием самого крупного из пайщиков – Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912). Назывался театром Литературно-артистического кружка, театром Литературно-художественного общества (с 1909), после смерти владельца стал носить его имя. В обществе назывался Малым или Суворинским театром. *Корш* Федор Адамович (1852–1923) – адвокат, владелец Русского драматического театра в Москве (1882–1918).

[334] *«Кастусь Калиновский»* – историческая драма режиссера и сценариста В.Р. Гардина о восстании белорусских крестьян в 1863 г. с участием Н. Симонова, Г. Ге, Б. Ливанова; киностудия «Совкино» совместно с «Белгоскино» (1928; см. примеч. 308). Существует одноименная кинолента о герое национально-освободительной борьбы, снятая в 1963 г.

[335] *«Севзапсоюз»* – представительство Северо-западного областного союза кооперативов.

[336] Ни упомянутых *писем*, ни *стихов* 1927–1928 гг. обнаружить не удалось.

[337] *Очаг* – детское дошкольное учреждение, предшествовавшее созданию детских садов. Очаги создавались, чтобы частично освободить женщин-работниц, переложив материнские обязанности по уходу и воспитанию ребенка на государственные структуры.

[338] *Дидерихс Ольга* Константиновна – соученица О. Ваксель, воспитательница детского сада (примеч. А. С.).

[339] Помощника режиссера.

[340] Речь об учебных заданиях строительного техникума.

[341] Одно из известных *прозвищ* Б.М. Энкина – Бурчик.

[342] *Наталья Львовна* (*Нита*) *Брун* (точнее, Брюн де-Сент-Ипполит) – артистка кино, подруга О. Ваксель. Правнучка французского эмигранта. Ее дед инженер А.Е. Брюн был женат на Елеоноре Александровне Лансере, сестре художника Е.А. Лансере. «Наталья Львовна Брун... мамина подруга была молодая и внешне приятная блондинка... в моем представлении похожая на многие манекены в витринах магазинов готового платья», – вспоминал о ней А.А. Смольевский и добавлял, что она была из числа тех *приятельниц*, которые редко бывали у них дома.

[343] *Лишенец* – лицо, лишенное гражданских прав. Согласно принятой в июле 1918 г. первой Конституции избирательных прав была лишена значительная часть населения России. Лишенцами провозглашались классово «чуждые элементы», как-то: бывшие офицеры, служители религиозного культа, кулаки, ссыльные, осужденные и спецпереселенцы, торговцы и предприниматели с членами семей, ремесленники и пр. Лишение избирательных прав носило ярко выраженный политический характер.

[344] *«Владимирский клуб»* – в период нэпа находился в здании бывшего особняка Корсаковых, построенного А.А. Михайловым-2-м (1826–1828), а в 1840-х годах приспособленного князьями Голицыными для театра (Владимирский пр., 12; до 1944 г. – пр. Нахимсона). Позже внизу появились лавки, наконец, большую часть помещений в 1860 г. занял купеческий клуб «Орфеум», прослывший злачным местом, которое путеводитель по Петербургу не рекомендовал посещать семейным людям. В 1918 г. здесь находился первый советский клуб, затем «Свободный театр», позже – «Бюро доходных предприятий комиссии по улучшению жизни детей», получавшее значительные доходы от деятельности игорного клуба и ресторана. В одном из объявлений «Владимирского клуба» 1924 г. указывались игры: «шмен де фер», «макао», «баккара», «трант-карант», «булль», «терц», «рулетка», бильярд и др. Клуб открывался в 6 часов вечера, вход был бесплатный. В связи с жалобами на казнокрадство «очаг преступности и растрат» был ликвидирован к началу 1930-х годов, а здание «приспособлено под общегородской детский Дом культуры». С 1933 г. в здании работал Театр рабочей молодежи (ТРАМ), Новый театр юного зрителя (под руководством Б.В. Зона), с сентября 1945 г. – «Новый театр» (впоследствии Театр им. Ленсовета) (ЦГАЛИ. Ф. 118. Оп. 1. Д. 536. Л. 3, 6, 6 об., 51 а). *Зон Борис Вульфович* (1898–1966) – актер, режиссер.

[345] *Шулька Либерман* – Соломон Исаакович Либерман, пианист (или: Александр Маркович?) (примеч. А. С.).

[346] *Унковский* Сергей Николаевич (род. в 1881 г.) – сын А.В. Унковской (см. примеч. 347, 386). Окончил Морской кадетский корпус (1903). Во время Русско-японской войны – мичман на миноносце «Быстрый». Попал в плен после Цусимского сражения (корабль был взорван после того, как израсходовал боеприпасы). По возвращении произведен в лейтенанты, награжден орденами. Участник Первой мировой и Гражданской войн: с августа 1914 г. командовал кораблем на Балтийском флоте, с 1918 г. воевал на Балтийском и Азовском флотах. Начальник морского отдела при М.В. Фрунзе – командующем всеми вооруженными силами Украины и Крыма (1922); исполнял обязанности начальника Управления безопасности плавания кораблей Черного и Азовского морей (1931).

[347] Унковская Александра Васильевна (ум. 1927) – скрипач, дирижер. Прозвища в дружеском кругу теософов – «Цветозвук, а ласкательно – Цветушка» (Восп. А. С. Л. 49). Член калужского теософского общества. Занималась исследованием цветозвукочисел. В адресной книге «Весь Петроград» за 1915 г. указана как вдова лейтенанта, проживавшая на ул. Надеждинской (Маяковского), 14.

[348] *Спардек* (*англ.*) – палуба средней надстройки на судах, а также сама средняя надстройка.

[349] *Кошерный* – от древнееврейского kāšēr – очень чистый. У евреев – пища, разрешенная к употреблению религиозными законами.

[350] События происходили летом 1929 г. в Бернгардовке.

[351] В связи с этой кражей А.А. Смольевский сообщал следующие подробности: «Днем из окна мы с мамой видели, как по двору гуляет с собачкой незнакомый подросток, а вскоре, может быть той же ночью, с подоконника вор схватил мамины часы, портмоне и шкатулку для иголок и ниток. Мне запомнилось, что шкатулка была вырезана из темного вишнево-коричневого лакированного дерева, а резьба мне немного напоминала извилины головного мозга... шкатулка была с гербом (Алексея Федоровича Львова – автора царского гимна, как потом мне объяснила бабушка; такой же герб был вырезан на ониксовой печатке для запечатывания писем сургучом; и был еще на высоком пюпитре, который бабушка в 30-е годы продала скрипачу Мыслицкому из оркестра Малого оперного театра)» (коммент. А. С.).

[352] А.А. Смольевскому запомнился только один из пойманных воров. «*Мама заявила в милицию*. Через несколько дней ее пригласили для опознания личности *вора*. Мама взяла меня с собой. Вор спрашивал с хмурым видом: “Когда я у вас был”. Он сперва все отрицал, а потом заявил, что он вещи где-то зарыл, а где – не помнит. Фамилия вора была Шпунюк» (коммент. А. С.).

[353] Работа в строительной конторе не прошла бесследно для бывшей воспитанницы института. «...Лютик и простужалась, и таскала непосильные тяжести, – пояснял А.А. Смольевский. – Так, подняв тяжелый ящик с гвоздями, она устроила себе опущение почки».

[354] *Каган Александр* Евсеевич (ум. 1930 г.) – мастер детских игрушек-мозаик, строительных наборов. Двоюродный брат Б.М. Энкина (примеч. А. С.).

[355] В квартире на ул. Таврической неоднократно менялись как состав жильцов, так и планировка (см. примеч. 316). «Проживание А.Г. Гуро и А.Н. Обнорского в нашей квартире спасало от “уплотнения” и вселения новых жильцов. Это длилось, правда, недолго. Когда Александра Генриховна и Алексей Николаевич переехали на новое местожительство куда-то в районе Покрова́ (пл. Тургенева), а моя мама, поссорившись с бабушкой, переселилась на Петроградскую сторону в квартиру Бурчика (Б.М. Энкина), то домоуправление потребовало раздела жилплощади. Началась перепланировка, вселились новые люди. “Господскую” уборную превратили в прихожую квартиры 34-а, в маминой балконной разместились брат и сестра Мальцины – Моисей Ефимович и Роза Ефимовна, так что ванная комната стала одновременно их кухней, где целый день коптил примус; в три другие проходные комнаты с окнами на двор въехало семейство Лазаревых, позднее совершивших обмен с семьей Любомудровых-Мейнардов. Г.В. Кусов из последней северной комнаты с эркером на Тверскую переехал в крошечную комнатку с окном во двор. В ней помещались только железная печка, диван, письменный стол, кресло и маленький комодик-”американка”, и проходить в нее нужно было через комнату бабушки Юлии Федоровны. Я вместо моей большой детской (в которую под конец подселили очень милую студентку какого-то техникума Леночку) был переведен в половинку деленной кухни, а мама, вернувшись на Таврическую, осталась без своего угла. Для квартиры № 34-а пробили новую входную дверь на площадке парадной лестницы» (коммент. А. С.).

[356] Специфические отношения, существовавшие в артистической среде, к которой принадлежала О. Ваксель, вызывали протест со стороны матери Лютика: «К Наталье Львовне отрицательно относилась и моя бабушка Юлия Федоровна, которая также не жаловала и Дориану Филипповну Слепян, и Бориса Энкина (Бурчика), и Олечку Арбенину» (коммент. А. С.; см. примеч. 361, 357).

[357] См. примеч. 356. О ком идет речь, выяснить не удалось. Известно, что среди ее знакомых актрис была Гильдебрандт

(сценический псевдоним – Арбенина). Знакомство О. Ваксель с О.Н. Гильдебрандт могло состояться осенью 1920 г. в Доме искусств на занятиях у Н.С. Гумилёва. «“Лютик увлекалась Олечкой Арбениной... У Кузмина был друг Юркун, а у Юркуна – подруга Олечка, отношения там были запутанные и неестественные”, – рассказывала мне бабушка» (коммент. А.С.). В более поздние годы А.А. Смольевский сам пытался разобраться в этой истории. «Однажды мне удалось повидаться с Ольгой Николаевной Арбениной-Гильдебрандт. (Это было года за четыре до ее смерти.) ... Жила она в помещении для органиста при католической церкви на Невском. Мы прошли через чью-то кухню, затем по длинной узкой и темной лестнице карабкались еще куда-то наверх и, наконец, оказались в крошечной квартирке (это была квартира в квартире): в первой комнатке – прихожая, кухня и ванна, во второй жила сама Ольга Николаевна. Окна, выходившие во двор, были нелепо расположены в два яруса, нижний у пола, верхний – под высоким потолком. Много книг, диванчик, покрытый стареньким ковром, на стенах акварельные рисунки – произведения самой хозяйки, которая, как мне рассказывали потом, очень плохо видела и рисованию не училась, стол, несколько стульев. Оглядев меня, она разочарованно сказала: “На маму похож мало.” – “Увы, меньше, чем мне хотелось бы,” – сказал я. – “Но, ведь, кроме мамы, у меня был еще и папа... Утром я похож больше на мать; вечером, когда устану – на отца”. Мы пили чай, перебирали общих знакомых. О Лютике она сказала: “Это была очень строгая девушка”» (Восп. А. С. Л. 61). Есть еще одно уточнение в записках А.А. Смольевского: «Олечка Арбенина ... принадлежала к кругу учениц Н.С. Гумилёва. В ее воспоминаниях о Гумилёве (в книге: Николай Гумилёв. Исследования и материалы: Библиография. СПб.: Наука, 1994. С. 461) встречается имя Лютик, оставшееся без комментариев. Но в воспоминаниях Ольги Александровны Ваксель об Ольге Николаевне Арбениной нет ни слова». Действительно, в упомянутых воспоминаниях, относящихся к началу 1921 г., речь шла о чтении Н.С. Гумилёвым новых стихов в Доме литераторов. Судя по описанию мемуаристки, упомянутая Лютик и есть Ольга Ваксель: «...Из-за занавески показалась Лютик, я подошла к ней и помню ее неподвижное, но почтительное лицо, как *всегда такое* (курсив мой. – *Е. Ч.*).

[358] На станции Сиверская находились детский санаторий (ул. Клиническая) и лазарет.

[359] Ветка от Финляндского вокзала до Ладожского озера.

[360] *Хрыпов Александр* Ефремович – врач, занимался кинокритикой, по его сценарию снята кинодрама «На дальнем берегу» (1927, Ленсовкино) о борьбе рыбаков против кулака в поселке на дальнем Севере. Сын Е.А. Хрыпова, в прошлом представителя товарищества чайной торговли «Караван». Оба проживали по ул. 3 Июля (Садовой), 32 (см. примеч. 373).

[361] *Слепян Дора* (*Дорианна*) Филипповна (1902–1972) – актриса, драматург. Училась в студии Ленинградского Большого драматического театра (1918–1920), затем была актрисой и режиссером в театрах Ленинграда. Писала одноактные пьесы, фельетоны для эстрады. По сведениям А.А. Смольевского, недолго была замужем за неким Гировичем. Сохранились ее воспоминания о костюмированном бале в январе 1921 г. в Зубовском институте, на котором О. Мандельштам был в костюме А.С. Пушкина и читал стихи (см.: *Старк В*. Прогулка по мандельштамовскому Петербургу: Карта-экскурсия. СПб., 2010). *Слепян Юлий* Филиппович (ум. 1952 или 1956) – кинорежиссер, сценарист, брат Д.Ф. Слепян. Сотрудник редакции «Истории фабрик и заводов». Слепяны жили на ул. Рубинштейна, д. 25, кв. 8, после войны – в коммунальной квартире в д. 15/17. А.А. Смольевский оставил воспоминания о своем посещении Д.Ф. Слепян вместе с матерью.

[362] Советский торговый флот.

[363] Брюнам в дореволюционное время принадлежало имение Глазово под Лугой. А.А. Смольевский вспоминал о том, что провел одну зиму в доме родителей Н.Л. Брюн в Луге.

[364] «*Крыша*» – ресторан с летним залом и садом, открытый в 1910 г. на пятом этаже гостиницы «Европейская».

[365] *Кринкин Юзя* – Кринкин Иосиф Яковлевич, секретарь НКИД (см. примеч. 367). В «Московской правде» (№ 13) за 1929 г. помещен отзыв Кринкина о кинофильме Козинцева и Трауберга «Новый Вавилон» (дискуссия в ЛенАРКе 11 марта 1929 г.; см. примеч. 366).

[366] *НКИД* – Народный комиссариат иностранных дел (Наркоминдел) находился на ул. Герцена (Б. Морская), д. 3–5

в здании бывш. Азовско-Донского банка. Занимался визированием паспортов, наблюдением за выполнением международных договоров, сношением с иностранными миссиями, охраной бывших посольств иностранных правительств.

367 *ЛенАРК* – Ленинградская ассоциация революционных кинематографистов (1928–1935). В 1928 г. в помещении бывшего театра открылся первый в СССР Ленинградский дом АРК (Невский пр., 72, позднее Дом кино, ныне «Кристалл-Палас»). С 1960 г. переведен на ул. Толмачева (Караванную), 12.

368 В Кавголово (примеч. А. С.).

369 Имеется в виду Форст, как следует из дальнейшего текста. Вероятно, Александр Федорович Форст, архитектор, проживавший на Калашниковской набережной, 72 (см. примеч. 371).

370 *Ржевский Лев Александрович* – моряк торгового флота, второй штурман, с 1934 г. – капитан. Плавал на теплоходе «Лейтенант Шмидт». Второй муж О. Ваксель (примеч. А. С.). Далее у О. Ваксель – Л.А., Лев, Левушка. В письме от 21 июня 1932 г. О. Ваксель сообщала Х. Вистендалю о психическом нездоровье Л.А. Ржевского (МА. Ф. 5. Д. 213. Л. 3).

371 Синопская набережная.

372 *Свидание* (*фр.*).

373 О встречах с А.Е. Хрыповым периода его влюбленности в О. Ваксель А.А. Смольевский писал: «Помню, что один раз я был у Натальи Львовны где-то на Садовой (в адресной книге значится дом № 32), и ее супруг морской врач Александр Ефремович ... показывал мне своего пса – большую немецкую овчарку, каких в Ленинграде в ту пору было еще совсем немного. <...> Летом 1930 года, когда мы с мамой жили в Кавголове, доктор Хрыпов подолгу вечерами слонялся вокруг нашей дачи, и мама как-то очень печально сказала мне, что он развелся с Натальей Львовной. – “Почему? – удивился я. – Знаешь, он вдруг очень влюбился в твою маму”» (коммент. А. С.).

374 *Мать Л.А. Ржевского* – Бондарева Ольга Ивановна, жила в Мурманске (примеч. А. С.).

375 Гостиница «*Европейская*» на углу Михайловской ул. и Невского пр., сооружена архитектором Л.Ф. Фонтана (1873–1875). В 1905–1914 гг. интерьеры перестраивались в стиле модерн и благоустраивались, в том числе был надстроен пятый этаж.

Очередная реконструкция проводилась в 1932–1934 гг. (создана система одинаковых номеров), затем в 1988 г.

[376] Зоя Троицкая.

[377] *Далматова Наталья Александровна* – дочь А.Д. Далматова и Е.И. Дерновой (см. примеч. 237, далее у О. Ваксель. – Нат. Ал.), одна из первых русских знакомых Х. Вистендаля в Ленинграде.

[378] «*От первого мужа* Бобрищева-Пушкина у Натальи Александровны был сын Володя; третьим ее мужем стал Анатолий Николаевич Корольков... от которого у нее родилась дочь Ара – Ариадна <...>. Во время Великой Отечественной войны Володя стал “сыном полка”. Был в ссоре со своей матерью [...]. Наточка Далматова сменила много фамилий – Бобрищева-Пушкина, Езерская, Королькова, Патроне (итальянец) ... Мухина, но в конце концов решила называться Бобрищевой-Пушкиной» (коммент. А. С.).

[379] *Марсель Поль* Александрович (наст. фамилия Русаков, 1908–1973) – музыкант, композитор, дирижер. Автор популярных эстрадных песен, в том числе «Дружба» («Веселья час...»), «Гренада» (на стихи М.А. Светлова) и романсов на стихи С.А. Есенина («Отговорила роща золотая»), А.А. Блока и Б.Л. Пастернака. Происходил из семьи политического эмигранта А.И. Русакова (Иоселевича, 1872–1934), родился в Марселе. Многие члены семьи были репрессированы. В 1937–1947 гг. отбывал срок в Вятлаге, реабилитирован в 1956 г. Работал музыкальным руководителем и дирижером Ленинградского цирка. *Эстер* Александровна Русакова (1906–1938 или 1909–1943, погибла в лагере на Колыме) – первая жена Д.И. Хармса (Ювачева), посвятившего ей пьесу «Гвидон» (1930) и многие стихотворения. Их знакомство произошло в 1924 г. «Я любил ее семь лет. Она была для меня не только женщиной, которую я люблю, но и еще чем-то другим, что входило во все мои мысли и дела. Я разговаривал с Эстер не по-русски, и ее имя писал латинскими буквами: ESTHER» (Из письма Хармса Р. Поляковой; Цит. по: *Хармс Д*. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драма. Письма. Л., 1991. С. 539).

[380] *Езерский* (Евзерский?) Николай – художник-архитектор, второй муж Н.А. Далматовой (см. примеч. 377). В адресной книге «Весь Ленинград», возможно с опечаткой, указан Николай Трофимович Еверский, сотрудник «Севзапсоюза» (см. примеч. 335).

381 Среди других авторов фотографий О. Ваксель есть упоминания о Федоре Касюлиссе и Танфеле Борисовиче Бакмане, снимавшем ее примерно в 1929–1930 гг.

382 *Толмачёв* Дмитрий Григорьевич (Георгиевич, 1904–1980) – служащий кинофабрики «Союзкино», впоследствии журналист, проживал на ул. Троицкой, 23, в конце жизни – в доме 15/17. При его участии в качестве сценариста, режиссера и автора текстов сняты мультипликационные фильмы агитационного и нравоучительного содержания («Дом вверх дном», 1928; «Бузилка против брака», «Советская копейка», 1929); агитфильмы («Убитый жив», 1929, «Кто виноват?», «Мертвая душа», «Подземное солнце», все – 1930 и др.) С работой в кино также связаны: Толмачев Всеволод Борисович (р. 1902 – не ранее 1968) – кинотехнолог; в 1934–1937 гг. руководил Центральным бюро стандартов киномеханической промышленности и Георгий Сергеевич – художник, кинорежиссер, сценарист Союзкино, очевидно, отец Д.Г. Толмачёва.

383 Речь о Христиане Иргенсе-Вистендале (Hristian Irgens Hvistendahl, 1903–1934, Осло, Норвегия), третьем муже О. Ваксель. Дипломатические отношения СССР с *Норвегией* были восстановлены в 1924 г.

384 Ул. *Троицкая* – Рубинштейна (см. примеч. 382).

384a Норвежским королем являлся Хокон VII (1905–1957).

385 «Рубикон» – кинофильм, снятый в 1931 г. режиссером В.П. Вайнштоком (1908–1978) на студии «Белгоскино». Первая самостоятельная работа оператора А.Н. Кольцатого.

386 С.Н. Унковский 23 ноября 1930 г. был арестован и осужден «тройкой». Покончил с собой в тюрьме 8 апреля 1931 г.

387 *Советский торговый флот* – акционерное общество (Совторгфлот). Конторы и агентства находились в разных городах СССР, в том числе и в Ленинграде.

388 *Дом искусств* – находился в бывшем доходном доме на наб. р. Мойки, 51; с 1924 г. Центральный Дом Союза работников искусств (СоРабИс, ныне – Союз театральных деятелей искусств) – на пр. 25 Октября (Невском), 86 (бывший дворец князей Юсуповых, сдававшийся внаем).

389 Судя по уточнению из текста ниже о месте встречи на углу Невского и Литейного проспектов, концерт проходил

в СоРабИсе. «В *концертах испанской* и мексиканской *песни* 1931–1932 гг., в которых участвовали бабушка Юлия Федоровна – автор обработок и аккомпаниатор, певцы Наталия Васильевна Соколова (контральто) и Евгений Михайлович Шеванди́н, мамин приятель (тенор), выступал еще и Константин Николаевич Державин, предварявший концерты необходимыми небольшими лекциями; иногда вместо Шевандина́ теноровые партии исполнял Николай Николаевич Рождественский» (коммент. А. С.). *Е.М. Шевандан* – физик, в 1950-х годах публиковал статьи в журнале «Техническая физика» (примеч. А. С.). *Державин Константин Николаевич* (1903–1956) – литературовед, переводчик, сценарист и театровед.

[390] На наб. Красного Флота (Английской), 64, в здании бывшего шведского посольства находилось консульство Швеции, осуществлявшее прием по будням с 10 до 13 ч, кроме пятницы. Норвежское консульство не имело в Ленинграде собственного здания и занимало кв. № 1 в бывшем доходном доме на ул. Гоголя (М. Морская), 7. Здесь же жил норвежский консул Федор Иванович Платоу (передававший семье О. Ваксель сведения из Норвегии после ее отъезда в Осло). Возможно, по этой причине Вистендалю было предоставлено помещение при шведском консульстве. На фотографии, сделанной в апреле 1932 г., О. Ваксель стоит в пальто с богатой меховой оторочкой на Английской набережной близ шведского консульства. Вдали – здание Академии художеств и Благовещенский мост.

[391] До 1930 г. Поповы жили на Невском пр. (пр. 25 Октября), 40 (см. примеч. 392). «Позднее, примерно в 1930 г., Поповы переехали в дом на Невском, угол ул. Желябова, в квартиру на втором этаже (№ 179?). Теперь там “Салон причесок”, а когда-то находились помещения книжной лавки Смирдина. Вход был со двора. На входной двери дощечка: “Егор Егорович Дерикер” ... Егор Егорович, муж Марии Дмитриевны (см. примеч. 165), тети Мани ... был сыном известного в свое время гомеопата ... Я помню Егора Егоровича, дядю Жоржа, почтенным стариком ... Они с Марией Дмитриевной занимали небольшую тесно заставленную комнату с одним окном, а тетя Леля с Андреем Афанасьевичем – комнату побольше, где были окно и балконная дверь. С балкона открывался вид – слева на Петеркирхе, справа – на Невский, на

Казанский собор и скверик с фонтаном перед ним. Тогда по Невскому ходили трамваи; в 1934 году перед Казанским собором был устроен “*Лагерь челюскинцев*”, воспроизводивший их лагерь на льду у Северного полюса» (коммент. А. С.). 24 июня 1934 г. в Ленинграде проходила торжественная встреча участников рейса парохода «*Челюскин*».

392 Попов Андрей Афанасьевич – первый *муж Е.В. Масловской*, уполномоченный А.К.О., видный советский служащий. «Муж тети Лели Андрей Афанасьевич Попов, крупный мужчина в морской форме увлекался охотой, поэтому на стене висела двустволка в чехле, на письменном столе – весы для развески пороха с набором мелких гирек, и еще был у них огненно-рыжий сеттер Орлик. Жили они в первом этаже дома во дворе б[ывшей] Армянской церкви на Невском, в коммунальной квартире. С лестницы был отдельный ход через темную прихожую, в которой стоял старый умывальник – совсем как “Мойдодыр”, с мраморной доской, с зеркалом, наверху бак для воды, а внизу шкафик для ведра, в раковине изогнутый кранчик, из которого вода могла течь и вниз, и вверх ... Комната была длинная и широкая, но окно сдвинуто вправо ... Спальная часть отделялась шкафом; большой квадратный тяжелый обеденный стол покрыт скатертью с бахромой, на столе большая фарфоровая ваза в виде лебедя... еще две голубые японские эмалевые вазы... черное пианино с раскрытой клавиатурой, на письменном столе каретные часы. <...>. Андрей Афанасьевич однажды взял меня с собой посмотреть на прибытие в Ленинград ледокола “Красин”. Мы отправились на Университетскую набережную, где было много народу, и Андрей Афанасьевич высоко поднимал меня» (коммент. А. С.).

393 А.А. Смольевский спрашивал Е.В. Масловскую о встречах с Вистендалем, и та отвечала следующее: «Да, я с ним встречалась, мы разговаривали о Лютике» (коммент. А. С.).

394 Полянская Вера Григорьевна – жена инженера Ивана Петровича Полянского.

395 Владивосток расположен амфитеатром на сопках южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского, вокруг бухты Золотой Рог и вдоль восточного побережья Амурского залива.

396 Береговая улица находится недалеко от железнодорожного вокзала, пролегает вдоль побережья бухты Золотой Рог.

[397] В открытом письме матери из Владивостока от 4 июня 1931 г. О. Ваксель указала адрес своего «домишки» с одной комнатой площадью 15 кв. м: ул. Суйфунская, 17 (МА. Ф. 5. Д. 211. Л. 7).

[398] В январе 1925 г. СССР установил дипломатические отношения с Японией. После эвакуации японских войск из северного Сахалина, захваченного в ходе Русско-японской войны, Советское правительство предоставило *Японии концессии* на этой территории: право на эксплуатацию 50% площади *нефтяных месторождений* северного Сахалина, а также рыбный промысел на северо-востоке СССР.

[399] См. примеч. 362.

[400] В бухте Золотой Рог рядом с железнодорожным находится морской вокзал.

[401] *Эггершельд* – район на юго-западе города, ограниченный водами пролива Босфор Восточный, бухтами Золотой Рог и Федорова (Амурский залив). В северной части района находится железнодорожный вокзал, в южной – маяк.

[402] *Буй* – узловая станция, город в Костромской области.

[403] Багратион-Мухранская *Марина* Диодоровна (1910-е – не ранее 1993) – приятельница Х. Вистендаля. Происходила из семьи Багратион-Мухранских и Трубниковых, владельцев усадьбы Трубников Бор близ Любани. Впоследствии близкая знакомая М.М. Зощенко и его соседка по так называемой писательской надстройке дома № 9 по каналу Грибоедова. Работала в регистратуре поликлиники Союза писателей СССР (ул. Ленина, 34). В 1993 г. М.Д. Багратион-Мухранская посетила открывшийся музей-квартиру М.М. Зощенко на канале Грибоедова. Принимала участие в телепередаче о писателе (сообщено К.С. Кузьминым).

[404] Построенная в 1911–1912 гг. архитектором Ф.И. Лидвалем, «Астория» до 1917 г. была одной из лучших гостиниц в Европе. Здесь был зимний сад, прекрасно оборудованная кухня, ресторан, кафе, банкетные залы, а также библиотека и комфортабельные номера. «Почему она пошла работать в “Асторию”, мне она не говорила. Решила пойти – и все. С мнением окружающих она никогда не считалась», – вспоминала Е.В. Масловская (*Готхард Н.Л.* Об Ольге Ваксель... С. 169).

[405] Об этом периоде А.А. Смольевский писал так: «Поступив работать в “Асторию”, мама меня взяла туда один-единствен-

ный раз, когда кафе еще “не вступило в строй” и в нем лихорадочно велись работы перед открытием. <...> Мама показала мне зал, отведенный под кафе, где уже были расставлены столики, сверкали люстры и устроена была эстрада для музыкантов. Я несколько раз просил маму взять меня с собой – мне хотелось послушать музыку. <...> Изредка она приносила домой куски великолепного торта с грецкими орехами и кофейным кремом или пирога с курицей... Однажды вечером, когда я уже укладывался спать, она вошла в мою детскую в своей форме кельнерши кафе – белой блузке, черной юбке с кружевным передничком. “Какая ты красивая!”” – сказал я восхищенно. – “Да, говорят...” – улыбнулась мама. – “А ты очень устаешь?” – я видел, какие тяжелые подносы с множеством тарелок таскают официантки в “Ленкублите” – писательской столовой... – “Очень устаю. Пока идешь по залу – шагом, а по коридору до кухни и обратно – уже бегом”» (коммент. А. С.).

406 *О пансионе у соседей* говорят и пояснения А.А. Смольевского: «*Чакиры*, наши соседи по лестничной площадке (черного хода), к которым мама определила меня столоваться (в свой очаг я после возвращения из Владивостока и перенесенного летом 1931 года паратифа уже больше не ходил), жаловались, что у меня слишком хороший аппетит, и что им невыгодно со мной возиться. <...> Все же такая организация моего питания длилась довольно долго. Бабушка Юлия Федоровна, имевшая как член Всероскомдрама право прикрепить еще одного члена семьи к закрытой столовой “Ленкублита” (в этом помещении на Невском, 106 теперь находится ресторан “Универсаль”), часто меня брала с собой туда обедать, да еще домой приносила в жестяных банках какое-нибудь мясное второе. У мамы же в эту столовую пропуска не было; один раз она со мной все-таки прошла мимо контролерши, сидевшей у входа, а в другой раз ее туда не пропустили, и я испытал за маму чувство глубокого унижения. <...> Унизительна была и необходимость приносить из столовой еду домой, перекладывать ее с тарелок. Но в Ленинграде снабжение было прекрасным, по сравнению с другими районами страны, где начинался уже настоящий голод» (коммент. А. С.). А.А. Смольевский помнил хозяйку квартиры – *Чакир* Евгению Викторовну.

407 Врангель Николай Платонович – *барон* (1860–19?). Получил высшее образование, был дипломатом в Министерстве

иностранных дел; с 1918 г. служил в учреждениях и промышленных организациях. В середине 1920-х годов был арестован и выслан в Нижний Новгород, где с 28 марта по 27 июля 1928 г. находился под стражей. После освобождения дело прекращено. По мнению Е.В. Масловской, «очень представительный, породистый. Настоящий барин» (*Готхард Н.Л.* Указ. соч. С. 169). *Врангели фон* – баронский род датского (по другой версии шведского) происхождения, переселившийся в XII в. в Эстляндию. К концу XIX в. в России насчитывалось около 40 самостоятельных ветвей рода.

408 При своих способностях к иностранным языкам О. Ваксель, по воспоминаниям Ю.Ф. Львовой, отказывалась учить английский, о чем пожалела, начав работать в «Астории». «Мало ли что не хотела!» – парировала она объяснения матери. – «Выдрали бы меня, и прекрасно выучилась бы!» (коммент. А. С.).

409 Друзья и знакомые, посещавшие кафе, неоднозначно относились к работе О. Ваксель. Например, А.А. Попов, как запомнилось А.А. Смольевскому, категорически запретил жене следовать примеру подруги. «Тетя Леля рассказывала о том, как Лютик поступала на работу в гостиницу “Астория”. “Андрей Афанасьевич меня предупредил, чтобы я и не думала сделать то же самое” (маме она тогда при мне сказала: “Я бы тоже туда пошла, но боюсь, что меня не примут”); он не хотел рисковать своим положением на службе: “Ты знаешь, что со мной тогда будет?!”» (коммент. А. С.).

410 *Джунковская Лидия Степановна* (род. 1909) – танцовщица кордебалета Государственного академического театра оперы и балета (Мариинского).

411 *Бергстрем* – сотрудница шведского консульства в Ленинграде (примеч. А. С.).

412 А.А. Попов, безусловно, дорожил своей службой. «Андрей Афанасьевич много времени проводил в поездках, – вспоминал А.С. – Однажды, помню, он привез с Севера моржовый клык с тончайшими рисунками оленей, чумов, нарт с собаками. В годы карточной системы (отмененной в 1935 г.) Поповы имели возможность немного пользоваться Торгсином. <...> Андрей Афанасьевич, очевидно, часть зарплаты мог получать бонами. Детей у Андрея Афанасьевича Попова и Елены Владимировны

не было. <...> Мне на склоне лет тетя Леля говорила: “Он был старше меня на девятнадцать лет, но мне он вовсе не казался старым”. <...> Незадолго до начала войны бабушка рассказала мне: “Сегодня я встретила на Невском Андрея Афанасьевича, и он говорит, что Елена Владимировна с ним рассталась и ушла от него к поэту *Борису Тимофееву*”». На вопрос о ее первом муже Е.В. Масловская отвечала: ... В 1946 году о нем еще было слышно. Он хотел меня видеть...» – «А что он делал, чем занимался?» – «*Продал Якутию японцам*». (Вот, буквально, ее слова.)» (коммент. А. С.). *Торгсин* – торговля с иностранцами. В 1931 г. для формирования золотовалютного резерва открылась сеть специализированных торговых предприятий по обслуживанию иностранцев, сокращенно Торгсин, где за валюту, золото и драгоценности можно было приобрести дефицитные товары. Упразднен в 1936 г. В письме Х. Вистендалю О. Ваксель упомянула о роскошной кроличьей шубке «всего за 28 $», которую она могла демонстрировать на пушном базаре в августе 1932 г. (МА. Ф. 5. Д. 213. Л. 4 об.). Боны – один из видов денежных суррогатов, появляющихся в периоды экономических кризисов как альтернативные средства расчета. Выпускаются в качестве покупательных или платежных средств (обычно на предъявителя). «*Продал Якутию японцам*» – скорее всего, эвфемизм, обозначающий арест. *Тимофеев*-Еропкин Борис Николаевич (1899–1963) – поэт, переводчик, второй муж Е.В. Масловской. Получил юридическое образование (1923). Сотрудничал с РОСТА (1920), начал публиковать стихи. Активный сотрудник «Боевого карандаша» в блокадном Ленинграде. Писал сатирические стихи к плакатам, басни, слова песен, переводил тексты оперетт. Автор текстов популярной песни «Бублички» и романса «Эх, друг-гитара». О нем писала в своих воспоминаниях И.В. Одоевцева, в начале 1920-х годов они «жили в соседних домах на Бассейной» (ныне ул. Некрасова, коммент. А. С.). Материалы архива Б.Н. Тимофеева его вдова передала в рукописный отдел Пушкинского Дома (ИРЛИ АН).

[413] Е.В. Масловская вспоминала: «Однажды я пригласила их к нам домой, но Андрей (муж) не дал им переступить порог. Вот так прямо и не пустил. А у меня после этого спросил: “У тебя есть голова на плечах?” Я по глупости не понимала, что делала.

Пригласить иностранца домой – могли быть дурные последствия» (*Готхард Н.Л.* Указ. соч. С. 169).

[414] А.А. Смольевский писал о служебном положении А.А. Попова: «Тетя Леля рассказывала мне впоследствии, что Андрей Афанасьевич иногда сопровождал на охоту С.М. Кирова. Ее брали с собой, и Киров, шутя, называл ее Дианой-охотницей. ... Ко времени гибели Сергея Мироновича тете Леле был всего тридцать один год, она была стройна, подвижна, летом посещала теннисный корт...» (коммент. А. С.).

[415] О. Ваксель и Е.В. Масловская были подругами детства, все годы учебы в институте сидели за одной партой. «Позднее тетя Леля стала маминой конфиденткой (зачеркнуто. – *Е. Ч.*), мама ей поверяла все свои тайны. "Лютик смотрела на меня свысока, как бы говоря: ты ничего не понимаешь, кретинка, кретинка! – рассказывала о маме тетя Леля. – Иногда я недоумевала, не понимала, удивлялась, почему Лютик продолжает тянуться ко мне, что она во мне находила? Ведь у нее была своя сложная жизнь, свои увлечения, свой круг знакомств", – сказала мне как-то тетя Леля, когда мне было уже, наверное, за пятьдесят. – "Я думаю, потому, что Вам она могла довериться и потому, что вокруг Вас не было ни богемы, ни суеты, все было просто, никакой мути..." – "Да, верно... Лютик мне говорила: около тебя всегда чисто..."» (коммент. А. С.). Так же искренне семья Масловских была расположена и к сыну О. Ваксель. «Для меня она была как бы частицей мамы, и мы много с ней говорили о маме, о которой она знала, наверное, все» (коммент. А. С.).

[416] Возможно, Ф.И. Платоу или Г.-Э.-Б. Ньюстрем (см. примеч. 390, 419).

[417] «Оставив работу в кафе, – вспоминал А.С., – мама подрабатывала в издательстве Academia чтением корректур и еще в качестве манекенши (теперь говорят: "манекенщицы", хотя ... бармен – барменша, но не барменщица, кастелянша, а не кастелянщица!), продолжала в мелких ролях сниматься в кино (помню хранившийся у нас кусок негативной кинопленки, на котором снято, как она, одетая медицинской сестрой, в белом халате и в косынке открывает занавеску у постели больного)».

[418] С Т. Вечесловой в заглавной роли (примеч. А. С.). *Татьяна Михайловна Вечеслова* (1910–1992) – балерина, солистка

Государственного академического театра оперы и балета (Мариинского). Засл. деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии.

419 *Ньюстрем* Георг-Эрнст-Бернгард – секретарь шведского консульства в Ленинграде в первой половине 1930-х годов.

420 «*Это слишком для одной персоны*» (*фр*.).

421 Из сохранившихся писем О. Ваксель, обращенных к Х. Вистендалю, можно узнать о ее отчаянии в связи с разлукой, а также о бедственном материальном положении. Работы в кино она не нашла, подрабатывала редактором, один день была манекенщицей на пушном базаре (см. также примеч. 417). 300 рублей ей ссудил до сентября А.Ф. Смольевский. В своих записках А.А. Смольевский пунктирно изложил биографию матери, оставшуюся за рамками ее мемуаров. «Воспоминания Ольги Ваксель обрываются на описании ее переживаний весной 1932 года, т. е. примерно за полгода до ее ухода из жизни; за эти полгода были: путешествие в Крым и на Кавказ с Христианом Вистендалем, лето с сыном в Мурманске, подготовка сына к поступлению в школу, поездка в Москву для оформления брака с Христианом и зарубежной визы, приезд в Ленинград для оформления доверенностей, для прощания с матерью и сыном» (коммент. А. С.). «К осени 1932 года было получено официальное разрешение на брак, и 28 сентября Христиан увез Ольгу на свою родину, в столицу Норвегии Осло. Уезжая, Ольга оставила сына на попечение своей матери» (цит. по: *Смольевский А.А.* Ольга Александровна Ваксель (1903–1932) // Львова А.П., Бочкарева И.А. Указ. соч. С. 264). 4 октября 1932 г. О. Ваксель сообщала матери из Осло: «Доехали хорошо, приняты родственниками радушно. Дом очень красив и уютен» (МА. Ф. 5. Д. 211. Л. 8). «Она была окружена вниманием и трогательной заботой родных и друзей Христиана; языкового барьера не было, так как Ольга Александровна хорошо говорила по-французски и по-немецки, да и занятия норвежским у нее шли успешно. Но неожиданно для всех, прожив всего лишь месяц в семье Христиана, 26 октября 1932 года, оставив несколько стихотворений и рисунков, Ольга Александровна застрелилась из револьвера, найденного в ночном столике мужа. Сказались и ностальгия, и глубокая осенняя депрессия, и тяжесть от травли, которые несли ей бесконечные преследования со стороны

Арсения Федоровича, усталость от жизни, в которой она безуспешно пыталась найти свое место. И твердое решение жить только до тридцати лет, которое она приняла. Смерть Ольги принесла большое горе всем близким. Через полтора года умер и Христиан от сердечной болезни. Юлия Федоровна взяла со всех своих друзей клятву, что об истинной причине смерти Ольги они ничего не скажут мне, ее сыну. В 1934 году переписка с Осло, с сестрой Христиана и с норвежским консульством в Ленинграде прервалась» (цит. по: *Львова А.П., Бочкарёва И.А.* Указ. соч. С. 264).

Ольга Ваксель

Стихи

От комментатора

Стихотворения О. Ваксель публикуются по машинописным копиям, принадлежащим А. Ласкину. Всего сохранилось более 170 стихотворений разных лет. Самое раннее из обнаруженных датируется 1913 г. Среди указанных дат наиболее часто встречаются 1922–1923 гг. В период депрессии с 1924 по 1931 г., как заметил А. Смольевский, его мать стихов почти не писала. Последняя авторская датировка – 31 мая 1932 г. О том, что О. Ваксель вновь обратилась к стихам в 1931 г., и о своей первой встрече с её творчеством Смольевский писал: «В том 1931 году я помню, что видел в руках Лютика в первый раз чёрную клеёнчатую тетрадь, в которую она переписывала что-то. Позднее, вскоре после её смерти, бабушка Юлия Фёдоровна мне дала прочитать мамины стихи в двух тетрадях и на листочках машинописи, и они стали понемногу входить в моё сознание» (коммент. А. С.). Часть неизвестных стихотворений О. Ваксель Смольевский обнаружил после смерти отца (см. примеч. 131) среди его бумаг.

В 1980-х годах Е.К. Лившиц подала Смольевскому идею опубликовать стихи матери. Но прежде, как он писал, А.А. Ахматова «незадолго до смерти... познакомилась с несколькими стихотворениями Ольги Александровны Ваксель и, отметив их талантливость, рекомендовала подумать о подготовке их для печати» (ИРЛИ. Р.I. Оп. 4. Ед. хр. 244. Л. 4). Он обратился к поэту М.А. Дудину, тот передал рукопись ее стихов С.В. Ботвиннику. При участии обоих поэтов четыре стихотворения О. Ваксель были впервые опубликованы в сборнике «День поэзии» (Ленинград, 1989) с предисловием Смольевского.

Во время чтения стихов матери Арсений Арсениевич неизменно пользовался машинописными листами. Оригиналы в 1980 г. переданы им в рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Это тетрадь в тёмно-коричневом переплёте, блоки небольших листов вроде записных книжек без обложки и многочисленные листы со стихотворениями (PI. Оп. 4. Ед. хр. 240–242; Ед. хр. 243–244 – пять фотопортретов и биографическая справка об О.А. Ваксель). Часть текстов в тетрадях и на листках напечатана автором на дореволюционной машинке, но уже без использования твёрдого знака. Значительная часть стихотворений, главным образом 1920–1922 гг., имеет пометки карандашом (Ед. хр. 241) и чёрными чернилами (Ед. хр. 240): х[орошо] или о[чень] х[орошо], сделанные неустановленным лицом.

27 февраля 1996 г. в петербургском кинотеатре «Ленинград» в программе «Серебряный век» прошёл памятный вечер, посвящённый двум поэтессам – Вере Аренс и Ольге Ваксель. Звучали воспоминания и стихи.

Елена Чурилова

* * *

Я люблю в старых книгах цветы,
Тусклый запах увядших листов.
Как они воскрешают черты
Милых ликов, непрожитых снов!..

Я люблю запыленных цветов
Бессловесно-живые письмёна...
Я живу средь непрожитых снов,
Тишины и вечернего звона...
<1915–1916>

* * *

О тебе, в холодном Петрограде, сонном,
Затерявшемся, я думаю всечасно...
Мысль моя поет, поет безвластно
О тебе, в безвестную влюбленном.
Где-то там мой север белоночный
Над тобою простирает крылья...
Я люблю, люблю мое бессилье...
Жизнь – туман над нивою молочный...
Сладко мне хранить немую верность,
Сладко забывать твои глаза мне...
Встретив взгляд твой в сероватом камне,
Постигать надежды эфемерность.

Хорошо, что я тебя уже не встречу, –
Радостно и жутко забыванье...
Всех оков надежды разбиванье
Числами кровавыми отмечу.
Ни одно желанье не забыто,
Нам с тобой не заключать условий...
. . . .
Скрип арбы да сонный рев воловий,
Мерный стук покорного копыта...
. . . .
Я хочу, чтоб ты остался верен
Женщине, которой я не знаю,
Я хочу, чтоб ключ к земному раю
Для меня был навсегда потерян.
7 августа 1917 Коктебель

Павловск

Стройность елей,
Акварели
Ив серебряно-зеленых...
Отражения в затонах
Золотистого пруда,
Паутинного моста
И зеленого креста,
В облаках, лучом пронзенных...
Лист осенний, блекло-яркий,
Меж ветвей колонна, арка,
Тишина зеркальных вод,
Неба бледно-синий свод...
Вот –
Сказка Павловского парка.
Лето 1918

* * *

В осенних сумерках в просветы проглянули
Лучи последние острей, острей иглы...
И алым полусном все небо затянули,
И полосы легли колеблющейся мглы.
И скоро звездное раскрылось покрывало
Над миром стынущим, и, дымкой повита,
Безмолвно нежилась и тихо отдыхала
Земля усталая, полураскрыв уста...
И с нею мы покорно отдыхали,
Переживая вновь ее седые сны,
Дремали, плакали и в тишине мечтали
О возвращении несбыточном весны.
1919–1920, СПб.

* * *

Не подчиняясь вдохновенью,
Его не жду, но снова вдруг
Его мучительные звенья
Меня замкнули в узкий круг.
И все чернее ночи холод,
Я так живу, о счастье помня,
И, если вдохновенье – молот,
Моя душа – каменоломня.
1920

* * *

Мне поздно идти назад –
От гибели нет спасенья,
И выпитый мною яд
Уже дарит мученья.
Огонь разлился в крови,
Мутнеющий взор застыл,
И слух уже уловил
Шуршание чьих-то крыл.

В другие миры унесет
Душа этот алый закат...
Мне страшен со смертью полет...
Но поздно идти назад.
20 января 1921

* * *

В твоих утвержденьях наивность ребенка,
Ты первый или последний.
И смех закипает, безудержно звонкий.
О, верности бредни...
Но жаль одного лишь движения рока,
Который тебя полюбить мне позволил.
О вечности сны – далеко и высоко,
О боли...
Забыть бы! Раздумье твое меня мучит...
Творить бы молитвы. Свершать бы обеты...
Улыбка замрет, как из медленной тучи
Внезапность кометы...
Твоя от тебя же страшит беззащитность.
И каждое слово – бездумно-случайно...
Но глупых сердец в неслиянности слитность –
Вся тайна.
31 января 1921

* * *

Глаза твои – замёрзшие озёра
Страны неведомой, любимой и далёкой...
Ресницы грустные, и вам не скрыть укора,
А время близится, не ждёт, но одиноко,
Закрыв лицо, упорно слышу я
Камыш нешепчущий умолкшего ручья...
К твоим глазам, не подымая взора,
Ресниц твоих я чувствую полёт...
О, в яркости певучего простора
Искрится медленно самовлюблённый лёд,
А в памяти стоцветная змея,

Уснувшая на дне ручья...
Но скоро бурному его оттаять устью,
И влага тёплая растопит гордый лёд...
К твоим глазам свои приближу с грустью,
Мой жар в тебе немолчно запоёт.
Твои глаза – замёрзшие озёра...
Но я взгляну – и это будет скоро.
31 января 1921

* * *

Прости мне ложь и гордые признанья,
Прости мне боль, что я дарю охотно...
Жизнь для меня – картины расставанья.
Поблекшие старинные полотна,
Разбитые, облупленные рамы
Хранят сокровища задумчивой печали...
Не для меня курились фимиамы,
Но мною многие болели и страдали.
Прощусь со всем, чем я жила когда-то,
Но что теперь не нужно и постыло...
Одною радостью душа моя богата,
Одною радостью, живой и белокрылой.
Май 1921

* * *

Березки – как на черном бархате,
Небес прозрачна синева...
Вы, злые вороны, не каркайте!
Не верю: это не Нева.
Луга над берегами черными,
Но вдалеке нависший дым
Над городами непокорными
Под небом плачет молодым.
Расплывчатыми очертаньями
Волнуют взор и даль и близь,

И огненными трепетаньями
Во мне предчувствия слились.
Вдыхая ночи пламя сладкое,
Прислушиваясь к тишине,
Я с гордостью ловлю украдкою
Твой взор, несущийся ко мне.
19 июля 1921, Прибытково–Кобрино

* * *

Почти что так... Стихи моя отрада
Последняя. Без них вся жизнь бледна...
А чаша тайная не выпита до дна,
И далека за прошлое награда,
Так далека, что кажется порой,
В немом безветрии осенней грустной ночи,
Что Бог не смотрит в мир,
Что быть Отцом не хочет,
Что утомлен случайною игрой.
Как страшно медленно очерчивал кривую
Зеленый огонек, внимательный и злой...
Как много лун назад такою же иглой
Мне в душу впился тот, кого не назову я...
Звезды смарагдовой блистательный размах
В лиловом бархате проплачет и утонет...
Но неподвижной ночью в жадном стоне,
Как днем агатовым многоречивый Бах
Своими сединами мне напомнил
О том, что вечное – безвыходная боль –
Совсем не здесь. О ней молчать позволь.
Да, Сабаота* безразличие огромней!
1918–1921

* Сабаот (Цебаот), Саваоф – одно из имен Бога в иудаистской и христианской традициях.

Утешенье

Не надо думать о погоде
И говорить о ней не надо.
Пускай туман, и листопада
Не видно плачущей природе.
Не надо говорить о смерти:
Она и так всегда на страже,
Она верна, но только даже
И этой верности не верьте.
В моих глазах весь мир расколот
На тусклые седые глыбы,
А радоваться мы могли бы,
Не зная, что печаль и холод.
Да, наше скорбное молчанье
Позорным сделаться не может,
Мне беспокойное дороже
Усталой жизни доцветанье.
24 октября 1921

* * *

О, все вы, все вы были правы...
Измучена, убита я, ослепла...
Но не умолк огонь моей отравы,
И уголь теплится под серой грудой пепла.
В грудь бездыханную несется звон металла,
И возникает воли строй железный.
Пусть я всегда бессильна и устала,
Мой узок путь над этой светлой бездной.
И труд опять и нужен мне и сладок.
Кому-то робкое мое искусство нужно.
Веду я в мир печаль моих загадок
Из этой яви, нежной и жемчужной,
Из этой яви, где светлы и пряны
Движенья душ под смех наивных песен,
Откуда, болью жизни осиянный,
Уходит свет в наш мир, что зол и тесен.

Когда, ища пути домой, в эмали
Заката розовой ловила отблеск рая,
Снежинки тонкие спирали подымали
И вечер стал прозрачен, умирая.
И я поверила, что надо жить для смерти,
Для огорчений и для жгучей боли.
И все вы, все вы, чистые, поверьте,
Что Бог зовет и подойти позволит.
24 ноября 1921

* * *

Все дни одна бродила в парке,
Потом, портрет в старинной раме
Поцеловав, я вечерами
Стихи писала при огарке.
Стихи о том, что осень близко,
О том, что в нашей церкви древней
Дракон с глазами василиска...
Стихи о том, что жизни мало
(Дракона победил Георгий),
В неувядаемом восторге
Сама себя не понимала.
Жива опять одною думой,
Которой навсегда согрета...
Красивой бабушки с портрета
Меня тревожит взор угрюмый...
Смотри мне прямо в душу строже.
Мне тесно стало в мире этом,
Ушла бы за другим поэтом,
Но мне неведенье дороже
Моих падений.
И ступени
Моих путей зовут. Спросили:
«Что лучше – смерть, бездумность или
Мучительная власть кипений?»
Ответила: «Ищите Бога
Во всех движеньях душ безвольных.

Пусть это страшно, это больно,
Но без горенья жизнь убога».
И пусть на дне пустого взора
Смиренье мертвенной лампадой
Дрожит. О, милые, не надо
Топтать осеннего узора.
Все дни одна бродила в поле,
В молчанье дни в себя впивала...
Лишь звездной ночи покрывало
Мой жуткий мир принять позволил.
В волнах медлительного хлеба
Искрились памятные знаки
И, словно розовые маки,
Сочилась кровь святого неба.
25 ноября 1921

* * *

Когда-то, мучаясь горячим обещаньем,
Давно мне данным и живым поныне,
Я путь вершила по седой пустыне,
Считая дни с необъяснимым тщаньем.
Когда-то, радуясь свободе обманувшей,
С хвалой в звенящем медью горле,
Я видела, как синь свою простерли
Часы в даль будущую от минувшей.
И мчалась мысль, как облако над степью,
Его края желанья окрылили...
И боль прошла, как запах белых лилий,
Замкнула жизнь нерасторжимой цепью.
О, тесен круг безвыходных мечтаний!
О, душен мир, в который залетела!
Незрячий дух и трепетное тело
Не знают исполненья обещаний...
Но если боль иссякнет, мысль увянет,
Не шевельнется уголь под золою,
Что делать мне с певучею стрелою,
Оставшейся в уже затихшей ране?
10 декабря 1921

* * *

Настойчивый звон, чуть слышное эхо...
Разбег безмятежный по пропасти краю...
Медлительный взлет... И вот замираю
Надолго, навеки ль? От смеха
До слез осторожное слово не звало...
О нежная, бойся! О, бойся пожара –
Полуденный холод полночного жара
Не сможет унять, и волнение ало.
Стройнее и ближе, зарей осиянный,
Чуть видимый оку, приблизившись плавно,
Встаешь успокоен, счастливый и сонный,
Глядишь сквозь ресницы с влюбленностью фавна.
21 декабря 1921

Последний день

И неподвижное янтарное повисло
Над водами потерянных морей
Такое яркое на небе коромысло...
Меня дыханьем ласковым согрей,
Ведь бури гневные холмы испепелили,
Залива раковина вскрытая нежна,
Расцвел костер кроваво-красных лилий
И выброшен дельфин с испуганного дна.
Везде слежу грозовые знаменья:
Наш посланный вернется ли назад?
Сожгли мне лоб упорной мысли звенья,
Когда весь мир отчаяньем объят...
27 декабря 1921

* * *

Спросили меня вчера:
«Ты счастлива?» – Я отвечала,
Что нужно подумать сначала.
(Думаю все вечера.)
Сказали: «Ну, это не то»...
Ответом таким недовольны.
Мне было смешно и больно
Немножко. Но разлито
Волнение тонкое тут,
В груди, не познавшей жизни.
В моей печальной отчизне
Счастливыми не растут.
1916, 27 декабря 1921

* * *

Моя любовь источником печали
Неиссякаемым становится уже.
Я помню, как на солнечной меже
Мы радость ясноглазую встречали.
Я помню, как ромашками цвели
Все дни, и лишь закатов медь
Мне запрещала, запрещала сметь
Стремиться к уплывающей дали.
Теперь зима, и думать надоело
Над вымыслом усталой головы...
Но вспомни только: неба синевы
Простор задумчивый в полях ромашки белой.
Поля белы, но не ромашки это.
Запорошило узкую межу...
Везде бело, куда ни погляжу,
И новь осенняя невестою одета...
Дорогой, чуть намеченной, зеркала
Сверканьем рассекают свод ветвей,
Из облаков, жемчужин розовей,
Негреющее солнце заблистало...

Мне не жалеть утраченного рая,
Я лжи и повторенья не хочу,
Навстречу равнодушному лучу
Слабеющие руки простирая.
Опять хочу вернуться в снежный храм мой,
Откуда вышла я, разбужена тобой...
И будет снова сниться голубой
Вечерний свет за оснежённой рамой.
1921

* * *

У нас есть растения и собаки.
А детей не будет... Вот жалко.
Меня пожалеет прохожий всякий,
А больше всех докторша, милая Наталка.
Влажной губкой вытираю пальму,
У печки лежит шоколадная Зорька.
А некого спрятать под пушистую тальму
И не о чем плакать долго и горько.
Для цветов и животных – солнце на свете,
А для взрослых – желтые вечерние свечи.
На дворе играют чужие дети...
Их крики доносит порывистый ветер.
1921–1922

* * *

Когда ты разлюбишь меня
(А это придет, наверно),
Я буду хранить суеверно
Всю прелесть последнего дня.
Сейчас я тебе дорога,
Потому что сказал, – красива,
Но скоро уже фальшиво
(А я становлюсь строга)
Твои слова зазвучат.

И я запрещу – молчи же!
И бисер опаловый нижет
Огонь острием луча!
Февраль 1922

* * *

Ведь это хорошо, что я всегда одна.
Но одиночество мое не безысходно:
Меня встречаешь ты улыбкою холодной,
А мне подобная же навсегда дана...
Ведь это хорошо, что выпита до дна
Моя печаль и ласка так нужна мне.
Иду грустить на прибережном камне,
Моя тоска, как камень холодна...
Не много пролито янтарного вина,
Когда весь мир глаза поцеловали;
И думаю, что радостней едва ли
И девятнадцатая шествует весна...
Очнувшись от блистательного сна,
Пыталась возродить его восторг из пепла,
Но небо солнечное для меня ослепло –
Сквозь искры алые обмерзшего окна.
И ширились лучи от волокна
Дрожащего, испуганного света...
Кто знает, что дороже нам, чем это,
Когда душа усталости полна.
7 февраля 1922

* * *

Какая радость молча жить,
По целым дням – ни с кем ни слова!
Уединенно и сурово
Распутывать сомнений нить,
Нести восторг своих цепей,
Их тяжестью не поделиться.

Усталые мелькают лица,
Ты ж пламя неба жадно пей!
Какое счастье, что ты там,
В водовороте не измучен
(Как знать мне, весел или скучен?),
Тоскуешь по моим цветам.
Как хорошо, что я так жду,
И, словно в первое свиданье,
Я в ужасе от опозданья,
Увидев за окном звезду.
11 февраля 1922

* * *

Я хотела бы видеть тебя почаще,
Целовать иногда твои робкие губы,
Все другое постыло, не мило, не любо,
Даже день предвесенний, молодой и блестящий.
Мне так много сказать тебе шепчет совесть,
Мне так радостно ждать от тебя ответа...
Я больна огнем золотого света,
Я не в силах слушать скучную повесть.
Я теперь проклинаю суровое время
И узоры часов, и минут напевность,
Поднимается вот жестокая ревность,
Эта цепкая боль, осужденная всеми.
Для ребяческих игр выбираю луга я,
А во мне уже бродит моя отрава...
Ни на что от тебя не имею права,
А с весною меня заменит другая.
23 февраля 1922

* * *

Безвольные, непостоянные,
Неглубоки и холодны,
Бесстрастным солнцем осиянные,
Не любим и не ждем весны.
С полуопущенными веждами
И безразличием лица
Не оживим в себе надеждами
Непостоянные сердца.
О, если бы навеки молодо
И постоянно, навсегда,
Мы отогнали б ужас холода,
Мы растопили б царство льда!
Живите рядом с отживающим,
Дышите воздухом могил,
Не расставайтесь с умирающим,
Который был когда-то мил.
Храните верно мир оконченный,
Лелейте поздние цветы.
Их запах нежный и утонченный –
Наследье ранней красоты.
Дружите с ангелами падшими –
В них живы песни райских дней,
Любуйтесь лицами увядшими,
Их красота еще видней.
Любуйтесь древними иконами,
Их лики – тайна и любовь,
Что с неразгаданными стонами
Встает и воскресает вновь.
3 марта 1922

* * *

Я больше не могу, мне очень тяжело,
Неровно мы наш подвиг поделили.
Могу тебе сказать: «О, друг мой: или – или!»,
Но наше будущее хрупко, как стекло.

Слова последние останутся за мною,
Мне не страшна грядущей дали мгла.
Но миг сегодняшний, жалею, не могла
Сказаться ни усталой, ни больною,
Чтоб вновь в бессвязных мыслях отойти
От будней призрачных, таких уже неблизких,
И видеть зной в луны и солнца дисках,
Что льется мне на сонные пути.
В пещере маленькой, где праздничные ясли,
Не сковывают и не тают льды,
Идем по кругу медленной звезды,
Пока мы оба к жизни не погасли!
13 марта 1922

* * *

Как мало слов и вместе с тем как много,
Как тяжела и радостна тоска...
Прожить и высохнуть и с легкостью листка
Поблекшего скользнуть на пыльную дорогу.
Как мало слов, чтоб передать точнее
Оттенки тонкие, движенье и покой,
Иль вечер описать, хотя бы вот такой:
В молчании, когда окно синеет,
Мятущаяся тишь любимых мною комнат,
А мерный звук – стекает с крыш вода...
Те счастье мне вернули навсегда,
Что обо мне не молятся, но помнят.
13 марта 1922

* * *

Сегодня шел такой пушистый снег,
Как иногда в июльский полдень снится...
Сегодня я подрезала ресницы...
Когда поляну солнца пересек

Полет ворон, раздался оклик резкий,
Ворвался вдруг в открытое окно...
И крылья птиц любить мне суждено
Из-за надувшейся, как парус, занавески.
Как мало видела я непохожих лиц,
Несходство все нарочно прикрывали...
Глаза людей – старинные эмали
Под крыльями трепещущих ресниц.
Сегодня оттепель, и, падая, снег таял...
Стояли черными деревья и кусты.
Дрожали мысли бледны и пусты,
И, каркая, неслась воронья стая.
Позволь стоять в окошке и мечтать
О жизни радостной, сокрытой в глупых птицах,
Забыть о неподрезанных ресницах
И воздух мартовский медлительно вдыхать.
Март 1922

* * *

Ты прав...
Я иногда пишу над печкой яркой
Тобой или другим навеянные строки,
А вечер тянется, прекрасно-одинокий...
Не ожидая от судьбы подарка,
Ношу в себе приливы и отливы –
Горю и гасну там, на дне глубоком.
Встречаю жадным и смущенным оком
Твой взгляд доверчивый и радостно-пытливый.
И, если снова молодым испугом
Я кончу лёт на черном дне колодца,
Пусть сердце темное, открытое забьется
Тобой, любимым, но далеким другом.
Март 1922

* * *

Сегодня я ждала особенно тревожно,
Глядела за окно на наш широкий двор.
Там новый, чистый снег блистательный ковер
Постлал, красивый красотой неложной...
Казалось мне, что ты недалеко идешь,
Ускорив шаг при приближеньи к дому.
Гашу в себе знакомую истому,
Бужу в себе обыденную ложь...
Узнаю вечера еще, еще длиннее,
Еще тревожнее живую тишину...
Уже пора готовиться ко сну,
Одним и тем же ровно пламенея.
Март 1922

* * *

Я не люблю луны, я не люблю симфоний,
Ни запаха цветов, пьянящих и больных...
Вся жизнь моя полна волнений, но иных,
Вся жизнь моя слита в одном, о солнце, стоне.
В моей душе ты солнце уничтожь,
Ты, заронивший новую тревогу!
Еще властна не верить, слава Богу,
В прозрачных рук ласкающую дрожь.
Март 1922

* * *

Я потеряла мой опал
В тот день, мне памятный. Отныне
Его сменила бирюза.
Я шла домой, был вечер ал.
(А вспомню только – мысль застынет,
И остановятся глаза,)
Снега из дали голубели,
Навстречу медленно текли
Неосвещенные дома.
[Март] 1922

* * *

Опять со мной рассудочная ясность,
Смятенья прежнего и боли зрелый плод,
Как огонек светящихся болот,
Мне издали была видна опасность...
«Счастливая, спокойная жена,
Ей ничего давно уже не нужно,
В ее прекрасной выдержке наружной
Поверхность ровная души отражена».
Но там, на дне, безумья и смущенья
Медлительное подымалось пламя...
Недрогнувшими отняла руками
Обещанное каждому прощенье.
И если бы опять мне встретить то же.
Я повторила бы сначала, слово в слово,
От слова первого до слов тоски грозовой,
Чего и ты в себе не уничтожил...
Но все пройдет, твои умрут волненья,
Иные женщины тебя пробудят к жизни.
В ней брошенной тобою укоризне
Мое глубокое и страстное паденье.
Апрель 1922

* * *

Когда последний час дневной
Сольется с сумраком ночным,
О, ты, который мной любим,
Приди ко мне, молчать со мной...
2 июня 1922, СПб.

* * *

Только я и могла бы понять твое горе,
Твое грустное время наполнить собою,
Быть царицей и вместе последней рабою,
С постоянством и жизнью в медлительном взоре.
Ты не понял прихода, не поймешь и ухода,
Я в твое бытие не влетела кометой,
Не блеснула струей небывалого света,
Не исчезла в просторах небесного свода...
10 июня 1922

* * *

Задача новая стоит передо мной:
Внимательною стать и вместе осторожной
И взвешивать, чего нельзя, что можно...
Мне сделаться и зоркой и земной.
Меня манят красивых мыслей дали,
Мои фантазии крылаты и ясны,
Я вижу наяву сверкающие сны,
Мои мечты еще не увядали...
Но долг зовет отбросить пелену
Незримых радостей и стать, как все... Я стану.
Лишь залечив нечаянную рану,
Мной нанесенную, опять уйду, усну.
И в чистых радостях моих скитаний – тайна
Моей усталости и боли здесь, внизу...
Я, словно дерево, предчувствую грозу;
Ничто, я познаю, не может быть случайно.
11 июня 1922

* * *

Ни муж, ни мать, ни ты, подруга
Единственная ранних дней,
Не помогли расстаться мне
С печатью огненного круга...
Я говорю: как вы близки,
Но каждый немотой окован.
И заколдованное слово –
Тоска, стучащая в виски...
Июнь 1922

Не нужны эти символы и цепи –
Одно молчание... И пламенная твердь...
О сладкая, о радостная смерть!
Неслыханных твоих великолепий,
Торжественных твоих колоколов
В немую даль сквозь вечер уплыванье,
Бессилье сердца и бессилье слов –
И лишь твое гремящее названье!..
Пройди по миру огненной стопой...
Вернись и будь в моей немой отчизне,
Чтоб каждый видел, что прозрел слепой,
Чтоб каждый знал, как Бог вернулся к жизни.
Июнь 1922

* * *

Слова, бесплодные слова...
Как мне сдержать поток горячий?
Смеется друг, подруга плачет
И в радость верует едва.
А радость есть – она для каждой
Чуть-чуть проснувшейся души.
Благодеянье доверши,
Ты, подаривший вечной жаждой!
Июнь 1922

* * *

Целый год я смотрела на бедную землю,
Целовала земные уста.
Отчего же внутри неизменно чиста
И словам откровений так радостно внемлю?
Оттого ли, что боль я носила в груди,
Или душу мою охраняли святые?
Только кажется вот – облака золотые
Принесут небывалые прежде дожди.
Июнь 1922

* * *

Уже светало в этот час,
Уже огонь я погасила.
Но сном забыться нету силы
И не закрыть мне было глаз...
Опять луна над черной крышей,
Опять далекие гудки...
Сон, лучший сон ему сотки,
Я слышу, как он ровно дышит.
А год назад в слезах и горе
Изнемогала и ждала,
Что не поймут причины зла,
Что все узнают о позоре.
Теперь спокойна. Знаю верно
(Творца за это славословь!),
Я пронесла его любовь
Сквозь искушенья суеверно
Падений и полетов ряд.
И в очищающее пламя
Страданий, этими руками
Бросаю грезы... Пусть горят!
Я далека от прошлых слез,
Я тысячами глаз проплачу.
О, не последнюю задачу
Мне Всепрощающий принес.
Июнь 1922

* * *

Как много встреч за краткий год!
Ужель и далее так будет?
Стремительный во тьму полет
Живит сердца и ширит груди.
Впервые чувствую весну –
Весь мир, особенно зеленый,
И с книгой, кажется, усну
В тени развесистого клена.
И не казался раньше сад
Таким таинственно спокойным,
И время не зовет назад
К воспоминаниям нестройным...
Жужжит «вуазен»* над головой,
И я не жду последней встречи...
Ласкает ветерок живой
Мои медлительные плечи...
Июнь 1922

* * *

Мне-то что! Мне не больно, не страшно –
Я недолго жила на земле.
Для меня, словно год, день вчерашний –
Угольком в сероватой золе.
А другим каково, бесприютным,
Одиноким, потерянным, да!
Не прельщусь театрально-лоскутным,
Эфемерным, пустым, никогда.
Что мне тяжесть? Холодные цепи.
Я несу их с трудом, чуть дыша,
Но оков, что стократ нелепей,
Хоть и легче, не примет душа...

---

* Вуазен – биплан, названный по фамилии французского авиаконструктора Г. Вуазена (1880–1973).

За других, за таких же незрячих,
Помолилась бы – слов не найти...
И в стремленьях навеки горячих
Подошла бы к началу пути.
Июнь 1922

* * *

На подушке длинные тени –
Задрожало пламя свечи,
И неведомых мне растений
Очертания горячи.
Извивается, словно пламя
В черных тучах, янтарный крест,
Я не смею тронуть руками
Отражения синих звезд.
В поле воет ветер. Не волк ли?..
Под крыльцом возня зайчат...
Близи медленно, глухо смолкли,
Дали гулко, протяжно звучат.
Ах, зачем ты меня оставил
Для зверей и для звезд чужих,
А не предал короткой славе,
Не дал быть в небесах твоих?
Я не буду ни звать, ни мучить,
Ни отказывать, ни обещать...
Посмотрю: из осенней тучи –
Верно метящая праща –
Звезды падают с неба. Плачет
Звонкий дождь, но не плачу я.
Да и может ли быть иначе,
Если жизнь, как одна струя?
10 июля 1922

* * *

Ты счастлив: твой законен мир,
И жизнь течет в спокойном русле,
А я – на землю оглянусь ли,
Иль встречусь с новыми людьми?
Всё – огорченье, всё – тревога,
Сквозь терния далекий путь,
И негде, негде отдохнуть,
И не с кем, не с кем вспомнить Бога...
17 июля 1922

* * *

Побудь же около меня,
Самолюбивый и нечуткий,
Посмейся злой, холодной шутке,
Погрейся около огня.
Но не касайся этих рук,
Не поцелуй, неосторожный.
О, бойся! Птицею тревожной
Взовьется темный мой испуг.
Горячими схвачу руками,
Прижму к восторженной груди...
Будь осторожен, не буди
Спокойно дремлющее пламя...
Взгляни, как облако простер
Стремительный веселый ветер,
А здесь... сладчайшее на свете
Дыханье гасит мой костер.
17 июля 1922

* * *

Чистота предвечерней грусти
Пронизала собою мир.
Близки мы к широкому устью.

О простор, и меня прими!
(А на прошлое оглянусь ли,
И посмеешь ли ты взглянуть?)
На мелеющем этом русле
Многих капель осела муть.
Мы уже не прозрачны тоже,
И стремимся в общий поток,
Что меня в тебе уничтожит,
И тебя обратит в ничто.
Безотрадное нам жилище
О, мой друг, покинем вдвоем,
Так друг друга легче отыщем
И прозрачность себе вернем.
Июль 1922

* * *

Я вижу из окна: полуночный прохожий
Остановился, чтобы закурить.
А чей-то звонкий шаг мучительно-похожий
Ещё звучит ритмически внутри...
Гляди, гляди, как ветер гонит тучи –
Твой огонёк поднялся, задрожал...
Припомнилась зима и наш очаг трескучий,
И пламя дымное упругих тонких жал.
Припомнилась зима с её спокойной дрёмой,
С жужжаньем ласковых моих весёлых пчёл...
Мне некому сказать, что мужа нету дома,
Что я боюсь одна, чтоб кто-нибудь пришёл.
18 июля 1922

* * *

Небывший день за тучами погас,
И складывает вечер покрывало.
Как память прошлого, тревожная подчас,
Меня ласкает с нежностью усталой...

Когда тобою принесенных роз
Сомну в руке шуршащие остатки,
Мне кажется, травою сад зарос
И вместо роз – шиповник душно-сладкий.
Я не зажгу оранжевой свечи,
Останусь так, в полуночи лиловой...
Не стану ждать... О прошлом помолчи...
Утрачено магическое слово.
28 июля – 10 августа 1922

* * *

Глядеть за черную черту
На отражения в воде
И видеть – сумерки растут.
В поля вечерние глядеть
Сквозь пламя матовой зари,
Погасшей трепетно и скоро.
[Август] 1922

* * *

Как мало нужно впечатлений,
Чтоб столько строчек написать...
Моей неодолимой лени
Дремучие манят леса.
Но я пойду прямой дорогой,
Глядя в ночные облака,
И мыслью пламенной и строгой
От жизни буду далека.
И, собирая капли сока,
Питающего чудеса,
Уйду стремительно-высоко
На ангельские голоса.
6 сентября 1922

* * *

Никуда не спрячешь души́,
Прорывающейся наружу.
Если спящий уже разбужен,
Ты огня в ночи не туши.
Собери его кротко в путь,
Дай ему котомку и посох
И в ответ на его вопросы
Раздвигай перед ним толпу.
Без даты

* * *

<...>
По жилам медленный струится «красный сок»,
Подумать только, кровь отважных мореходов!
Меж мной и ними вплел зачем-то рок
Цветы безвестные исчезнувших народов.
Перед концом Земли в медлительном слияньи
Растают чуждые – и Запад и Восток.
Пока еще живут в расцветах, в увяданьи
Предчувствуя неотклонимый срок.
Немного Севера – любовь к ветрам и морю,
Немного Юга – жизни медлить надо.
Я песне каждого, как песне сердца вторю,
И каждому дыханью предков рада.
. . . .
Проклятье ли мое – сознание единства рас
И ощущение возможности падений,
Зачатки всех страстей, пороков; не погас
Огонь священный искренних молений.
Все добродетели, все радости, насквозь
Пропитанною стать огнем желаний,
Чтоб в душу древнюю внезапно пролилось
Безумье светлое для новых трепетаний.
[1921]

* * *

За окном качается поле,
В фонаре извивается пламя...
А на сердце – тяжелый камень,
Он смеяться меня неволит.
Гул колес, что морские всплески.
Слышу дальнее, страшное море,
А за стенкою – кашель детский
Мне мешает заснуть, – упорен.
Остановка в поле. Зачем она?
Обещал машинист кому-то?..
Пять минут. Паровоза-демона
Грудь живая прорежет тьму...
За окном качается поле...
6 сентября 1922

* * *

С каждым вечером чернее осень
Далеко и властно завлекло.
Все глядеть бы сквозь одно стекло,
Об одном бы мучиться вопросе:
Перейти ли огненную грань?
Как не быть поэтом увяданья?
На одной остановилась грани:
Завтра, нынче, нынче и вчера.
7 сентября 1922

* * *

Ты упрекаешь в слабости меня.
Не требуй ничего от женщины влюбленной.
Над бедной головой, от тяжести склоненной,
Проходят медленные измененья дня.
Ты говоришь, что воля – наш удел...
Что воля к радости, когда нет воли к жизни!..

В одной незыблемой застыли укоризне
Цветы пурпурные в опаловой воде.
Ты говоришь, что черная стена
Воображеньем создана зловещим...
Мне по лицу соленый ветер хлещет,
И только для меня не призрачна она.
Я никого сюда позвать не смею,
Не выйти из ненайденных ворот...
Одной влюбленности желанный гнет
И здесь, и там победно пламенеет.
25 сентября 1922

* * *

Какой счастливый сегодня вечер,
Как неподвижно сгорают свечи,
И даль за окнами синя...
Когда б Господь позвал меня,
Я б не замедлила приходом...
Исчезнет миг за долгим годом,
Но в памяти Его слова,
Их я могу в себя впивать.
Какой прозрачный сегодня вечер.
Дай, Боже, радость всему на свете
И память ясную о том
Блаженном миге и святом.
Дай, Боже, каждому созданью слово,
Чтоб не желал потом иного
И помнил этот краткий миг...
Да будет свет между людьми!
27 сентября 1922

* * *

Какие чудеса бывали на земле,
Какие радости возможны в мире этом!
Их познавать и воспевать поэтам
Господь, дающий зрение, велел.
И никогда цветами новых песен
И новых радостей не переполню сердца.
За веру малую прощаю иноверца,
Мне каждый день по-новому чудесен.
27 сентября 1922

* * *

Тебя, последняя, лелею и пою,
Возлюбленная смерть, сознательное счастье,
Когда сольется мир, разделенный на части
И призывающий к иному бытию,
Когда в такую тишь, гудящую стозвонно,
И глубь безмерную, которой видно дно,
Открою тесное, тяжелое окно,
Я снова сделаюсь и мудрой, и влюбленной.
О, смерть далекая! Зову тебя и жду,
Не смею прошептать: «Ах, отчего так медлишь?»
В моем окне – заржавленные петли –
Стекло неровное раздвоило звезду.
Как птицей маленькой взовьюсь в твои чертоги,
Как окрылится выросшее «я»,
Там будет прошлого Великий Судия,
За все карающий и все-таки не строгий.
И ты, прекрасная, возьмешь мою тоску
И легкость новую мне дашь за эти муки,
Твои незримые ласкающие руки
Меня стремительно и властно повлекут.
Там, в этом мире яркого покоя,
Останутся свершенные дела,
Чтоб память жизнями прошедшими цвела
И чтоб душа провидела иное.
27 сентября 1922

* * *

Последние еще не родились,
Они во мне, их частый пульс трепещет...
Как я люблю неназванные вещи,
Которых смысл во времени повис.
Те новые слова, прочтенные недавно,
Что древней свежести и святости полны,
Такие жданные в полуденные сны,
Поющие еще светло и неотравно.
Их неожиданная ранит красота,
Наполовину выдумана легкость,
Их слушая, жизнь расцепляет когти,
И позволяет мысли улетать.
О как бы мне не отравить тебе вчерашних
Изжитых слов тоскою голубиной!..
Пойду взглянуть на яркие рябины,
И легкий пар на черных теплых пашнях.
7 октября 1922

* * *

Ну, помолчим минуту до прощанья,
Присядем, чинные, на кончике дивана.
Нехорошо прощаться слишком рано,
И длить не надо этого молчанья.
Так будет в памяти разлука горячей,
Так будет трепетней нескорое свиданье,
Так не прерву посланьем ожиданья.
Не приходи, разлюблен, ты – ничей.
Так сохраню засохшие цветы,
Что ты, смеясь, мне положил за платье,
И руки сохранят желанными объятья,
И взоры дальние останутся чисты.
7 ноября 1922

* * *

В розовом шелке утренних зорь
Нежные звезды снежинок медлительны.
Ветер, молчи и, уже немучительный,
Песням рассвета торжественно вторь.
Пой о прозрачности неба безлунного,
О неподвижности меркнущих звезд,
Света воспой восхитительный рост
В безднах эфира вечного, юного.
Вторь голосам снегирей красногрудых,
Шелесту веток под снегом летящим.
Утрами нежными чаще и чаще
Верю в летящее издали чудо...
Снег перестал, и последние тучи
Небо открыли, такое безбрежное,
Нужностью мудрою, Божьею, нежною,
Память которой не мучит.
7 ноября 1922

* * *

Такие крупные звезды в небе,
Такие прозрачные капель струи!
Мне кажется, жду я весну вторую,
Лишь слышу их звонкий хрустальный лепет.
И в ветках кружатся стаями птицы.
Грачи прилетели? Нет, это вороны...
И снова кажусь молодой и влюбленной
Оттого, что былое теперь не снится.
О, как сохранить мне мудрость покоя,
Такую прозрачность ноябрьского свода,
Чтоб дальняя мне не приснилась свобода,
Чтоб счастьем чужим не считать прожитое?
8 ноября 1922

* * *

Не хочу, чтобы меня утешали:
Я не брошенная, не вдова.
И обиженною называть
Не посмеете, как вначале.
Я – разумнейшая из невест –
Сохранила свободу птичью,
Но подкравшемуся безразличью
Отягчить мой судил крест.
Только времени проходить,
Только памяти засыпать,
Звездных братьев моих толпа
Вся вместилась в моей груди.
Этот ужас пустыни пусть
Обожженная жмет ладонь –
Этой боли моей не тронь,
Как мою священную грусть.
8 ноября 1922

* * *

Когда ты пишешь, склонясь прилежно,
И отблеск лампы на тонких пальцах,
Я думаю: «О, если бы в пяльцах
Узор мне вышить, простой и нежный...
Простой и строгий, как жизнь поэта,
Такой же точный, как мысль скитальцев,
Скитальцев мудрых...» Точеных пальцев
Не смеешь вынуть из круга света...
Когда ты клонишь лицо над белой,
Еще нетронутой бумагой,
Зажгусь торжественной отвагой
Оруженосца, мой рыцарь смелый.
Тебе пошлю я мысль привета.
(Умрут в душе глухие стоны.)
Держи мой мир в руке точеной,
В кругу негреющего света...
1922

* * *

Мне жаль, пришел конец зимы
С ее медлительными вечерами...
Лёт белых эльфов в яркой черной раме
Под желтый свет из лиловатой тьмы.
. . . .
Читайте объявление: внаймы
Сдается дача в Павловске, у парка.
Картина мне представилась так ярко,
Что вот жалею о конце зимы.
Но только в Павловск – ни за что на свете!
Так полны прошлого мосты, дорожки эти
Встают из памяти запорошенной тьмы.
Поэтому пребудем же немы,
Следя ликующего света нарастанье,
Целуя нежные снежинки на прощанье,
Расцветшие у бледных уст Зимы.

* * *

Люблю, оторвавши глаза от книги,
Увидеть, что за окнами уже поголубело,
И тень абажура изящнейший выгиб
Чертит на скатерти ярко-белой.
Мне так хорошо, так удивительно спокойно,
И верится в будущее, как ребенку.
Вот увидите – стану живой и стройной,
Снова буду искрящейся и тонкой.
Вспоминаю, что только что пробило восемь,
Надо подбросить в огонь полено.
И так радостно видеть, что в комнате просинь
Очаровательного земного плена.
10 марта 1923

* * *

Я жду тебя, как солнечного мая,
Я вижу о тебе мучительные сны,
Не замечаю медленной весны,
К губам цветы разлуки прижимая.
И все-таки могу еще уйти,
Как раненая упорхнуть голубка,
А ты не выплеснешь недопитого кубка,
Не остановишься в стремительном пути.
«Источник благодати не иссяк», –
Сказал монах, перелистнувши требник...
Служитель церкви для меня – волшебник,
А ты – почти разоблаченный маг.
И боль, что далеко не изжита,
Я претворю в безумье. Сила
Растет... Я дух не угасила,
Но я изверилась и вот почти пуста.
27 марта 1923

* * *

В мое окно влетел весенний ветер,
Душистый ветер, влажный и морской.
А странно мне, что есть еще на свете
Благоуханный своевольный ветер,
Не потревоженный ни болью, ни тоской.
В земле ростки
Моей тоски
И горечь-боль.
Откройте двери.
Я в силах верить,
Что нет неволь.
16 апреля 1923

* * *

Как серая бабочка, маленький страх
На голубом окошке трепещет...
Всё ясней становятся вещи
В медленных вздохах утра.
Совершенно беззвучный голос затих,
Можно еще рассеянно слушать,
Как в тела возвращаются души,
Вздрагивая по пути.
25 апреля 1923

* * *

Отдаюсь опять бездорожью,
Вот беру котомку и посох,
Чтоб ответа на все вопросы
Не затмить сияющей ложью.
И вдыхаю прозрачный воздух,
Легкий воздух, темный и чистый,
Надо мной только свод ветвистый,
Подо мной голубые звезды.
25 апреля 1923

* * *

Снова на крышах снег.
Холод проник опять,
Если б увидеть тебя
Хоть во сне.
Буду молчать. И ждать
Белой первой зари,
Скован бредовый крик
Слоем льда...
Вырос ужас во мне,
Первый ужас земной...
. . . .
Каждому суждено
Видеть снег.
25 апреля 1923

* * *

Даже солнце меня не согреет,
Вот уж сердце почти не бьется,
Я упала... и дно колодца
Углубляется все быстрее.
Замыкаясь за мной, запястье
Наверху сужается плавно...
А возможны были недавно
Для меня и покой и счастье.
25 апреля 1923

* * *

...И будут утра свежие пьяны,
Неповторяемым и дивным опьяненьем,
А в эти дни да будут свершены
Земные празднества, наполненные пеньем.
И улетит весенняя печаль
В страну ночей струящегося мрака,
И лето нежное насыплет на плеча
Крупинки черные оранжевого мака.
И станут чудеса понятными толпе,
И множество слепых прозреет разом –
Мне не молчать – я не могу не петь,
Молчит один мой осторожный разум.
27 апреля 1923

* * *

За слезы многие меня накажет Бог;
Я столько трачу сил на темное горенье,
Что каждый страждущий меня б отметить мог
Печатью холодности и презренья.
Все боли, сжегшие меня, ничтожны и мелки,
Но малый мир я не могу разрушить.
И голоса звучат все реже и все глуше
В просветы алые безвыходной тоски.
27 апреля 1923

* * *

Я не стану тебя упрекать,
Я сама виновата во всем,
Только в сердце такая тоска,
И не мил мне мой светлый дом.
Я не знаю, как, почему
Я убила любовь твою.
Я стою на пороге в тьму,
Где просила себе приют.
Как никто не помог мне жить,
Не помогут мне и уйти.
Я скитаюсь от лжи до лжи
По неведомому пути.
Я не знаю, чего искать,
Я убила любовь твою.
И во мне такая тоска.
И такие птицы поют.
27 апреля 1923

* * *

Солнце, прости мою боль!
Выжги взглядом страданья рабыни,
(Каждый сам себе жребий свободно вынет,
Отчего же мне быть рабой?
Я свободу свою отдам,
Только выберу и подожду,
Ведь теперь меня не сожгут,
Прикосновенья льда.)
Солнце, согрей мою грудь!
Усыпи мою боль, усыпи!
Чтобы больше огня мне не пить,
Чтобы верить в свою игру.
27 апреля 1923

* * *

Мне не понятен этот мир.
Меня терзает болью острой,
Когда встречаюсь я с людьми,
Порок многообразий пестрый.
Я говорю: мой ключ иссяк,
Но думаю чуть-чуть иначе,
И все же не стыжусь, прося
Мне объяснить, что это значит.
И, узнавая по частям,
Их в целое связать не в силах,
Но, кажется, я все отдам,
Чтоб жизнь быстрей носилась в жилах,
Чтоб жизнь изгнала полусмерть
К другим, медлительным и праздным.
И я, бродящая во тьме,
Прелестным отдалась соблазнам.
27 апреля 1923

* * *

Как больно прошлое, как будущее страшно,
Как плевелы пустили в сердце корни!
С годами не становишься покорней,
Не привыкаешь к пустоте всегдашней...
О, дети малые, сердец не отдавайте,
Живите разумом и бойтесь верить в счастье.
Когда вся жизнь разломана на части,
Мечтается так жадно о закате...
Хоть сон медлительный, хоть опиум забвенья,
Хоть на недолго темноту – на память,
Чтоб обновилось жизненное пламя,
Чтоб ждать еще мгновенья и мгновенья.
Как больно все, к чему ни прикоснешься!
Один и тот же выдуманный отдых –
На дне колодца неподвижны воды...
И снова в ужасе едва проснешься.
27 апреля 1923

* * *

Как трудно примириться с дольним игом,
Едва понятны мне царящие законы,
Законы стройные во мне подъемлют стоны,
Как будто отдана я тягостным веригам.
Еще не сочтены полеты и паденья,
Пути единого, ведущего за цели,
Но духом от земли высоко залетели
И нам немыслимо на землю возвращенье.
И не устану я обманываться снова,
Плодами своего воображенья,
И дальней мудростью закреплены основы.
27 апреля 1923

* * *

Я как мистерию воспринимала мир,
Любя людей, я радовалась с ними,
Но мне приснилось солнечное имя,
И вот – стена меж мною и людьми.
Но имя то соединять звучит,
А не преграды строить в мире этом.
Оно горит тысячецветным светом,
И ослепительно ярки его лучи.
И так меня не перестанет звать,
То удаляясь, то являясь ближе,
Пока насквозь собою не пронижет,
И им одним останусь я жива.
9 мая 1923

* * *

Пахнет землей, теплой и влажной.
Сизый туман и тысячи птиц.
Ветер, дыханьем весны долети
С болью последней, живой и протяжной.

В черной земле обещают ростки:
С сизым туманом станет тепло,
Если б и мне – путы долой,
Черные ковы страстной тоски.
Вот я зову в странную даль,
Я обещаю дивную новь,
Мне ль обратить эту кровь в вино,
Не сказавшей еще «навсегда»?
9 мая 1923

* * *

Люблю прекрасное, возможное неполно;
Былое тягостно, и будущего нет.
Лишь голоса предчувствия во мне
Подъемлют нарастающие волны.
И пена белая, взлетая на гребнях,
Сползает по узорам нежных кружев.
Лелею я мечту, всегда одну и ту же,
В ночи бескрылой и в полете дня.
11 мая 1923

* * *

Любовь и боль – одно и то же:
Они совсем во мне слились,
В одно, в одно – и даль, и близь.
Кто все преграды уничтожил?
Зову немеркнущую боль
Неумирающей любовью,
И ты легко поводишь бровью,
Назвавши раз меня рабой.
11 мая 1923

* * *

Я люблю тебя, дальний и темный,
Хоть не в силах завоевать,
И давно только этим жива,
Не понявшая мир твой огромный.
И люблю тебя... ни за что –
Ты – созданье фантазии дикой,
Ты – прекрасный и многоликий,
Ты – кощунственный и святой.
Я и знать не хочу, кто ты.
И, любя душой, а не кровью,
Я не стану весенней новью,
Не ступлю за черту мечты.
Не щади меня, не щади:
Я не стою еще пощад,
Я – натянутая праща,
Цель – невидимая впереди.
11 мая 1923

* * *

Маленький белый дом,
Голубоватые ели у входа
Те же, но с прошлого года
Их узнаю с трудом...
Как до конца дойти?
И когда он, этот конец,
Если спрятано все на дне
Иль незримо вверху летит?
И ни ели, ни белый дом,
Ни моя земная печаль
Не коснутся тени луча,
Не скуются последним льдом...
Или, может быть, угадать,
Лишь проснувшись, можно, скажи?
От придуманной миром лжи,
От сковавшего время льда...

Маленький белый дом,
Голубоватые ели у входа...
Может быть, скажет природа,
Что делать с нетающим льдом?
11 мая 1923

* * *

За солнцем желто-дымным, на краю
Хрустальных рощ, за матовым прудом,
Неотраженный ярко-белый дом.
Такой же вспомнила, как был в моем раю.
Под сводом сине-шелковым его
Бежит прозрачно-блещущий фонтан,
В бассейн стекая, чтоб целить от ран
Водой, всегда прозрачной и живой.
Когда за город солнце уползет,
И будет мир смятением объят,
Довольно будет малого огня,
Чтоб озарить неведенье мое...
Кричите о конце, конце земли,
Вы не напрасно будете кричать,
По капле ледяной того ключа
Довольно, чтобы жажду утолить.
15 мая 1923

* * *

Научи меня слезы не лить,
Научи меня горя не знать.
Вот опять я с собой одна
На груди весенней земли.
Если разом все потерять,
Можно выплеснуть всю печаль,
Но опять отымет заря
От того родного плеча...

Но когда утекает прочь
Тонкой струйкой, сверлящей слух,
Не заметит мой взор пчелу,
Не зажгусь никакой игрой.
16 мая 1923

* * *

Весь мир участвовал в том обмане,
Мне громко хочется об этом кричать:
Бесчестно ладью рыбака в тумане
Заманивать в бездну игрой луча;
Бесчестно девушку уверить в счастье,
Которого не было на свете и нет,
И сердце детей, разбивая на части,
Сжигать их на медленном огне.
17 мая 1923

* * *

Немного солнца и немного меда*,
Густые запахи, кружащие голову, –
Вот ранний парник пестрого года,
Года отчаянного и веселого.
Я буду думать о весенней смерти
На террасе в кресле, обложенном подушками,
И о том, что и я смогу участвовать в концерте
С комарами пронзительными и лягушками.
Все, что прошло, от слез и до объятий,
Будет вместе страничкой детского кошмара,
И с последней улыбкой на малиновом закате
Моя жизнь взовьется струйкой белого пара.
18 мая 1923

* Ср. со строкой: «Немного солнца и немного меда...» – из стихотворения О. Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней...»

* * *

Те же слова, что и годы назад,
Они для меня свежи и не вянут,
Только, взглянувши себе в глаза,
Я теперь до дна не достану.
Только, опомнившись на лету,
В лёте стремительном и безумном
Вдруг удивлюсь, как души растут –
Полно, таинственно и бесшумно.
И станет не жалко кровавых лет,
Пропевших в сердце алую рану.
Все те же слова, как угли в золе,
Они не угасли, они не вянут.
19 мая 1923

* * *

Снова медленно в жилах поет
Благодатное счастье твое...
Не забудется пламень такой
И дарованный ныне покой...
1923

* * *

Точно солнце упало на полосы
Полевых цветов придорожных.
Не хочу того, что возможно, –
Спрячь мои рыжеватые волосы!
Спрячь от солнца, а то они выгорят!
Вот я белый платочек вынула...
За окном широко раскинулась
Декорация «Князя Игоря».

* * *

По зеленой лужайке
Разбрелись все овечки,
Нарисованы чайки
На фаянсовой печке.
Вся лесная опушка
Серебрится росою...
Молодая пастушка
С распластанной косою...
Взгляд божественно-строгий.
И плеча загорели.
Слушай: там на дороге
Плачет голос свирели.
Повторяемый эхом,
Плачет нежною трелью,
Торжествующим смехом
Верно вторит веселью.
А? Тебе непонятно?
Не зовет тебя танец?
Отчего же, как пятна,
Выступает румянец?
Ну! За беглой козою!
Ведь никто не услышит.
Под густою лозою
Черепичные крыши.
Обвита виноградом
И оконная рама,
Там, с внимательным взглядом
Твоя старая мама.
Но безвольны и кротки,
Разбрелись все овечки.
Контур парусной лодки
На фаянсовой печке...

* * *

Когда оранжевое солнце там висит,
Так медленно переплывая небо,
Аэроплан, как колесница Феба,
К туманам прикасается шасси.
. . . .

* * *

Будет в звездном полусне
Звонкий голос петь о дали.
Вечерами не звезда ли
Зажигается в окне?
Розовые облака вспыхивают от зарниц.
Некому меня ласкать
Темным золотом ресниц
Просто выплеснуть печаль...
Много звезд в ночном пути, –
От любимого плеча
Оторваться и уйти...

* * *

Полудня зимнего янтарные лучи,
Как трав степных дрожащие волокна,
В обмерзшие тянулись окна,
И в синей тени вдруг поблекла
Вся жизнь, глядящая в опаловые стекла.
Как взгляды медленны и руки горячи!..
О, если б таяли, как грусть немого взгляда,
Огни последние угаснувших углей,
Чтоб в памяти возник туман аллей,
Потопленных в шуршанье листопада.

* * *

Но если есть такой, увидеть полечу
Его во сне и буду помнить свято,
Как Божьею рукой ткань лепестков измята
И свет, какой дан лунному лучу.
Поклонник красоты, и влюбчивый, и пылкий,
Поставь подобие таких цветов в альков,
Гляди на линии склоненных стебельков
И тонких лепестков трепещущие жилки...
А мне пока их видеть суждено
За стеклами цветочных магазинов
Или в кафе, где стебелек резинов,
Но ярок, как старинное вино.
Не знала за собой к цветам подобной страсти,
И яркий сон оставил грустный след.
Когда мне будет девятнадцать лет,
Вы цикламенами мою весну украсьте.

* * *

До сих пор качается колокольчик:
Пять минут, как ушел прохожий...
В озаренной солнцем прихожей
Я стою недвижно и молча...
Ах, как будет мне хорошо сегодня –
Это был старичок суровый...
Он сказал мне доброе слово:
«Будь спокойна, раба Господня...»
1923

* * *

Пусть это будет лишь сегодня,
А там... пускай плывут века.
Ведь жизнь моя в руке Господней,
Ведь будет смерть моя легка.

Недаром сделал он поэтом
Меня, немую... Вот – пою...
И озаряет тихим светом
Задумчивую жизнь мою.
1924

* * *

При свете свеч, зажженных в честь мою,
Мне вспоминаются другие свечи,
Мои нагие, стынущие плечи
И на душе мерцанье снежных вьюг...
Но не о них сегодня я пою.
Пусть радостными будут наши встречи,
И наш свечами озаренный вечер
Напомнит знойный и счастливый юг!
<1932>

* * *

Я не сказала, что люблю,
И не подумала об этом,
Но вот каким-то теплым светом
Ты переполнил жизнь мою.
Опять могу писать стихи,
Не помня ни о чьих объятьях;
Заботиться о новых платьях
И покупать себе духи.
И вот, опять помолодев,
И лет пяток на время скинув,
Я с птичьей гордостью в воде
Свою оглядываю спину.
И с тусклой лживостью зеркал
Лицо как будто примирила.
Все оттого, что ты ласкал
Меня, нерадостный, но милый.
Май 1931

* * *

Ты очень далёк от поэзии,
В тебе всё – ритм и число.
Сгорела в калёном железе
Твоих рассудочных слов.
И вот – ничего не осталось –
Лишь слёзы хлынут из глаз –
Сентиментальная жалость,
Быть может, в тебе зажилась.
Но я ни о чём не жалею –
Ты не знал, что нельзя играть.
Ничего – от этого злее,
Чем всю жизнь, чем ещё вчера.
А на завтра такой холод –
Приблизились ледники.
Ко мне, недавно весёлой,
Прилетела птица тоски
И спугнули сожжённые перья
Моих ночных голубей...
Ты знаешь, теперь я не верю
Никому, а всех меньше – себе!
[1931]

* * *

При свете свеч, зажженных в честь мою,
Мне вспоминаются другие свечи,
Мои нагие, стынущие плечи
И на душе мерцанье снежных вьюг...
Но не о них сегодня я пою.
Пусть радостными будут наши встречи,
И наш свечами озаренный вечер
Напомнит знойный и счастливый юг!
20 января 1932

* * *

Деревья срублены, разрушены дома,
На улицах ковер травы зеленый...
Вот бедный городок, где стала я влюбленной,
Где я в себе изверилась сама.
Вот грустный город-сад, где много лет спустя
Еще увижусь я с тобой, неразлюбившим,
Собою поделюсь я с городом отжившим,
Здесь за руку ведя беспечное дитя.
И, может быть, за этим белым зданьем
Мы встретим призрачную девочку – меня,
Несущуюся по глухим камням
На никогда не бывшие свиданья.
<1932>

* * *

Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синеющие дали,
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполняюсь горестной печали.
Уже слепая к вечной красоте,
Я проклинаю выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Просящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир – мне страшная тюрьма,
За то, что я испепеленным сердцем,
Когда и как, не ведая, сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.
31 мая 1932

* * *

Вот скоро год, как я ревниво помню –
Не только строчками исписанных страниц,
Не только в близорукой дымке комнат –
При свете свеч – тяжелый взмах ресниц,
И долгий взгляд, когда почти с испугом,
Не отрываясь, медленно, в упор,
Ко мне лился тот непостижный взор –
Того, кого я называла другом.
<1932>

* * *

Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч,
За нежность ваших взоров,
За прелесть ваших уст и за проклятый город,
И розы постаревшего лица.
Теперь вы выпьете всю горечь слез моих,
В ночах бессонных медленно пролитых.
Вы прочитаете мой длинный, длинный свиток,
Вы передумаете каждый, каждый стих.
Но слишком тесен рай, в котором я живу,
Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.
Так с каждым днем сама себя перерастаю,
Я вижу чудеса во сне и наяву.
Но недоступно то, что я люблю сейчас, –
И лишь одно – соблазн – заснуть и не проснуться.
Все ясно и легко – сужу не горячась, –
Все ясно и легко – уйти, чтоб не вернуться.
<Октябрь> 1932

Александр Ласкин

Арсений Арсеньевич, сын Лютика
Вместо послесловия

Как поила чаем сына...
Я тяжкую память свою берегу...
О. Мандельштам

Миссия

Для большинства людей, участвовавших в подготовке этой книги, интерес к теме начался с посещения дома Арсения Арсеньевича Смольевского.

Квартира на петербургском Проспекте науки, в которой жил сын Ольги Ваксель-Лютика, была современная, в минималистском стиле хрущевской эпохи, но обстановка говорила о высоких потолках и залах с колоннами.

На серванте стояли большие бронзовые часы, на стенах висели старинные портреты. Во время жары каждая картина закрывалась небольшим занавесом, и в этом было что-что необычайно трогательное.

Что интерьеры! Удивительней всего был хозяин: несколько асимметричное лицо, тонкий голос, в патетические моменты забиравшийся необычайно высоко... Домашние тапочки и рубашка, заправленная в тренировочные штаны, не помешали бы назвать его князем.

Кстати, в какой-то другой ситуации такое обращение показалось бы естественным. Арсений Арсеньевич имел нешуточные права на этот титул: по прямой линии он принадлежал к роду Львовых, из которого вышли знаменитый архитектор и столь же прославленный композитор.

Впрочем, Смольевский прежде всего был не пра- и праправнуком, а сыном. В облике этого очень немолодого человека присутствовало что-то мальчишеское: так легко он переходил от радости к грусти, так живо вспыхивали огоньки в его глазах...

Сомнений быть не могло. Чудесным образом Арсений Арсеньевич оставался тем мальчиком, который быстро промелькнул в стихотворении О.Э. Мандельштама, посвященном его матери.

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Кажется, эти строчки вместили в себя не только настоящее, но и то будущее, когда на свете не будет ни их автора, ни Ольги Ваксель, а Смольевский в одиночку будет распутывать когда-то завязавшийся узел.

Вот именно – узел. Наверное, потому в этом четверостишии все сразу, едва ли не одновременно – и жест внимания к сыну, и неумелое саморазоблачительное лукавство. Будто два разнонаправленных движения: речь постоянно путается, а рука с ложкой ни разу не собьется со своего маршрута.

Только женщины умеют так. Спокойно выполнять свои домашние обязанности и в то же время удаляться от них неизмеримо далеко.

Да вот еще немного странное «как». Уже не намекал ли поэт на то, что тут присутствует что-то неизмеримо большее? Возможно даже, он сравнивал, при этом не называя то, что имел в виду.

История своей жизни и есть главное наследство, которое Ольга-Лютик оставила сыну вместе с толстой пачкой стихов и воспоминаний. Словно дала ему поручение: разбираться в непростых поворотах ее судьбы, заполнять лакуны и устранять недоговоренности.

Этим Смольевский и занимался многие годы: старался ничего не забыть, не упустить ни одной подробности... Арсений Арсеньевич жил прошлым и даже как бы в прошлом. Часто возникало ощущение, что он не вспоминает, а пересказывает то, что видит сейчас на мысленном экране.

Ему следовало не только хранить, но и защищать минувшее. Надо сказать, опасностей хватало, и он реагировал

на них незамедлительно. В такие минуты на его лице появлялось выражение обиды, и на память опять приходил тот мальчик, которого мать поила чаем.

Лютик не берегла, едва ли не транжирила свою жизнь, а ее сын сосредоточенно накапливал. Часами склонялся над документами, устанавливал связь явлений. «Эта фраза была произнесена с другой интонацией», – громко сердился он и успокаивался лишь тогда, когда убеждался, что прошлому ничто не угрожает.

Даже расположение вещей в квартире, где он жил с мамой и бабушкой, составляло особую заботу Арсения Арсеньевича. Предупреждая возможные фальсификации, он сделал несколько рисунков на темы интерьеров своего детства.

Вот как он относился к минувшему: внимательно следил за тем, чтобы вещи находились на своих местах, а фразы не растеряли своего смысла... Так режиссер давно поставленного спектакля пытается сохранить его в первоначальном виде.

Словом, наиболее важные для Смольевского события происходили в прошлом, а самым главным человеком этого прошлого была его мать.

Как уже говорилось, сын Ольги Ваксель дорожил каждой подробностью, но кое-чем он дорожил больше всего. О том дне, когда Ольга-Лютик покидала Ленинград, он рассказывал особенно подробно. Это были последние часы, проведенные ими вместе, и тут имело значение буквально все.

В любой ситуации Арсений Арсеньевич занимал сторону матери. С его точки зрения она была всегда права: даже тогда, когда оставила его, девятилетнего, на попечение бабушки, а сама с новым мужем уехала в Норвегию.

Зато к тем, кто вольно или невольно явился причиной ее огорчений, он был необычайно строг. Пусть это был его собственный отец – он ни за что не соглашался ничего ему прощать.

Прошлое надо было не только оградить от возможных покушений, но и понять. Это, пожалуй, было самое сложное. Больше всего его мучило: почему его мать, такая красивая и одаренная, решила уйти из жизни?

Так почему? Почему же?! Однажды Смольевский не сдержался и свою последнюю статью завершил сетованием: вряд ли когда-нибудь мы сможем что-то узнать.

Оставался еще один вариант. Кое-что из ее мемуаров он просто вычеркнул. Некоторые, особенно трудные, вопросы этим снимались: если об этом она не сказала сама, то этого вроде как не было вообще.

Сразу спросим: почему он разрешал себе то, что запрещал другим? Наверное, потому, что делал это для матери, а остальные – из-за собственных причин. Он был представителем прошлого, последним листиком на поредевшем генеалогическом древе, а у них не было никаких прав.

Арсений Арсеньевич редактор

Именно его образцовое отношение к прошлому запутало всех тех, кто взялся делать эту книгу. Казалось, уж Арсения Арсеньевича невозможно перепроверять. Это все равно, что поставить под сомнение его преданность матери.

Сколько раз у него дома я держал в руках оригинал воспоминаний и ни разу не подумал сравнить его с машинописью. Ну хотя бы присмотрелся повнимательней: нет ли тут следов красного карандаша?

Надо отдать должное Арсению Арсеньевичу. В его действиях не было импровизации и чувствуется подготовка. Практически невозможно увидеть швов.

Он не только сам оборонялся, но привлек к своему плану машинистку. Несколько раз мы с ней беседовали, но она не проговорилась о его вторжениях в текст.

Вроде все продумал, а одного не учел. Или, возможно, именно на это рассчитывал. Если он сохранил рукопись, то, значит, понимал, что тайное когда-нибудь станет явным.

Так что на настоящую конспирологию это не тянет. Можно даже увидеть в его решении инфантилизм. Так, наверное, поступал мальчик Асик, когда хотел что-то утаить от взрослых.

Правда, почти десять лет после смерти Арсения Арсеньевича секрет оставался нераскрытым. Сомнения стали появляться тогда, когда рукопись попала в Музей Анны Ахматовой. Первым встревожился Павел Нерлер, а вслед за ним Елена Чурилова и Ирина Иванова.

Я же продолжал верить. Так же, как верил ему всегда. Даже доказывал своим коллегам, что этого просто не может быть.

Теперь-то мне понятно, что верность – понятие длительное. По крайней мере, Арсений Арсеньевич не ограничивался пределами собственной жизни.

Уж насколько безгранично он был предан матери, но все же с чем-то не соглашался. Вступать в спор не осмеливался и просто закрывал на это глаза.

В общем-то, редактировать – и значит закрыть глаза. Ему следовало предположить, что есть только одна Лютик, а другой вроде как не существовало.

Больше всего он любил мать в те минуты, когда она тихо сидела на диване и что-то писала в тетрадку. Или входила перед сном к нему в комнату для того, чтобы погладить по голове. Совсем другая Ольга появлялась в компании с разными мужчинами. С ней у него давно были свои счеты.

Что объединяет сына, посвятившего себя ее рукописям, и ее последнего мужа, которому она диктовала эти тексты? Ответ может быть таким: степень проникновения в чужую жизнь.

Видимо, Христиану было сложнее всего. Ольга рассказывала ситуации, одна рискованнее другой, а он должен был не поднимать головы и не отрывать пера от бумаги.

Вистендаль демонстрировал замечательное терпение. Наверное, ему не раз хотелось взбунтоваться, сказать, что он не хочет иметь ничего общего с ее прошлым, но он выполнил свою роль до конца.

Смольевский тоже был как бы посредник. Человек, связывавший прошлое и будущее. Правда, как уже ясно, многого он никак не мог принять.

Возможно, он думал, что делает это и за Христиана. Что так самые близкие Ольге люди пытаются заставить ее не говорить лишнего.

Впрочем, что-то его постоянно сдерживало. Все-таки эти тексты – наравне со всеми прочими событиями и обстоятельствами – входили в состав его детских лет.

Даже «ерша» он не вычеркнул. Выбросил только то, что она могла пить стаканами, – уж это точно было выше его сил.

О ее цельности

Оказалось, все же мало красного карандаша. Ведь Ольга была такой не только в этих ситуациях, но буквально в любом своем проявлении.

Некоторые характеры видны с перого взгляда. Этим людям достаточно появиться, и сразу ясно: она такая, и вряд ли станет какой-то другой.

Как известно, Ваксель пробовала себя в кино и театре. О таланте говорить сложно, но важнейшей для актрисы способностью воплощения в настоящем времени она точно обладала.

Некоторые наиболее яркие ее мгновения можно отнести к ведомству даже не экрана и сцены, а цирка.

Что стоит фокус с превращением занавески в платье или проезды по центральным улицам Питера на велосипеде!

Так что у нее с сыном было явное несовпадение во времени. Арсений Арсеньевич предпочитал минувшее, а для нее смысл жизни заключался в этой минуте.

Вот почему, в первую очередь, он вычеркивал те эпизоды, которые сильнее всего передают жар момента. Говоря о прошлом, Ольга подчас так полно его переживала, что дистанция словно переставала существовать.

С этим связаны ее многочисленные «запинки». Все эти «ни к чему и невпопад», о которых сказал Мандельштам. Иногда ее письменная речь становится похожей на устную: эмоции явно мешают думать о точности каждого слова.

Кстати говоря, некоторая нормативность, присущая Арсению Арсеньевичу, подкреплялась званием кандидата филологических наук. Так что не вмешаться он никак не мог.

Правки в этом случае не так чтобы много. Здесь словечко, там буква или две. Общий смысл остается, но что-то все же меняется.

Эти микроскопические вторжения выпрямляли изогнутую проволочку ее речи, делали ее похожей на любую другую.

Пусть Ваксель – автор во многом доморощенный, но ее опыты соотносятся с большими литературными процессами. Вполне возможно, что она знала о технике «потока сознания».

Тут она точно не полагалась на «авось». Понимала, что отказ от прежних приемов требует изменения самого процесса писания.

Привычный обряд с участием настольной лампы, резинок и карандашей превращался чуть ли не в акт актерской импровизации.

Свою позицию Ольга закрепляла мизансценой. Ясно представляешь ее во время совместных с Христианом «сеансов» – то ли диктующей ему, то ли исповедующейся перед ним...

Вряд ли во время работы над мемуарами ей вспоминался Мандельштам, но именно в эти часы они как никогда были единомышленниками.

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива, – писал поэт. – У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

Ольга тоже могла сказать так. Для нее, как и для ее знакомого зимы 1925 года, литература прежде всего была высказыванием. Причем не тихой беседой с чистым листом, а напряженным разговором с оппонентом.

В одном случае эту роль брала на себя Надежда Яковлевна, а в другом – Христиан. Уж как непросто было аккумулировать движущуюся на них энергию, но они справились.

Холод–тепло. Женская логика

Зачем Ваксель рассказывала о своих отношениях с мужчинами? Причем позволяла себе такие подробности, которые ее сын просто не мог не вычеркнуть?

Ольга любила эпатировать, но вряд ли сейчас ею руководило только это. Больше всего ей хотелось понять: отчего она постоянно попадает в одни и те же ситуации?

«Холод» – вот ключевое слово, которое ей вспоминается прежде всего. Еще она упоминает «отвращение» и «ужас».

Что-то тут объяснять подобает не мужчине, а женщине, а потому воспользуемся подсказкой. У Ахматовой есть стихотворение, начинающееся словами: «Есть в близости людей заветная черта...» и заканчивающееся так: «Теперь ты понял, отчего мое / Не бьется сердце под твоей рукою».

Вот откуда это ощущение чуть ли не обиды. Едва не произнесенное вслух: ну вот опять преграда оказалась непреодолимой.

Поэтому о Мандельштаме Ольга пишет так же, как о каком-нибудь «греке-художнике». А о греке почти так же, как о своем первом любовнике или «провинциале из Николаева».

Даже по прошествии времени остается досада. Так и подмывает спросить каждого из них: ну что же вы так?

В предсмертном стихотворении Ольга говорит о поклонниках во множественном числе. Никакого различия между ними она видеть не хочет.

Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч,
За нежность ваших взоров,
За прелесть ваших уст и за проклятый город,
И розы постаревшего лица.

Это чувство возникло у нее давно. В одном слишком нескромном абзаце мемуаров (разумеется, вычеркнутом Арсением Арсеньевичем) она тоже не потрудилась конкре-

тизировать: «...подвернулась подходящая компания, переменила массу любовников, ни имен, ни лиц которых не помню. Все, ради того, чтобы вырвать из головы эту навязчивую идею, этот бред, ставший просто угрожающим».

Скорее всего, «не помню» обозначает – «не хочу помнить». Считаю вас – каждого по отдельности и всех вместе – некоей обобщенной ошибкой или конкретизацией того, чего не стоило совершать.

Кстати, «проклятый город» – цитата из мандельштамовского «С миром державным...». Уж как пренебрежительно-снисходительна Ольга к поэту, но все же она предназначает ему особую роль.

Холод–тепло. Мужская логика

Все до одного были отвергнуты и все понимали только свою правду. Впрочем, Ольга была настолько честна, что и с себя не снимала вины. «...Я и действительно, – рассказывает она об одном романе периода ФЭКСа, – не испытывала ни малейшей радости от этой близости».

Лишь один мужчина, – это, как вы догадываетесь, был Мандельштам, – чувствовал и понимал все.

В первую очередь, поэт говорит о холоде-жаре. Иногда в одном его четверостишии упомянуты оба этих состояния.

Даже в «заресничной стране» из «Жизнь упала, как зарница...» не только лето («Там, за кипенью садовой...»), но и зима: правда, тулупы тут «золотые», а валенки – что уж совсем неправдоподобно! – сухие.

В «На мертвых ресницах...» тоже холодно-тепло. Вряд ли сминающий все пожар говорит только о горящем камине. И уж точно «Шуберт в шубе» – это не только Ольга, по случаю мороза надевшая свою «верблюжку».

И в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?» присутствует этот мотив. В могиле, как в постели, жарко-холодно. Да и движение навстречу бровей-ласточек говорит о преодолении какой-то черты.

У Мандельштама тоже нет иллюзий. Правда, ощущения в его стихах иные, чем в ее прозе. У Ольги преобладает ворчливое недовольство, а у него – безнадежность.

Ситуация представляется поэту настолько странной, что он призывает на помощь фольклор. Без предсказаний и дурных знаков тут никак не разберешься.

Фольклорные мотивы

Это только зарисовка к теме «Мандельштам и фольклор». Можно даже сказать – к сюжету – «Мандельштам, фольклор и Ольга Ваксель».

Известно, что художественная система поэта ничего не оставляет в чистом виде. Исходный материал если и узнается, то включается в новый контекст.

В стихотворении «Жизнь упала, как зарница» прошмыгнула кошка-заяц: «Разве кошка, встрепенувшись, / Черным зайцем обернувшись...»

Это умножение есть не что иное, как удвоение предчувствий: к страху перед кошкой, перебежавшей дорогу, прибавляется недоверие к встреченному на пути зайцу.

Кстати, строки «Как дрожала губ малина, / Как поила чаем сына...» тоже могут быть прочитаны с этой точки зрения. Это же песенный зачин! Сравните: «Как у наших у ворот / Стоял девок хоровод» или «Уж как я ль мою коровушку люблю! Уж как я ль-то ей крапивушки нажну».

Таким образом возникает ощущение длительности. Не столько конкретного, сколько бытийного времени. Впрочем, к теме времени мы скоро вернемся.

Есть и другие фольклорные мотивы в соседних произведениях. В «Сегодня ночью, не солгу...» упомянуты цыганка, чернецы, дубовый стол и острый нож.

Вот сколько недобрых предзнаменований. Буквально все вокруг просит: остановись. Ничего хорошего тут не получится.

Часто бывает так, что фольклорная тема сразу исчерпывается, но у Мандельштама она всегда получает развитие. Появляется второй и даже третий план.

К примеру, в «Сегодня ночью...», подобно иголке в Кощеевом яйце, спрятана дата разрыва Ваксель и Мандельштама.

Нужно только пристальней вглядеться. Вспомнить народное суеверие, которое гласит, что 14 апреля, в день Марьи Египетской, принято устраивать розыгрыши: «В этот день не солгать – говорится в народе, – когда же время после этого выберешь!»

Следовательно, 14 апреля. Или близко от этой даты. Ведь, как известно из мемуаров Надежды Яковлевны, окончательному решению предшествовало несколько попыток.

В этом стихотворении не одно, а два времени. Первое – фольклорное, обобщенное, а второе – конкретное, настоящее. Начинается как бы «всегда», а завершается в реальном дне. Возможно даже, 14 апреля 1925 года.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

Так же Мандельштам играет временами в «Жизнь упала, как зарница...». Реальное, узнаваемое перебивает неопределенное, воображаемое. После графической отбивки воображаемое побеждает окончательно.

В «заресничной стране» – зазеркалье оказывается возможно то, что никак не выходит в действительности. Тут ни запинки, ни оглядки, ни помехи:

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем...

Единственно спросить: это какой такой «той же улицей»? Да той самой, которой они шли когда-то – и буквально все было против них. Никакой перспективы, а значит, никаких фонарей впереди.

Последняя строчка может быть понята не только буквально. Уже приводились примеры того, когда рядом с его собственной мыслью присутствует чужая. Вот это и значит идти «той же улицей».

В данном случае поэт ничего не прячет. Сходство заключительных строф мандельшамовского «Жизнь упала, как зарница...» и языковского «Пловца» слишком очевидны.

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Похожи не только «блаженная» и «заресничная» страна, но и наречия места: оба произведения указывают на неопределенное «там».

Да и в заключительном четверостишии Мандельштам вторит Языкову. Правда, тут пересечения находятся не на поверхности, а на глубине.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Наверное, Осип Эмильевич тоже имел в виду «сильного душой». Уж очень трудно всем участникам далась эта история. Еще долго каждый из них приходил в себя.

По своей всегдашней щепетильности Мандельштам говорит об этом не прямо, а через отсылку к одному из самых почитаемых им поэтов. Ключевые для «Жизнь упала, как зарница...» слова находятся не в этом, а в другом стихотворении.

Понимающий – поймет.

«Цитаты из жизни»

Сколько важного сказано Мандельштамом. О холоде-тепле, о правде-неправде, о постоянных запинках, как бы невозможности обрести ровное дыхание.

Пожалуй, запинки – это самое главное. Ведь запинка – что-то вроде остановки в преддверии чего-то другого. В эти минуты проволочка сгибается сильнее всего.

Осип Эмильевич даже описал, как это происходит. Например, незнание и растерянность неожиданно превращаются в улыбку:

Так что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

С Христианом все тоже началось с запинок. Даже рассказывая об их романе, она как бы спотыкается. Одно ее определение опровергается другим.

Вот как она двигалась к своей главной удаче. Все никак не могла выбрать между противоречивыми ощущениями: «...я испытала настоящее блаженство, целуя при свете свеч его худощавые плечи и милые глаза, уже принесшие мне столько огорчений... Я была в ужасе от всего, что со мной произошло, но я уже любила этого сухого, методического человека, бессознательно оскорблявшего меня всем своим поведением».

Так что же – «в ужасе» или «любила»? Наверное, все же любила, если остальные аргументы вдруг перестали иметь значение.

После встречи с Христианом Ольга опять вернулась к своей тетрадке. Так уже не раз у нее бывало: когда происходило что-то важное, стихи писались подряд. Иногда по два-три в день.

Хотя на сей раз она не проставила даты, контекст устанавливается без труда. Надо только обнаружить «цитаты из жизни»*. Сопоставить поэтические и прозаические свидетельства.

---

* Заимствую эту формулу у петербургского поэта Галины Гампер; впрочем, использую ее в несколько ином значении.

Конечно, это пишется после того вечера. И запинается она почти на том же месте: «...неласковый, но милый» – «...любила – бессознательно оскорблявшего», «блаженство – милые глаза – столько огорчений».

Проволочка гнется туда-сюда... Поэтому ее формулы включают не одно, а два и даже три определения.

Самое главное тут «при свете свеч». Уж это точно «цитата из жизни». Еще прибавим цитату в форме воспоминаний о «Ресничках-первых» (об этом в предисловии к этой книге написал Павел Нерлер).

Так что совсем небезобидны купюры Арсения Арсеньевича. Это в мертвом тексте изменения производить легко, но тут он «резал по живому»...

Непросто быть наследником и биографом. Одновременно надеешься на разгадку – и боишься ее. Если стремишься к точности, то до какого-то предела. Кажется, тут, как в стихотворении Ахматовой, тоже существует «заветная черта».

Никакое, самое безусловное, сыновье чувство не может оправдать этих вторжений. Ведь прошлое – это то, что прошло. К чему мы должны стараться приблизиться, но не имеем права присвоить.

И невозможное возможно...

Вновь повторим: ничего более важного, чем прошлое, для Арсения Арсеньевича не существовало. Впрочем, случалось ему бывать участником разнообразных собраний и сочленом многочисленных очередей. Правда, здесь он всегда казался немного лишним: было очевидно, что у него есть заботы поважнее.

Его отношения с современностью определяло что-то вроде снисходительности. Не исключалась даже небольшая хитрость: чтобы угодить супруге, Наталье Стефановне, он иногда позволял себе коммунистическую риторику.

Впрочем, то, что в его книжном шкафу портрет Ольги соседствовал с портретом Ленина, можно понимать

и так: это – его пристрастия, а это – ее. Тоска по детству и мечта о грядущей справедливости были как бы уравнены.

Следует упомянуть о том, что Наталья Стефановна была старше мужа почти на двадцать лет. Так что в семейной жизни Арсений Арсеньевич чувствовал себя немного сыном.

Вот видите, опять сыном. Никуда ему было не уйти от этого определения, когда-то данного ему Мандельштамом.

Еще раз скажем о толике отвлеченности, присутствовавшей во всех его действиях. Уж очень тесно он был связан с прошлым и совсем мало с настоящим. Если что-то действительно занимало его в сегодняшнем дне, то оно имело отношение к минувшему.

Немало энергии Арсений Арсеньевич отдал тому, чтобы опубликовать стихи своей матери.

Оказалось, одно дело – самому оберегать ушедшее, а другое – ходатайствовать за него перед другими. Несмотря на все усилия, особенно много сторонников у него не появилось. Публикация в ленинградском «Дне поэзии» общей ситуации не изменила: Ольга Ваксель по-прежнему оставалась неизвестной поэтессой.

Впрочем, тот, кто живет и думает так, как Смольевский, непременно найдет выход. Если у него что-то не получается в реальности, он просто перестает в ней участвовать.

Тут перед Арсением Арсеньевичем открывались поистине безграничные возможности. Он даже замахнулся на что-то вроде академического издания: в него должно было войти все, что написала его мать.

Это стало главным для него делом в последние годы. Он принялся писать комментарии, составлять летопись ее жизни... Работа была очень большая, и она не прерывалась ни на один день.

В общем-то, по-другому и не могло быть. Всю жизнь он существовал между прошлым и настоящим, воображаемым и действительным и наконец-то сделал выбор.

Жизнь как идея

Конечно, все не так просто. Уж насколько Арсений Арсеньевич любил возвращения в минувшее, но и здесь беспокойство его не оставляло. Сразу после детства была смерть матери, блокада, жизнь в эвакуации...

Видно, от всего этого ему было не по себе. Потому-то он и обращался к опыту мальчика Асика: когда тот хотел избавиться от боли, то старался о ней не думать.

Что касается отношений с настоящим, то тут, как уже говорилось, он не вторгался слишком глубоко. Правда, страшной болезни, этой худшей из возможных реальностей, ему избежать не удалось.

После смерти Смольевского в августе 2003 года сохранились многочисленные записки на половинках, четвертинках и восьмушках листа. Еще он оставил что-то вроде идеи своей жизни.

Вот ведь как серьезно: «идея»! Впрочем, Арсений Арсеньевич не впадал в патетику. Если бы его спросили, в чем тут дело, он бы мог привести пример.

В библиотеке Академии наук, где он прослужил несколько десятилетий, был хороший коллектив. После работы сослуживцы часто оставались отдохнуть.

Когда настроение собравшихся окончательно улучшалось, Смольевский садился за фортепиано. На пюпитр ставился автореферат какой-нибудь диссертации, недавно поступившей в «обработку».

Дальше надо было спеть название. Говорят, самые затейливые и труднопроизносимые формулировки легко ложились на музыку.

Чтобы оценить, какие сложности преодолевал Арсений Арсеньевич, можно вспомнить, что его собственная диссертация называлась «Интонация повествовательной фразы во французском языке сравнительно с русским», а это еще не самое длинное название.

В такие минуты Смольевский не уступал своей матери. Его «номер» был под стать тем «аттракционам», которыми она любила удивлять окружающих.

Как это назвать? Порода? Талант? Интуиция, подсказывающая, что гармония всегда возникает из неподходящих предпосылок?

Еще, конечно, это полет. Уверенность в том, что препятствия преодолеваются легко. Что буквально все может стать поводом для артистического жеста.

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Через свою мать Арсений Арсеньевич принадлежал Серебряному веку. «Жизнетворчество», которое, по словам Павла Нерлера, отличало Ольгу-Лютика, было присуще и ему.

Это был «запасной вариант» или, если угодно, «третий путь». Он уводил не в прошлое или настоящее, а в сферу воображения. Нужно было совсем немного, и ситуация кардинально менялась.

Ну, вроде как с этими названиями диссертаций. Или со шторой, превращенной в роскошный наряд. В эти мгновения жизнь обретала свойства художественного произведения.

Впрочем, раз это сверкнуло в реальности, то, значит, было в ней заключено. Ведь действительно, текст. Иначе откуда бы взяться рифмам и метафорам, благодаря которым история Ольги Ваксель обретала законченность?

О цитатах и музыке

Как выразился Мандельштам, «цитата есть цикада»: одна окликает другую, другая третью... Можно сказать, она есть форма наследования, способ связать прошлое, настоящее и будущее.

Вспомним также о том, что «только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия без сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

В первую очередь, поэт писал о себе. Причем он говорил не только о творчестве. Внутренние рифмы соединяют людей и события его жизни.

Разумеется, этот вывод имеет отношение и к истории, в которой участвовало столько людей искусства: два поэта – Мандельштам и Ваксель, композитор Ю.Ф. Львова, художница Н.Я. Мандельштам. Где-то на периферии сюжета присутствует В.Е. Татлин, к которому Надежда Яковлевна намеревалась уйти от мужа.

Как тут без лейтмотивов? Без «внутренней связи», которая объединяет куда крепче «причинности» (это тоже формулы из «Разговора о Данте»).

Вот, например, музыка. Почему-то она слышалась всем участникам разыгравшейся драмы.

Вспоминая О. Ваксель во «Второй книге», Н.Я. Мандельштам выговорила: «...музыка была в ней самой». Именно выговорила, а не произнесла: уж как неприятна ей соперница, едва не разлучившая ее с мужем, но она все же признавала ее правоту.

Впрочем, первым музыку услышал Мандельштам. В стихах, посвященных Лютику, ее становится все больше и больше. В первых двух она возникает однажды: «И били в разрядку копыта по клавишам мерзлым», а в последних неоднократно: тут и «прадеда скрипка», и «рожок почтальона», и «Шуберт в шубе».

Смерть Ольги стала для Мандельштама чем-то вроде конца мелодии. Он так и написал:

Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

Не требуют объяснения ни остановившиеся колеса, ни умолкший рожок, но все вместе это обозначало, что больше мы никогда не услышим мелодию, которую эта женщина несла в себе.

Отчего именно Шуберт и «Прекрасная мельничиха»? Эта тема требует специального разговора, но пока для нас важно то, что и поэт в стихах памяти Ваксель, и его жена в своих воспоминаниях говорили примерно о том же.

Еще для текстов Мандельштама, связанных с этой темой, важен мотив превращения. В стихотворении «Воз-

можна ли женщине мертвой хвала?» происходит своего рода переселение душ: Ольга покидает могилу для того, чтобы продолжить жизнь в памяти поэта. В «На мертвых ресницах...» из «тумана и разлада» возникает – выплывает – тот же Шуберт. О подобных метаморфозах говорится и в прозе: «...смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено».

Музыка, которую воплощала собой Ольга Ваксель, осталась в ее текстах. Даже в мемуарах, в которых больше всего обид и огорчений и почти нет передышек, она звучит постоянно.

Об этом и рассказывает та книга, которую вы держите в руках. О короткой жизни, которая все-таки образовала мелодию. О мелодии, в которой преодолены тяготы действительности ради чего-то высшего.

Еще она объясняет, почему поэт был так увлечен этой женщиной и так горевал после ее ухода. Из каких предпосылок вырастали его стихи и что, невидимое поверхностному зрению, скрыто за их строками.

Книга говорит и о сыне Лютика, Арсении Арсеньевиче, о его отчаянной, долгое время казавшейся безнадежной, борьбе с забвением. Хотя она выходит после его смерти, в ней максимально полно воплощен его замысел.

Впрочем, вернув тексты, изъятые Смольевским, мы осуществили и замысел Ольги Ваксель. Теперь уже нет сомнения в том, что свои стихи и мемуары она создавала так же, как свою жизнь, – несмотря ни на что.

Библиография

Использованная литература

Бенуа А. Мои воспоминания: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1980.

Блаватская Е.П. Тайная доктрина: В 3 т. Т. 3. Эзотерическое учение. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1891. Т. V. Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга: Перевод рукописи на немецком языке Ю.И. Бронштейна. Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1940.

Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб.: Титул, 1992. Репринтное воспроизведение издания 1911 г.

Вся Москва: Адресная книга, 1915.

Весь С.-Петербург; Весь Петроград; Весь Ленинград: Адресные книги за 1893, 1905, 1907, 1909–1917, 1925, 1926, 1929, 1931 гг.

Дзюбанов С.Д. Старицко-бежецкая ветвь рода Львовых – предки Н.С. Гумилева со стороны матери // Вестн. архивиста. 2006. № 1 (91).

Жарков Е. Страна Коктебель. Культурные очаги. Середина XIX – середина XX веков. Киев: Болеро, 2008.

Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. Л.: Лениздат, 1991.

Иванов Г.В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. М.: Согласие, 1993.

Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.: РИК «Культура», 1992.

Кац Б.А. Музыкальные ключи к русской поэзии: Исследования. Очерки с комменттариями. СПб.: Композитор, 1997.

Купченко В. «Я предлагаю вам игру...». Максимилиан Волошин – художественный критик // Новый мир искусства. 1998. № 1.

Купченко В. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002.

Купченко В. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1917–1932. СПб.: Алетейя, 2007.

Лебедев П. Школа Левицкой в Царском Селе // Народное образование. 1992. Сент.–окт.

Лекманов О.А. Осип Мандельштам: Жизнь поэта. М.: Молодая гвардия, 2009.

Леньков В.Д., Силантьев Г.Л., Станюкович А.К. Командорский лагерь экспедиции Беринга. (Опыт комплексного изучения). М.: Наука, 1988.

Лукницкая В.К. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990.

Лурье В.М. Морской биографический словарь. Деятели Российского флота XVIII века. СПб.: Информационный центр «Выбор», 2005.

Наппельбаум И. Портрет поэта // Литератор. 1990. № 45. 30 нояб.

Николай Гумилев. Исследования и материалы: Библиография. СПб.: Наука, 1994.

Мандельштам О.Э. Слово и культура. М.: Сов. писатель, 1987.

Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М.: Мандельштамовское об-во – изд-во «Арт-Бизнес-Центр», 1991–1997.

Обречены по рождению... По документам фондов политического Красного креста. 1918–1922. Помощь политзаключенным. 1922–1937. СПб.: Изд-во ж-ла «Звезда», 2004.

Общий гербовник дворянских родов Российской империи. Т. 1. СПб., 1992. Репринтн. изд.

Павловский А. Николай Гумилёв // Вопр. лит-ры. 1986. № 10.

Рассулин Ю. Верная Богу, Царю и Отечеству: Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. СПб.: Царское дело, 2005.

Россия. Хроника основных событий IX – XX вв. М.: РОССПЭН, 2002.

Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб.: Лига Плюс, 2001.

Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник дворянских фамилий: В 2 т. СПб., 1886. Т. 1. СПб., 1887. Т. 2.

Русские мореплаватели. М.: Воениздат, 1953.

Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М.: Наука, 1991.

Соболевский П. Из жизни киноактера. М.: Искусство, 1967.

Старк В. Прогулка по мандельштамовскому Петербургу: Карта-экскурсия. СПб., 2010.

Сто поэтесс Серебряного века: Антология. СПб., 1996.

Толстой А. Дуэль // Совершенно секретно. 1989. № 1.

Хармс Д. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драмы. Письма. Л.: Сов. писатель, 1991.

Чурилова Е.Б. О двух женских судьбах и портрете, соединяющем их. Ю.Ф. Львова и В.В. Верёвкина // Репинские чтения (Сб. НИМРАХ). СПб., 2012.

Произведения О. Ваксель

Ваксель О. Отрывок из воспоминаний / Публикация А.А. Смольевского // Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1994. С. 489–491.

Ваксель О. [Стихи] / Публикация и предисловие А.А. Смольевского // День поэзии. 1989. Ленинград. С. 257– 258.

Ваксель О. [Стихи] // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. Янв., февр. С. 167–168. (*Смольевский А.А.* Ольга Ваксель – адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама).

Ваксель О. Отрывок из воспоминаний / Публикация А.А. Смольевского // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1994. С. 489– 491.

Ваксель О. Небывший день за тучами погас... [Стихи] / Публ., предисл. А.А. Смольевского // Петрополь: Альм. СПб., 1998. № 8. С. 98–101.

Ваксель О. «Я недолго жила на земле...»: Избранные стихи // Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: Документальная повесть об О. Ваксель и О. Мандельштаме. СПб.: Стройиздат, 2002 (Серия «Царскосельская библиотека»).

Литература об О. Ваксель

Герштейн Э.Г. Мемуары: СПб.: Инапресс, 1998. С. 106, 149–150, 412, 426–427, 432, 444, 459.

Готхард Н.Л. Об Ольге Ваксель // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. Янв., февр. С. 169–170.

Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде // Звезда. 2001. № 10. С. 30–80.

Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде // Потомак (США). 2003. № 1. С. 26–33; № 2. С. 34–39; 2004. № 3. С. 18–27; № 4. С. 26–36.

Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: Документальная повесть об О. Ваксель и О. Мандельштаме; *Ваксель О.* «Я недолго жила на земле...»: Избранные стихи О.А. Ваксель / Сост., подгот. текста А. Ласкина. СПб.: Стройиздат СПб., 2002. 224 с., ил. (Серия «Царскосельская библиотека»).

Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: Документальная повесть об О. Ваксель и О. Мандельштаме // Ласкин А. Время, назад: Документальные повести. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 5–132.

Львова А.П., Бочкарева И.А. Род Львовых // Новоторжский родословец. Торжок, 2004. Вып. I. С. 129–133, 167–171.

Мандельштам Е.Э. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 172–173.

Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Согласие, 1999. С. 216–226.

Мандельштам Н. Об Ахматовой. М.: Три квадрата, 2008. С. 142–143.

Мандельштам О.Э. Из стихов, посвященных О.А. Ваксель // Песнь любви: Русская любовная лирика / Вступ. ст., сост., коммент. А. Горловского. Кишинев: Лит. Артистикэ, 1986. С. 597–599.

Нерлер П. Тата и Лютик // Мандельштам Н. Об Ахматовой. М.: Три квадрата, 2008. С. 30–43.

Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб.: Инапресс, 1997. С. 171–179, 186–187 (воспоминания О.А. Ваксель о встречах с Мандельштамом).

Смольевский А.А. Ольга Ваксель – адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. Янв., февр. С. 167–168.

Смольевский А.А. Ольга Александровна Ваксель (1903–1932) // Львова А.П., Бочкарёва И.А. Род Львовых. Новоторжский родословец. Торжок, 2004. Вып. I. С. 261–266.

Чурилова Е.Б. «Я ещё могу съездить к Чистякову...» СПб.: Прана, 2004. С. 44–47.

Чурилова Е.Б. «...Прочесть... припоминая». П.П. Чистяков в Царском Селе. СПб.: Серебряный век, 2007. С. 140–142, 148, 205–206, 209, 264, 280.

Спектакли по документальной повести А. Ласкина

Ангел, летящий на велосипеде: Аудиокнига. Издательско-полиграфический комплекс «Логос», 2002. Исполнитель Т. Телегина.

Ангел, летящий на велосипеде: Радиоспектакль Радио России. 2003. Премьера – март 2003 г. В ролях: Е. Комиссаренко, А. Баргман, С. Бехтерев.

Ангел, летящий на велосипеде: Радиоспектакль. Радио «Петербург». Премьера – октябрь 2003 г. Исполнитель Л. Кропачёва.

Ангел, летящий на велосипеде: Спектакль о людях Серебряного века: Постановка, сценография, куклы – Л. Кропачёва. Композитор А. Шарапкин. В ролях: Л. Кропачёва, Д. Колесникова, С. Маркелов. С.-Петербургский театр «Картонный дом». Премьера – июнь 2009 г. Арт-кафе «Бродячая собака», СПб.

Музыкальные произведения на стихи О. Ваксель

Львова Ю. Цикл романсов на стихи О. Ваксель.

Смольевский А. Цикл романсов на стихи О. Ваксель. Премьера – ноябрь 2002 г. на вечере памяти О. Ваксель «Возможна ли женщине мертвой хвала?..». Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Исполнитель Л. Шкиртиль.

*Именной указатель**

* Составитель Е.Б. Чурилова

Список сокращений

А. С. – Арсений Арсеньевич Смольевский
МА – Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
НИМРАХ – Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
О. М. – Осип Эмильевич Мандельштам
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
ФЭКС – фабрика эксцентрического актера

Содержание

Contents

«Is it possible to praise a dead woman?..»
Olga Vaksel's memoirs and poems
(Notes of Mandelshtam Society. Issue 20)

O.A. Vaksel (1903–1932) is one of the protagonists of O.E. Mandelshtam's biography. The book gives floor to the heroine of four poems by the poet and allows us to look at certain episodes in his life from a new angle. This book is the most complete publication of A. Vaksel's archive. Her poems and memoirs tell us a story about a talented woman, about a short but full life. These texts tell not only a personal history, but also a history of her time and preserve many details, personalities and names. The book includes commentaries which use the notes and memoirs of A.A. Smol'evsky, O.A. Vaksel's son. Most photographs and drawings in the book are printed for the first time.

The book is intended for specialists, graduate and post-graduate students and wide readership.

«**Возможна** ли женщине мертвой хвала?..»:
В64 Воспоминания и стихи Ольги Ваксель. М.: РГГУ, 2012. 428 с. (Записки Мандельштамовского общества. Вып. 20)
ISBN 978-5-7281-1218-1

О.А. Ваксель (1903–1932) – одна из героинь биографии О.Э. Мандельштама. Предоставляя слово адресату четырех стихотворений поэта, книга дает возможность посмотреть на некоторые эпизоды его жизни с новой стороны.

Настоящее издание – наиболее полная публикация архива О. Ваксель. Ее стихи и мемуары говорят о женщине одаренной и яркой, о судьбе короткой, но необычайно насыщенной. Эти тексты рассказывают не только личную историю, но историю времени и сохраняют множество подробностей, лиц и имен. Издание снабжено комментариями, в которых использованы записки и воспоминания А.А. Смольевского, сына О.А. Ваксель. Большинство фотографий и рисунков воспроизводится впервые.

Для специалистов, студентов, аспирантов, а также для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1(08)
ББК 83.3(2 Рос=Рус)6

Научное издание

«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

Воспоминания и стихи Ольги Ваксель

Редактор *С.М. Пчеляная*

Художественный редактор *М.К. Гуров*

Технический редактор *Г.П. Каренина*

Корректор *О.Н. Картамышева*

Компьютерная верстка *Г.И. Гаврикова*

Подписано в печать 15.05.2012.
Формат 84×108 $^1/_{32}$.
Усл. печ. л. 22,9 + вкл.
Уч.-изд. л. 21,5.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 1302

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 8-499-973-42-06

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6



О.А. Ваксель.
Ленинград. Зима, 1930–1931 гг.*

* Все фотографии и рисунки, за исключением специально оговоренных, из собрания А.С. Ласкина



Ю.Ф. Львова. Начало 1900-х гг.



Ю.Ф. Львова. Паневежис. 1901



А.А. Ваксель с дочерью Ольгой. Паневежис. 1903



Ю.Ф. Львова с дочерью Ольгой. Паневежис. 1903



О.А. Ваксель. Царское Село.
1906–1907



О.А. Ваксель. Царское Село. 1912



О.А. Ваксель. Женщина в восточной одежде.
Бумага, акварель, карандаш. 1915



О.А. Ваксель. 1916



В доме М.А. Волошина в Коктебеле.
Слева направо: О.А. Ваксель, Г.В. Кусов,
неизвестное лицо, М.А. Волошин,
Ю.Ф. Львова. 1916



Ю.Ф. Львова. Коктебель. 1916



О.А. Ваксель. 1920



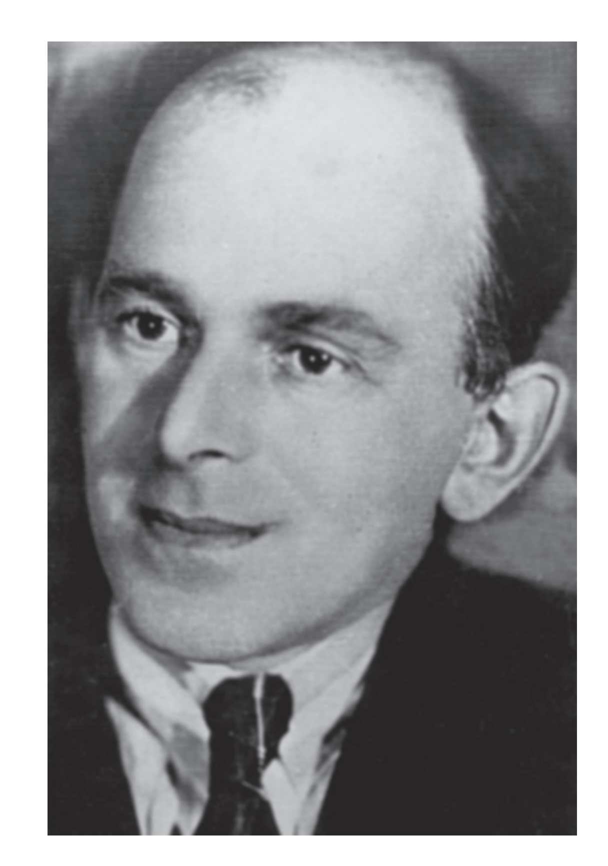
В.М. Баруздина. Портрет О. Ваксель.
Бумага, смешанная техника. 1919–1920.
Дом-музей П.П. Чистякова



О.А. Ваксель. Детское Село. Лето 1923 года



А.Ф. Смольевский.
Ленинград. Начало 1920-х гг.



О.Э. Мандельштам. 1926.
Фото М.С. Наппельбаума



О.А. Ваксель – участница кинопробы
студии ФЭКС. Середина 1920-х гг.



Е.Э. Мандельштам. Середина 1920-х гг.
Фото из семейного архива



Ю.Ф. Львова, О. Ваксель и Асик Смольевский.
Ленинград. 1926–1927



О.А. Ваксель с сыном Арсением.
Батуми. Ботанический сад. 1927.
Фото Е.Э. Мандельштама



Ученики и родственники П.П. Чистякова
на вечере, посвященном юбилею В.Е. Савинского.
В центре, в первом ряду – О. Ваксель. 1929.
Дом-музей П.П. Чистякова



Н.Н. Рябинин. Портрет О. Ваксель.
Бумага, карандаш. 1929.
Дом-музей П.П. Чистякова



О.А. Ваксель. Ленинград. 1931



Х. Вистендаль. Ленинград. 1931



О.А. Ваксель. Апрель 1932 года.
Фото Х. Вистендаля



О.А. Ваксель и Х. Вистендаль.
Пятигорск. Весна 1932 года



О.А. Ваксель. Пятигорск. Весна 1932 года.
Фото Х. Вистендаля



О.А. Ваксель.
Балаклава. Весна 1932 года.
Фото Х. Вистендаля



О.А. Ваксель.
Ленинград. Сентябрь 1932 года.
Фотоателье «Турист»



О.А. Ваксель. Библиотека на вилле Вистендалей.
Осло, октябрь 1932 года. Бумага, акварель, гуашь.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме



О.А. Ваксель. Осенний пейзаж.
Осло, октябрь 1932 г. Бумага, акварель, гуашь.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме



О.А. Ваксель.
Осло. 26 октября 1932 года



Н.Я. Мандельштам. 1970-е гг.



Слева направо: А.С. Ласкин,
А.А. Смольевский и Е.Б. Белодубровский
на вечере памяти О. Ваксель в Музее
Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
13 ноября 2002 года





Сцены из спектакля петербургского театра «Картонный дом» «Ангел, летящий на велосипеде» по документальной повести А. Ласкина. В роли О.А. Ваксель – Л.В. Кропачева. 2009

*Список иллюстраций**

23. (lask – 37) Ученики и родственники П.П. Чистякова на вечере, посвященном юбилею В.Е. Савинского. Шестая справа в первом ряду – О. Ваксель, в центре – В.М. Баруздина. 1929 г.
24. (lask – 19) Н.Н. Рябинин. Портрет О. Ваксель. (Вверху справа В.М. Баруздина). 1929 г. Бумага, карандаш. Дом-музей П.П. Чистякова (НИМРАХ)
25. (lask – 23) О.А. Ваксель. Ленинград. Зима 1930–1931 г.
26. (lask – 25) О.А. Ваксель. Ленинград. 1931 г.
27. (lask – 26) Х. Вистендаль. Ленинград. 1931 г.
28. (lask – 27) О.А. Ваксель. Апрель 1932 г. Фото Х. Вистендаля
29. (lask – 43) О.А. Ваксель и Х. Вистендаль. Пятигорск. Весна 1932 г.
30. (lask – 24) О.А. Ваксель. Пятигорск. Весна 1932 г. Фото Х. Вистендаля
31. (lask – 40) О.А. Ваксель. Балаклава. Весна 1932 г. Фото Х. Вистендаля
32. Музей А. Ахматовой
33. (lask – 28) О.А. Ваксель. Ленинград. Сентябрь 1932 г. Фотоателье «Турист»
34. (lask – 29) О.А. Ваксель. Интерьер библиотеки в доме Вистендалей. Бумага, черная тушь. Октябрь 1932 г.
35. (lask – 30) О.А. Ваксель. Осло. 26 октября 1932 г.
36. (lask – 31) Н.Я. Мандельштам. 1970-е годы
37. (lask – 32) А.А. Смольевский. С.-Петербург. 2000 г. Фото А. Ласкина
38. (lask – 44) Слева направо: А.С. Ласкин, А.А. Смольевский и Е.Б. Белодубровский на вечере памяти О. Ваксель в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 13 ноября 2002 г.
39. Музей А. Ахматовой
40. (Ангел-3) Сцена из спектакля петербургского театра «Картонный дом» «Ангел, летящий на велосипеде» по документальной повести А. Ласкина. В роли О.А. Ваксель Л. Кропачева. 2009 г.




9 785728 112181